

Илья Френкель

РЕКА ВРЕМЕН

СТРАНИЦЫ
ИЗ КНИГИ
МОЕЙ ЖИЗНИ



МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1984

Художник ТАТЬЯНА ДОБРОВИНСКАЯ

Френкель И. Л.

Ф 87 Река времен. Страницы из моей жизни. М.: Советский писатель. 1984. — 256 с.

Илья Френкель хорошо известен как поэт. «Река времен» — первая прозаическая книга писателя, автобиографическая повесть, в которой автор рассказывает «о времени и о себе».

4702010200—046

Ф 083(02) — 84 141—84

Р 2

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы...

Державин

Не кто иной, я спел бы вам,
Но это невозможно:
Мой звонкий голос где-то там...
За тридевять, за много лет,—
Откуда даже эха нет.

«Безголосый»

ГЛАВА ПЕРВАЯ



Летом 40-го года я возвратился из Финляндии после краткой и кровопролитной кампании. Наши «финны» (журналисты — участники кампании) отдыхали в Ялтинском доме Литфонда. Вечерами иногда включали короткие волны и к нам в уютную гостиную доносились знакомые трели пулеметов, звучали обрывки иноязычных текстов... И почему-то казалось еще уютней, крымское лето — теплей... Говорить о гибели писателей Сергея Диковского, Бориса Левина, молодого поэта Копштейна и других считали, по молчаливому уговору, неуместным, — больно было, конечно, но жизнь продолжалась.

В марте — апреле 41-го некоторых литераторов командировали в войска Прибалтийского военного округа, ибо Латвия, Литва и Эстония уже были советскими, так же как Западные Белоруссия и Украина, как бывшая Бессарабия... Я приехал в Ригу. Это был чистый город с ресторанами, магазинами, заполненными продовольствием и одеждой.

В эти дни из Прибалтики уходили представители Германии, готовившие репатриацию немцев.

Я поселился в комфортабельном номере гостиницы. Немцы ходили кучками чуть ли не прусским шагом, скрипели портупеями и звенели нагрудными знаками — сва-

стика между крылышек. Сапоги с высокими задниками. Обедали они в своих номерах. Официанты рассказывали нам (нас было трое — Твардовский, Василий Гроссман и я), что эти «клиенты» заказывают целое ведро вареной картошки и едят прямо из ведра, доставленного на стол, — картофель был в мундире. Наевшись, они надевали фуражки, с топотом выходили из номера, гогоча, спускались по лестнице и шли в ногу по чистому рижскому тротуару в свою канцелярию. Эти господа были очень неприятны своей демонстративной брезгливой отчужденностью.

Хотя политуправление не торопило, я вдруг беспричинно заспешил, начал бегать в штаб, вызывая удивление штабистов своим рвением, и буквально в два дня оформил командировку в Литву, в Шяуляй, где находилась N-ская воинская часть.

За полсуток я доехал до Шяуляя. Остановился в меблированных комнатах захолустного типа. Переспал на перине и очень рано был разбужен громким стоном. Стон повторялся равномерно и зловеще. Когда туман на улице немного поредел, я различил в окне готическую башню. Это стонал храм, и казалось, что стонет он несколько столетий — охрип древний колокол..

Я отыскал N-скую воинскую часть, просмотрел подготовленные политкомиссаром материалы, — это заняло один час. История части уместалась на трех страницах школьной тетради. Винтовки еще стояли в казарменных пирамидах, вычищенные и хорошо смазанные, а их владельцы несли обычные обязанности, согласно уставам гарнизонной, караульной и внутренней служб и присяге, принесенной недавно — 23 февраля 1941 года. Этот факт был самым свежим, последним из записанных в школьной тетрадке комиссара...

Я отметил командировку и ближайшим поездом возвратился в Ригу. Там, не заходя в гостиницу, с той же беспричинной и лихорадочной скоростью явился в окружной штаб, отметил там командировку, получил литер в Москву и поспешил на вокзал.

Войдя в купе, я лег, вздохнул, отвернулся к стенке и заснул.

Снились немцы за ведром дымящейся картошки. Руками в перчатках они лазили в ведро, доставали картофелины величиной с человеческую голову, счищали кожуру, крикая от жадности, и в их пальцах оказывались дейст-

вительно человечьи головы!.. Я слышал глухой простуженный стон за окном и... просыпался тоже с глухим стоном, пугая соседа по купе.

В Москве отец очень обрадовался моему приезду.

О многом мы разговаривали тогда — больше всего о приближающейся войне. Отец не говорил, что мир висит на ниточке и что война начнется не сегодня завтра. Он так думал, но не хотел паниковать. Мне же казалось, что мы быстро выиграем войну с немцами, так как успеем подтянуть уровень оснащения войск.

В мае целую группу военных журналистов и писателей мобилизовали на сбор в лагерь Военной академии. Эту мобилизацию организовала наша военная комиссия. Особенно энергичен был В. Вишневский, пламенный оратор, лихой малый в морской форме.

Май в подмосковных местах великолепен. Все зелено, все цветет. В лагере палатки, каждая на четырех человек. Ежедневно учимся под командой молоденьких сержантов. Делаем зарядку — некоторые уже с трудом из-за полноты и возраста — и проводим военные игры в лесу. Физическая нагрузка всем полезна, кое-кому даже приятна. Лев Славин — старый солдат: хлебнул царской казармы и гражданской войны, совершил польский и финский походы и на Дальнем Востоке наслушался воя авиабомб и свиста снарядов. На перебежках звякают медали Льва Исаевича к зависти более молодых — Е. Долматовского, Ю. Королькова и В. Кожевникова, на которого долго не могли подобрать обувь, и он сидел босиком в растворе палатки в качестве вестового при Иване Ивановиче Анисимове, командире нашей писательской роты... Итак, до пятнадцатого июня будем набираться воинского опыта.

В перебежках и маршировке я не отставал от более молодых и хорошо себя чувствовал по ночам в палатке. Пытались меня выучить метать гранаты, но ничего из этого не вышло: то ли я был бездарен, то ли силенок не хватало. Зато оказалось, что сборку и разборку некоторых узлов стрелкового оружия мне — раз плюнуть!

Сбор окончился и был признан весьма удовлетворительным; приехал в лагерь Вишневский, толкнул огненную речугу и вручил каждому справку о прохождении сбора. Все разъехались по домам.

В воскресенье утром нас разбудил телефонный звонок.

— Привет, говорит Погарский. Как собираетесь провести день? На дачу? А нет ли желания проехаться в хорошей компании? Будут Борис Горбатов, Николай Крэн, Поляков...

— Позвольте, Поляков же в Ленинграде?.. Ага, понимаю. Ясно...

— Еще кое-кто будет. У меня пока все. До свидания.

— Как же так? Погодите, Михаил Владимирович... А куда явиться?

— В десять должны кое-что передать. Пока!

Папа побледнел,— он все понял, но, быстро овладев собой, пригласил меня немного закусить. Прошаркал к буфету — он вдруг стал явственно шаркать,— взял графинчик и две стопочки:

— Что ж, сынок. Вот оно и случилось...

Графинчик пустел, но беседа приобрела деловой характер: что с собой взять, надо ли теплое? Я уверял — не надо. Но старый мудрец грустно улыбался и говорил:

— Немцы, брат, такие...

А в десять часов после многочисленных позывных по радио заговорил Молотов...

Вскоре снова позвонил Погарский:

— В четырнадцать ноль-ноль явитесь в штаб МВО.

Но в полдень ворвалась Лиза, моя жена, крайне встревоженная, всплеснула руками и захлопотала с укладкой. Бросая в чемодан свитера и теплые носки, она волновалась:

— Что творится на электричке! Пропустила два поезда, битком набитых... Ничего не успела сказать няньке — чем кормить Маришку. Ужас! С ума ты сошел: выбрасываешь теплые вещи!

— На кой мне это барахло? Осенью же вернемся.

Отец сурово оборвал мои глупые пророчества:

— Прекрати свое упрямство! Это будет долгая война, а не сбор...

...Я вышел из штаба обмундированный и вооруженный. Москва кипела. Люди толпились у столбов с репродукторами. Через каждые полчаса шли последние известия: немцы бомбят, народ готов к отпору.

Из Радиокomiteта позвонили в Союз писателей.

В Союзе писателей — очень много литераторов. Подошел плотный блондин в кавказской рубашке, протянул мне руку:

— Гайдар. Спасибо за «Коминтерн», мою любимую песню. — И дал мне сверток с двухтомником своих сочинений: — Почитайте в вагоне.

Гитлер начал войну в воскресенье.
Вдруг. Внезапно. Как землетрясение...

Задолго до прихода Гитлера к власти, в 1925 году, в Берлин выезжала делегация наших химиков для ознакомления с новинками германской промышленности. Руководителем делегации был назначен мой отец, занимавший тогда крупный пост председателя треста в ВСНХ и единственный из всей группы коммунист.

Как назло, отец накануне отъезда почувствовал боль в глазу. Сильная краснота была обследована старым приятелем, знаменитым врачом Авербахом. «Только не связывайся с немецкими глазниками и не ложись в ихние больницы, — убеждал он. — Лучше перетерпи, промывай чаем. А вернешься — займись тобой... Лопнул сосудик...» На вокзале отец в старой кепке выделялся среди делегатов, — они все были в шляпах, а старик не пожелал идти «на уступки буржуазии» даже в вопросах одежды. Он все время держал носовой платок у больного глаза, но спокойно шутил с женой, стоя на подножке международного вагона... Дважды пробил колокол, вагон медленно тронулся, и провожающие глядели ему вслед. Они не предполагали, что тот сосудик все-таки приведет отца в берлинскую клинику, уложит его на несколько недель и дело кончится удалением глаза.

Из этой плачевной поездки отец привез совсем нежелательные впечатления. И не только о глазниках, удаливших глаз, к ужасу доктора Авербаха. Отец много говорил о пассивности и покорности, царивших в то время в Германии.

* * *

Набережная города Кургана семидесятых годов. Не того пыльного Кургана, где я когда-то родился, а областного центра с троллейбусами, автобусами, асфальтовыми магистралями, с пролетающими в небе самолетами. Я стоял на берегу Тобола и пытался восстановить в памяти самые ранние впечатления.

Вспомнил я очень немного. Но кое-что все же вспомнил — правда, в виде отрывочных кадров. Отдельные звуки. Запахи. Красочные пятна. Пыль. Ветер...

Как ни странно, понадобилось много лет, чтобы воскресить самое раннее:

...В семье отнюдь не генеральской
Я родился — произошел,
В Кургане, за грядой уральской,
На берегу реки Тобол...
Самодержавный строй России
Загнал в Сибирь отца и мать,—
Их, надо думать, не спросили,
Где б им хотелось проживать.
Не страшно, а скорее странно,
Что помню столь далекий миг:
Знакомый, хоть и первозданный,
Тобольский берег, пыльный вихрь.
Я видел чуть не под ногами
Громадный белый пароход,
Братишку на руках у мамы
И мамин крепко сжатый рот.

И стан ее девичьи тонкий,
И пароходную трубу,
И платья ткань в моей ручонке,
И собственную худобу.

И у трубы у пароходной
Усы и бороду отца,
И ветер жаркий и холодный,
И рядом с папой — без лица,
С большим ружьем солдат безмолвный,
Как будто вовсе неживой,
А все кругом живет — и волны,
И пыль летит над головой.

Вдруг пар стрельнул и эхо взвыло
И покатилося по реке,
И я забыл, что дальше было,
Лишь платье мамино застыло
В сиротской худенькой руке.

Я узнал много позже, что папу увезли на каторгу.

...Еще кадр. Такой темный, что ничего не осталось, кроме непроглядной черноты, тряски и кислого запаха.

Впоследствии я узнал, что мама с двумя малышами ехала в киргизской кибитке, что я болел воспалением легких, а перед кибиткой пылила и звенела кандалами арестантская колонна — этап: там, среди колодников, был мой папа.

...Еще какие-то совершенно смутные кадры с колеблющимся язычком лампадного огонька и с близостью маминского родного лица. Это я приходил в себя после кризиса...

Следующий большой город Екатеринбург. Туда папу вернули с каторги под надзор. Там у него были бактериологический кабинет и лаборатория. Помню, стук в парадную дверь и слово «телеграмма», — это приходила полиция с обыском. Маме казалось, что первым моим словом было «таламана». Папа делал кефир в лаборатории. Для продажи — этим жили. Я играл в «опись имущества».

К этому времени я здорово вырос, умел писать и читать в четыре года.

Еще картинка. В пимпшках-валенках и в башлычке — на прогулке с нянькой. Я пел «Отречемся от старого мира», а городской давал няньке конфет: «Заткни ему рот!»

В лаборатории на полках — бутылочки и бутылки. Напротив стена — она же шкаф, и в нем ящички с белыми эмалированными аптекарскими табличками. Значительно позже я узнал, что в некоторых ящичках были насыпаны пробы зерна, а под зерном спрятаны револьверы и патроны...

Екатеринбург помню четко. Длиннющий бульвар с чахлыми тополями. Пруд в середине города. Нашу квартиру во флигеле на дворе фабрики Круковского...

* * *

И вот в день 22 июня 1941 года старик чокается своей стопкой о сыновнюю рюмку, смотрит с непостижимой грустью и только покачивает многодумной большой головой в теплой кепке, — очень он быстро стареет. Его зрячий глаз в последний, да-да, в последний, раз с несвойственной ему нежностью останавливается на моем оживленном лице:

— Пока все патроны не израсходованы, бомбы не сброшены, война может и будет продолжаться. А запасено в мире убийственного материала очень много, и глу-

по предполагать, что ты и тебе подобные вернутся домой до нынешних заморозков, только потому, что вам так хочется... Я знаю немцев,— повторил старик, качая одноглазой мудрой головой.

* * *

Я полон возбуждения. День кажется слишком долгим. В писательском клубе много народу, и я — единственный «герой» в шинели и в португее. Мне нравится общий тон дружелюбия с оттенком зависти. Я, конечно, тоже завидовал бы на их месте.

Я спокоен. Я улыбаюсь. Я повторяю свое легкомысленное пророчество:

— Осенью вернемся!..

Было еще светло, когда будущие сотрудники полкового комиссара Погарского, которого все называли между собой Погара, и некоторые члены их семей собирались на перроне Киевского вокзала. Меня окликнул журналист, подписывавшийся «Н. Крэн».

— Вот таким образом, старина,— сказал он,— столкнулись два больших народа.— В его голосе звучала тревога, и напыщенность фразы явно не соответствовала выражению лица.— Что-то я стал толстеть,— ни с того ни с сего заметил Крэн совершенно будничным тоном, взглянув на мою тощую фигуру.— Наверно, зря бросил курить. Дай-ка папироску.

Мы закурили. Крэн оживился, стал довольно удачно острить, развлекая мою жену, которая была необычно молчалива и только нервно поглядывала на перронные часы. Минутная стрелка на круге циферблата перепрыгивала с деления на деление. Розовый отсвет становился багровым, и наконец наступил томительный миг расставания.

Я, словно очнувшись от глухоты, начал слышать голоса женщин, умоляющие, жалобные... Увидел их лица, внезапно постаревшие, мокрые глаза, испуганно мигающие. Крэн взглянул на свои часы, что-то пробормотал, повернулся и скрылся в помещении вокзала.

— Наверно, решил пропустить стопку,— проговорил я, чтобы развлечь жену, взглянул ей в лицо, но тут же умолк: у нее были глаза, как у всех женщин на вокзале,— мокрые, испуганные, моргавшие. Я освободил ло-

коть, неуклюже нагнулся к Лизиному лицу и поцеловал соленые веки.

Звякнул колокол. Мужчины отлепились от провожающих. Железнодорожники стали звать пассажиров в вагоны. Прибежал раскрасневшийся Крэн, бросился обнимать и целовать всех женщин. Поезд стал набирать скорость в наступающей вечерней мгле.

— Двадцать три ноль-ноль, — крикнул кто-то в вагоне, и следом за этими словами произошло нечто неожиданное.

Снаружи все загрохотало, осветилось слепящими вспышками, и в этом грохоте и вспышках состав ускорял и ускорял движение, пока грохот не перешел в ровный стук колес. Все думали, что на Москву был авиационный налет, и голова отказывалась представить, что там делается. Лишь потом, по приезде на фронт, нам сказали, что это была первая проба противовоздушной обороны Москвы.

Я был призван, военную форму надел,
Отрешился от штатских мыслишек и дел.
И под грохот противовоздушный
Слушал говор колес равнодушный.
Мирный, дачный, курортный размеренный стук.
Да и, кстати, состав наш катился на Юг,
По отрезочку сбившейся с толку Вселенной...
Я сдружился с соседями за полчаса.
Мы нестройно запели.
И так начался
Первый день моей службы военной.

В вагоне всю ночь заняли встречи со старыми и новыми товарищами, очень скупые выпивки, от которых никто не хмелел. Как будто бы даже пели, а возможно, это только казалось. Беседовали, спорили и все время посматривали в окно, будто не нарочно, а мельком: вдруг да покажутся признаки фронта, не премооргать бы остановки и, чего доброго, не влететь на территорию противника!

Все друг другу нравились, невзирая на различие в званиях: политрук или интендант, рядовой или комиссар. Наверно, потому так получалось, что среди едущих почти не было кадровых, если не считать сотрудников московской окружной газеты. Но и эти кадровые, в сущности, были обычными репортерами. Военные газетчики не кичились своими званиями. Им некоторым образом даже

льстило, что знаменитый Горбатов тоже будет одним из сотрудников фронтовой газеты и что не менее популярный Н. Крэн с удовольствием распивает наравне с ними водку из старой «финской» фляги: по глоточку, но из одного горлышка — по очереди.

Среди попутчиков выделялся худощавый и плечистый малый в ладно сидевшей гимнастерке с лейтенантскими квадратиками. Его острое, большеносое лицо освещалось серыми прищуренными глазами и было загорелым и мужественным. Все время слышался его удивительно чистый, акающий московский говорок и мальчишеский теноровый смех. Это был фоторепортер Егоров.

Счастливец, он провел свой отпуск на Валдае, в охотничьей хижине. Он великолепно рассказывал о жизни в лесу, о своей собаке. Я хотя и не люблю охоту, заслушивался и удивлялся тому, что Егоров — обыкновенный фотограф-репортер, а не знаменитый следопыт и знаток природы...

Перед рассветом по вагону пронесли ведро — зеленое эмалированное ведро, и продавщица простуженным глухим голосом предложила сарделек. Никому есть не хотелось, но на второй полке обнаружился человек, заснувший крепчайшим сном, как только влез на эту голую полку. Даже адский противовоздушный гром не прошел сквозь его могучие перепонки. При слове же «сардельки» с полки вдруг свесилось очень большое мясистое лицо и огромный рот повелительно приказал:

— Два десяточка. И батончик...

Женщина в грязноватом халате хладнокровно вытаскивала длиннейшую розовую цепь, похожую на гигантское ожерелье. Она вслух сосчитала и сказала:

— Товарищ военный, всего восемнадцать осталось. А хлебушка, уж извините.

— Ничего, давайте восемнадцать, — ответил, слезая, очень высокий мужчина.

— Внимание, граждане пассажиры, — объявил Егоров, — вот как действует на аппетит, а верней, не действует военная обстановка...

Едок был хорошо известен в окружной газете. Ел он фепоменально и, проглотив последнюю сардельку, равнодушно раздвинул зрителей, которые успели сбежаться на это зрелище, влез на свое место, и через минуту оттуда

раздался могучий храп. Пассажиры обсуждали эпизод обстоятельно и приводили разные примеры, вычитанные или услышанные от кого-либо.

Однако на меня это зрелище произвело жутковатое впечатление. Впоследствии на фронте я бывал свидетелем подобных appetитов и каждый раз чувствовал себя их возможной жертвой. Самым тяжелым переживанием этого Гаргантюа — участника многих боев и храброго человека — за всю войну было происшествие в городе Николаеве у одной гостеприимной хозяйки. Дожаривался огромный гусь. Стол был сервирован. В это время вошел дежурный по редакции майор и скомандовал:

— Немецкие танки в городе...

Гусь так и остался в духовке!

Между тем окна сделались грифельного цвета — то ли из-за тумана, то ли потому, что начинался рассвет. Поезд неуклонно приближался к Киеву. Прошел слух: редакция вместе со штабом фронта будет дислоцироваться в Виннице. Вдруг грифельные прямоугольники осветились трепещущим оранжевым заревом, а вагоны застучали между переплетами очень длинного моста. Днепр нельзя было разглядеть, но на той стороне был Киев, к которому стремился состав. Колеса вертелись все тише, паровоз явно переводили на другой путь. И действительно, оранжевое зарево стало гуще, поползло навстречу и вдруг распыхалось с правого бока вагона, и мимо проплыла охваченная пожаром станция. На одной из догорающих стен можно было разобрать слово «Дарница».

Однако остановки не произошло, и мы могли слышать этот первый признак войны, треск и шум пламени сквозь перестук колес... Население вагона примолкло: очевидно, каждый задумался о своем возможном будущем. У всех были бледные, какие-то обтянутые лица. Я курил папиросу за папиросой, все еще гадая: «Что там с Москвой?» Только громко звучал храп обжоры, но почему-то казалось опасным взять спящего за большую, толстую руку и потрясти, чтобы он перестал так страшно храпеть...

Окно из серого постепенно стало голубым, под насыпью обозначилась длинная тень, цепочка скачущих карикатурных вагончиков, по-детски примитивно нарисованных встающим солнцем.

По вагону шел незнакомый командир в очках, с блокнотом в руке. Скучным и глухим голосом он повторял одно и то же:

— Товарищи, скоро Винница, готовьтесь к выходу, не забудьте вещи, выйдете из вагона и без команды стройтесь у восточной стены вокзала.

Раздались недоуменные вопросы:

— А какая сторона восточная?

— Что за чушь! Почему строиться без команды?

Тормознули внезапно и очень резко — стоявшие в проходе налетели друг на дружку. Все заторопились, чертыхаясь и толкаясь чемоданчиками и вещевыми мешками. Поезд явно не дошел до платформы. Прыгать было высоко, но все безропотно прыгали один за другим и, пыхтя, устремлялись в направлении станции. И очень хорошо, что спешили, — из станционных громкоговорителей неся механический диспетчерский бас с украинским придыханием:

— Храждане, воздушная тревога, бо над станцией самолеты противника...

Это был крупный узел, с множеством разветвленных рельсовых путей, с длинными коридорами между эшелонами. Эхо диспетчерской глотки несло по этим коридорам, отдаваясь сатанинским хохотом — ха-ха-ха, га-га-га. Но еще кричали все паровозы — я угадал среди этого хора и голосок нашего паровоза, — вся эта симфония сушила рты бегущих, подшибала под коленки, не давала оглянуться. А оглянуться стоило: прибыло столько народу, что вдоль рельсового пути образовалась глубокая колея, из-за чего бежать стало трудней. Только Егоров легко, поохотничьи, неся впереди меня. Остальные забыли правила спортивного бега под оглушающим действием радио и хора паровозов.

Когда достигли станции и вытянулись нестройной колбасой вдоль какой-то прокопченной стены, только тогда, как будто специально, диспетчер рывкнул: «Храждане, отбой воздушной тревохи...» И все кругом завывало и затряслось, загрохотало и запахло чем-то совершенно неземным — военнотружущие Южного фронта, в том числе и я, попали под свою первую бомбардировку с воздуха...

Бомбежка в городских условиях несравненно страшней, чем в поле.

Удивительно, что первая бомбежка не сопровождалась человеческими потерями — по крайней мере, ничего об этом не сообщалось.

ГЛАВА ВТОРАЯ



Редакция газеты «Во славу Родины» была размещена в верхнем этаже гостиницы, откуда открывался вид на город. Винница тонула в очаровательных темно-зеленых садах и парках. Лучшие здания города выстроены на холмах, к ним принадлежала и гостиница.

Редактору Погарскому нашли жилье в районе типографии. «Во славу Родины» должна была печататься на базе местной областной газеты, и понятно, что Погара хотел быть поближе к базе. Полковой комиссар затеял все дело широко, начиная с формата. Газету начали выпускать величиной с «Правду» — четыре большие полосы. Было где развернуться правдистам: Крэну — со своими передовицами, которые он несколько лет делал в «Правде», Борису Горбатову — с очерками... Прежде всего следовало связаться с частями действующей армии, найти корреспондентов-бойцов, командиров и политработников. Вообще ставка делалась на фронтный материал «из гущи огня». Погара очень гордился своим аппаратом: москвичи, правдисты, писатели, первоклассные фотографы, мастера столичной верстки. Погара прихватил еще нескольких винницких газетчиков, тут же всех мобилизовал, всем присвоил звания. Сейчас же послал бригаду в передовые части за «огневым» материалом. Поехал и я с берегов Южного Буга к побережью Прута, пограничной реки между Румынией и Советской Украиной.

В тех местах фронт не был сплошным: румыны не

ра в лучшем виде: писать смешно надо уметь, даже когда тебе совсем невесело. Писать серьезно о смешном трудней, чем смешно о серьезном, — такие суждения не редкость. Но разве дело только в трудности?

Хочу, чтобы читатели побольше узнали о смешном человеке на войне. Хочу обойтись без всяких предварительных разъяснений — этаких инструкций к пользованию таблетками. Мои таблетки показаны всем — не токсичны и не приведут к побочным явлениям.

Все время надо помнить: АВТОР — ЮМОРИСТ, такой с него и спрос.

Есть на Каменец-Подольщине местечки Дунаевцы и Ушицы, окруженные чудесными лесами. В одном из таких лесов я повстречался с Борисом Горбатовым, считавшимся самой главной литературной силой в редакции. Борис приехал самостоятельно. Он располагал автомашиной, но попал под бомбежку с другой группой, и они чудом уцелели.

Действовали немецкие асы на флангах весьма дерзко и эффективно. Били по советским войскам, не имевшим хорошего прикрытия с воздуха. С земли зенитки пока не были рассчитаны на скорости «мессершмиттов» и «юнкерсов».

Мы вернулись в Винницу, каждый со своей бригадой. Там обнаружили Сергея Михалкова в одной из палат местного госпиталя, куда пришли для встречи с первыми ранеными. Эти ребята пострадали на передовом рубеже, но главным образом от бомбежки.

Бомбили Винницу очень часто. Пилоты фашистской бомбардировочной авиации, вероятно, совершали свои операции в основном по площадям, а возможно, что Винница была слишком разбросана, чтобы нести крупные потери. Факт тот, что газетчики научились не обращать внимания на бомбежку.

Поляков, Михалков, я, иногда и Горбатов с начала выпуска «Во славу Родины» активно вели на последней полосе юмористический отдел под названием «Каленым штыком»; там же упражнялись карикатуристы Вася Фомичев и Витя Васильев по прозвищу Василиса. Витя был мал ростом, худ и тихоголос. Добрые темные глаза на смуглом, почти оливковом личике были всегда внимательны и чуточку грустны. Он придумывал своеобразные ко-

мйксы — серии рисунков с пространным сюжетом, тщательно проверяя все оттиски, споря и советуясь с цинкографами. Витю любили все. Отдел «Каленым штыком» был центром, магнитом, к которому тянулись все остальные сотрудники. Трудно сказать, смешили ли бойцов на передовой картинки с подписями, фельетоны Полякова и Михалкова, мои частушки и пародии. Но неиссякаемый юмор Володи Полякова, тихие шутки Василисы и глубоководские повадки Михалкова всегда вызывали улыбку на суровых лицах остальных военных газетчиков, несущих повседневные тяготы выпуска газеты под почти непрерывный гул канонады, взрывы бомб, захлебывающийся лай зенитных пушек, визг и шипенье осколков.

На верхнем этаже гостиницы газетчики любили по вечерам поваляться на постели, читать и перечитывать те немногие книжки, которые догадались захватить в полевую сумку. Однажды вечером я взялся за Гайдара и обнаружил в повести «Военная тайна» страницу с изложением моего «Коминтерна», пересказанного сухой прозой, но с пафосом. Я только что собрался позвать Полякова, как черная тарелка громкоговорителя захрипела: «Храждане, над городом самолеты противника, хррррр...» Погасло электричество, и книжку пришлось отложить. Я закрыл глаза и повернулся к стене: «Темно, так буду спать». Усталые товарищи, как видно, последовали моему примеру.

Опомнился я от резкого толчка и дребезжания стекол, затемненных и заклеенных бумажной решеткой. «Храждане, — вдруг захрипела тарелка, — отбой воздушной тревоги...» И тут же грянул за окнами колоссальный взрыв, по меньшей мере, тонной бомбы. Комната сперва качнулась вправо, вслед за этим кровати подвинуло в сторону окон. И — хоть глаз выколи — нет света!

Я закрыл ненужные глаза, но в ту же секунду открыл их снова, почувствовав, что кто-то упал со мной рядом, обхватил руками, задышал в затылок и что-то шепчет в звенящие уши. Лицом я ощутил другое лицо, а руками нечто мягкое и упругое, вызвавшее во мне какие-то довоенные переживания. Чудовищные сейсмические качания стали ослабевать, но постороннее тело еще сильнее прижималось ко мне, дрожа. На всю комнату прозвучал знакомый голос: «Это я! Не прогоняйте, пожалуйста...»

Это была Клабочка — радистка редакции, со страху она попала на мою кровать. Очень вежливо я перелез через нее, сел рядом и стал успокаивать, поглаживая, как ребенка. Клава молча толкнула меня своим мягким боком, быстро-быстро вскочила. Дверь скрипнула, открылась и закрылась. Комната стала на свое место...

Спустя долгое время загорелась лампа. Оказалось, что все лежат, не спят, щурятся на яркий свет. Мой вопрос: «А где Клава?» — всех очень насмешил. Похохмили насчет глупости диктора, возвещавшего отбой перед началом бомбежки.

Так я и не понял, приходила Клабочка или нет. Нарочно на следующее утро я зашел в радиорубку редакции, но Клава, как обычно, кинула мне: «Приветик».

За лето первого года войны штабы мало-помалу научились элементарным мерам скрытности и ночным перекочевкам в другие пункты. Трудней было редакции с ее громоздкой техникой — автобусами, электростанциями и пр. Газетчики должны были развертываться либо в городе с хорошей полиграфической базой, либо перейти на меньший формат и выходить в полевых условиях соответственно имеющейся технике. Ни наш редактор, ни его начальник почему-то не желали этого, хотя стало известно, что газеты других фронтов, в том числе располагавшие спецпоездками, печатались половинным форматом.

Противник явно усовершенствовал тактику и стратегию воздушной войны. Налеты становились все эффективней и массивнее по мере продвижения на восток наземных войск. Для нас началась совершенно цыганская жизнь... Никогда еще не приходилось мне так досконально познавать украинскую землю, как в это лето!

Впервые довелось побывать в заочно любимой легендарной Одессе. Немецкие аэродромы были так близко, что сигналы тревоги вообще не успевали прозвучать. И первые жертвы редакция понесла именно в этом прекрасном городе.

22 июля Одесса была особенно солнечной. Накануне Поляков уговорил меня сходить в швейную мастерскую местного военторга: Володе приспичило пофорсить полетному.

Действительно, суконный костюм в разгаре лета! Все это обмундирование, пропотевшее и пропыленное, колющееся сквозь майку, надоело. Нормальный вид москвича была рубашечка с короткими рукавами, штаны из рогожки и парусиновые туфли. Об этом осталась только мечта-воспоминание.

Справляясь у одесситов, отыскиали мы в лабиринте улиц одноэтажное длинное здание с зеленой вывеской и вошли в дверь, завешенную марлей против мух, носившихся по Одессе тучами.

Закройщик — лысый, в жилетке, с сантиметром на шее — уважительно встретил нас. Он поднял одну бровь, когда мы сказали, что хотели бы выйти из этого заведения в белых гимнастерках как можно скорее.

— У нас еще нема приказа на такую форму...

— Но такой материал у вас есть?

Закройщик поднял другую бровь до уровня первой, вздохнул и ответил:

— Что значит? Командиры желают что-нибудь из белого или что?

Командиры стали рыться в нагрудных карманах, но шеф громко позвал:

— Рая! Раечка, деточка моя...

Из темного чуланчика вырвался сначала стрекот швейных машинок, а потом выплыла огромная толстая дама с гвардейскими усами, свирепо улыбнулась мне и заявила басом:

— Рая уже семнадцать годов! И вообще обеденный перерыв, Давид...

— Работайте... — перебил Давид и продолжил по-еврейски, ввернув под конец фразы настоящее русское матерное ругательство.

Раечка сняла со стены плечики с висящей на них шинелью. Обнаружилась дверка, которую Рая открыла, бормоча последние слова Давида: «Мать-мать-мать». Она влезла туда по пояс и, трудно дыша, вытащила тяжелую штуку мадаполама, сдула с товара облако пыли и шлепнула материал об пол.

— Крошечка, так это же бельевой товар! — пропел Давид и так опустил брови, что вроде бы треск раздался по мастерской, а у Раечки, напротив, усы грозно встопортились:

— Знаешь, Давид, ты себе позволяешь в обеденный перерыв, что товарищи командиры могут даже подумать!

— Ша уже! Сегодня ничего не обещаю, приказа нема, извините. Рая, вы свободны, Рая! — чопорно добавил закройщик и вновь поднял одну бровь.

Поляков поглядел на меня. Я — на Полякова. Рая зашептала с Давидом. А Поляков неожиданно для себя сказал:

— Мы согласны. Шейте из этого, только мы будем здесь ждать.

— Извините, но у нас перерыв, так что вы имеете доплатить за сверхурочность... Раечка, красоточка! Будьте любезны, вызовите Леву и Савву — чтобы одна нога там, а вторая сям. А вы снимите уже верхнюю одежду и можете перекурить часик. Раечка, принесите скамейку заказчикам, шоб мне так жить... — И опять добавил сильное выражение.

Пока мы курили, в мастерскую вошли два милиционера, впустив с собой облако мух. Увидев людей в майках и форменных штанах, милиционеры пошептались, и один робко спросил у заказчиков документы. Патрульные долго рассматривали красненькие книжечки и сравнивали фотографии с оригиналом. Потом посоветовались между собой, не свести ли полуодетых к дежурному по городу, но я отобрал у патруля обе книжечки и кратко скомандовал: «Налево, кругом марш!» — что оба милиционера четко выполнили, впустив еще порцию мух под марлеву занавеску...

Самое поразительное было то, что Давид, пятясь, вылез из чулана и принес на плечиках две ослепительно белые гимнастерки. Завернул в две газеты суконную одежду и опустил брови. Все как в немом кино. После чего протянул руку за деньгами. Мы расплатились, надели обновки и молча вышли за марлеву занавеску.

Нам стало хорошо и легко. Мы очень нравились друг другу. Решено было съесть пломбир на бульваре Фельдмана, куда мы и зашагали, почистив по дороге сапоги и взвесившись на Дерibasовской на подозрительном приборе, показавшем одинаковый вес по 83 кило на каждого.

Гимнастерки сияли, как рафинад, выгодно окаймляя приобретенный за месяц заггар. Кавалерградский блеск сапог вдохновлял нас на новые подвиги. Мы чувствовали, как под тонким мадаполамом вместо натруженной шкуры вырастает новехоньякая и нежная, как атлас, девическая кожа, — чудесное состояние!

Встречные военнослужащие обливались потом. Изредка они поднимали воспаленные веки, останавливались, парализованные красотой двух франтов. И это тоже было лестно до невозможности.

Скоро мы достигли каменной громады обкома партии. Навстречу подул ветерок с моря, мы повернули налево, к легендарной пушке на постаменте.

На скамейках, окружавших скверик с пушкой, сидели одесситки, преимущественно пожилого возраста, с зонтиками и детскими колясками. Дамы вели между собой беседы; хорошо поставленные их голоса отдавались от стен обкома:

— Так вы слышали, Фаня, за этих шпиёнов, за этих ракетчиков?

— Ой, мой Фимочка даже видел, як он пальнул из крыши!

— А на Привозе говорят, шо Гитлер у Молдавии!

— Или!!

Медленно обходя памятник, мы вдруг столкнулись с давешним милицейским патрулем. Это были молоденькие цареньки с типично украинскими розовыми щеками и пушком над губой, с тонкими гоголевскими носами и с пустыми новыми кобурами на боку. Один из них, сержантик, козырнул мне и мягким тенором сказал с ударением на «у»:

— Товарищ, будь ласка, ваш докүмент.

Я очень удивился и сказал, что уже показывал удостоверение. Но сержант коротко повторил: «Будь ласка!»

Я пожал плечами, вынул красненькую книжечку, но не отдал сержанту, а попросил взамен предъявить мне свой документ. Сказал тоже с ударением на «у».

— Дак, товарищ командир, вы ж зараз бачите на мэни хворму?

— Мало ли что я вижу, — сказал я.

Малый смутился, огорчился, но продолжал приставать:

— Дак, товарищ командир, дак разрешить побачить хвото.

Другой патрульный подхватил:

— Та зараз побачим, тай годи...

Тут я понял, в чем дело. Решительно спрятал удостоверение.

— Если человек в очках, он, значит, немецкий шпион, так, что ли?

Проверяющие очень обрадовались и закивали головами от удовольствия:

— Так точно, товарищ командир. Бо в очках.

Я нахмурился и потребовал:

— Ну-ка оба, давайте, что у вас там есть. Живей.

— Дак мы ж у хворме!..

— Заладили «в форме, в форме»! Ну и что? Читали, в газете «Во славу Родины» Владимир Поляков пишет, что в районе Березовки сброшен фашистский десант в милицейской форме? Не бачили? А ну давайте пройдем до комендатуры...

В Одессе наша газета печаталась в типографии «Черноморской коммуны» на Пушкинской. Редакция разместилась напротив типографии. Редактор привык получать еще мокрые полосы, которые тащили ему в кабинет сразу из-под пресса. Секретарь редакции стоя, из-за плеча начальника делал основную правку. Полковой неторопливо надевал очки и ставил в углу полосы свои инициалы. Потом снимал очки и медленно прохаживался по кабинету, слушая рассказы своих подчиненных, которые набивались в его кабинет без доклада.

Полякова редактор любил чрезвычайно, хотя юмор Володи не всегда доходил до его сознания. Будучи кадровым военным, редактор «Во славу Родины» особо симпатизировал самым что ни на есть гражданским людям. Он считал Володю и меня любопытнейшими экземплярами, редкими птицами и дорожил нами как страстный коллекционер. Поляков уверял, что он может веревки вить из Михал Владимыча если не в служебном, то уж наверняка в бытовом аспекте. Полковой комиссар был сущий ребенок в житейском смысле. Он радовался и восхищался Поляковым, как дитя игрушкой...

Сегодня полоса уже была подписана и унесена в типографию. Редактор выглядел и чувствовал себя отлично в своем родном городе. Газета выходила большим форматом. У него работали известные писатели, сегодня был великолепный день, а в Одессе всегда великолепные дни. Вот если бы еще зашел Поляков!..

Роскошные в своих обновах, блистая надраенными сапогами, как бы вызванные мыслью полкового комиссара, в кабинет вошли Поляков и я.

Редактор взял со своего стола очки, не надевая их, приложил наподобие лорнета к глазам, засопел, нахмурился и сказал:

— Так...

Володя щелкнул по-кавалерийски каблуками, приложил руку к козырьку и самодовольно замер, пока редактор, выйдя из-за стола, не обошел вокруг своего любимца, который соответственно вращался, пощелкивая каблуками.

— Так... — повторил начальник и замолк.

Я учуял недоброе и попросил:

— Разрешите обратиться!

Но полковой отрицательно покачал головой, сокрушенно вздохнул и сам задал вопрос, преимущественно обращаясь к Полякову:

— Вы где, Поляков?

Поляков молчал, не понимая.

— Товарищ Поляков, не возражайте. Вы почему?

Поляков снова не понял и молча, вопросительно уставился на меня. Я показал на свою гимнастерку. Но Володя и сейчас не понял или сделал вид. Тут вошел в кабинет старший политрук Друз, плотный рыжеватый человек, наш приятель ещё с финского фронта. Он держал в руках мокрую полосу, с которой капало на пол. Друз чуть не выронил свою ношу, так он был потрясен нашим видом. Редактор кивнул Друзу в сторону стола: дескать, положи и не мешай, а сам, малиново краснея, третий раз спросил:

— Кто вам разрешил? Вот это... — И негодующий палец прикоснулся ко впалой груди Полякова.

Мы стали что-то лепетать. Полковой ничего не говорил и совсем не слушал нас. Он повернулся к нам задом, наклонился над белым листом, а Друз над его плечом черкал карандашом по полосе.

Редактор проставил в углу полосы буквы «М» и «П» и, не оборачиваясь, бросил:

— Можете быть свободны! Мы — пока еще на фронте, а не в бардаке!..

— Как грубо! — воскликнул Володя.

— Идем переоденемся, — добавил я.

Четко повернулись через левое плечо и покинули комнату, где нас оскорбили в лучших чувствах. Немножечко подождали за дверьми — а вдруг начальство опомнится и

позовет обратно, — спустились по лестнице и вышли на Пушкинскую.

Мы понуро шагали к своей гостинице. Сумерки сгустились, и южный вечер наполнил Пушкинскую улицу своим очарованием.

— Хлопцы! — окликнул нас Друз. — Пойду на часок, прошвырнусь до обкома, а потом на дежурство...

Но на дежурство 22 июля старший политрук не пришел. Через час Друз погиб под обвалившейся стеной обкома.

Как только мы вошли в вестибюль гостиницы, где, так же как в Виннице, нам почему-то предоставили под жилье самый верхний этаж, вся гостиница вдруг зашевелилась, от фундамента до чердака.

Мы выскочили из кабины лифта и по качающимся ступеням одним духом взлетели наверх, прямо в пелену вонючего дыма, ползущего по коридору. Все двери начали самостоятельно открываться, в потолке возникли зигзагообразные трещины, из них сочился противный дым.

— На крышу! — закричал откуда-то взявшийся Василиса, успевший уже надеть каску.

Мы сломя голову ринулись в конец коридора, с трудом сорвали массивный замок с чердачной двери и в крошечном дыму разглядели выходной люк на крышу. В этом черном квадрате видны были метавшиеся во все стороны белые хвосты прожекторных лучей.

Почему на чердаке горела стосвечовая лампа? Совсем не замаскированная? И наверняка заметная с неба! При этом ярком освещении мы вдруг заметили... штабеля женских ног!

Ужас зашевелил волосы на наших головах. Но Василиса первый догадался, в чем дело.

— Братцы! Песок!.. Для зажигалок! — завопил он.

Художник схватил одну ногу и стал колотить обо что попало. Это был чулок, наполненный песком, очень тяжелый. Подумать только, что хлипкая ткань, разъезжающаяся на нежных ножках в мирное время от неизвестных причин, так трудно поддается разрыву во время пожара. Тут же валялись лопаты, и наша тройца, матерьясь, кидала тяжеленные чулки на крышу, а накидав побольше, выбралась под небо. Там мы рубили проклятый фильдеперс и кидали песок на огонь. Пожалуй, мы опоздали: зажигалки упали в трех местах, крыша не успела прогореть, хотя огненные лужицы растекались во все стороны.

Бомбежка 22 июля была, как всегда, внезапной и весьма эффективной. С крыши открывалось страшное зрелище: вдоль всей Пушкинской пылали костры, багровые клубы дыма стояли над зданиями. Доносились дикие вопли...

Наскоро засыпали три огненные лужицы и мигом слетели в полнейшей тьме на Пушкинскую. Рядом с гостиницей был исторический памятник — дом, где жил Пушкин (поэтому улица называется Пушкинской).

Час тому назад Друз и мы с Поляковым прошли мимо него, а сейчас на месте пушкинского дома пылала бесформенная груда развалин. Пожарные и добровольцы-одесситы заливали огонь водой из шлангов, растаскивали страшные горящие бревна. Неимоверно быстро сгорел этот исторический памятник...

Блики и отсветы причудливо бегали по лицам и фигурам людей, сбежавшихся помогать. Целью бомбежки был, конечно, одесский порт. К счастью, он почти не пострадал.

Голая женщина бежала вверх по Пушкинской, и над нею вилась, как парус, совершенно бесполезная простыня. Этот, я бы сказал, «живописный факт» в страшной фантасмагории всего вечера вызвал у меня ассоциацию с известной картиной Брюллова «Гибель Помпеи».

Мы с Володей в изодранных, бывших белоснежных, гимнастерках вбегали в двери, откуда неслись крики о помощи. Мы врывались в квартиры, где истерически вопили женщины, успевали выносить старых и больных людей, маленьких детей, забирались на чердаки и уже опытными руками кидали на крыши непременные чулки с песком, гасили огненные струйки и ручьи...

В одной квартире немолодая дама в халатике ползала у ног Полякова с криком:

— Он умер! Боже мой! Как быть, у него гроши!.. А мне надо на рынок!..

Тот, кто якобы умер, оказался совсем живым юношей студенческого возраста, уже включившимся в работу по тушению зажигалок, хотя был в плавках. Он успел всем сообщить, что дама — его любовница.

Дама крепко обнимала поляковские сапоги. Володя с большим трудом вырвался из объятий обалдевшей женщины, страшно обозлился, отчаянно выругался и вдруг дал даме... по морде. Они кричали дуэтом приблизительно по такой текст:

- Кошмар!
- Идиотка!
- Идиот!
- Он умер! Гроби!
- Пошла к черту!..

Следующее утро 23 июля застало нас с Володей в самом фешенебельном номере гостиницы. Как добрались мы до этого люкса, как рухнули в своем обгоревшем обмундировании на эти двухспальные лежа и как задраили тяжелыми пурпурными портьерами огромные окна — неизвестно.

Я, проснувшись, спокойно потянулся и посидел на атласном покрывале. Чтобы стряхнуть волшебное очарование, переполз к самому окну и взял в руку бронзовую фиговину, венчавшую толстый, мясного цвета, шнур. Портьеры со звоном колец пошли в стороны, люкс осветился ярким солнцем. Володя мгновенно вскочил на ноги — так силен был этот светопад — и, по обыкновению, воскликнул: «С добрым...» Внезапно нас вместе с ореховым гарнитуром так быстро передвинуло на несколько метров от окна, что Володя скатился на пол, а я лежал с бронзовой фиговинкой в руке на Володином месте и не понимал, что случилось. Там, где я спал, было насыпано битое зеркальное стекло, в котором переливался бриллиантовый свет. Утро 23 июля дарило Одессу тяжелыми фугасными бомбами. Одна такая угодила на Пушкинскую. Странно, но жертв не было. В гостинице «Красная», в частности, ночевали только мы — два сотрудника фронтовой газеты.

Подождав следующего толчка, мы решили, что пора сматываться. Привели себя в порядок. С трудом открыли дверь номера, где, к нашему удивлению, уцелели наши чемоданы. Переоделись в свои суконные гимнастерки, не без сожаления о вчерашнем великолепии. Внизу «Красная» была безлюдна, пропахла дымом, гарью и какими-то газами.

То, что было дальше, заслуживает полукомических, полугероических стихов, на худой конец, драматической формы. Надо лишь по временам вспоминать, что в Одессе все возможно, даже самое невероятное.

Сперва — достоверный сухой язык рапорта:

«В результате воздушного палета гитлеровской авиации, имевшего место 22 июля 1941 года, N-скую редакцию, то есть N-ское подразделение, надо передислоцировать с целью дезинформации противника о расположении штабных и иных инстанций на территории населенного пункта О. на Ч. море».

И переехали. Переехал, собственно, редакционный аппарат во главе с новым секретарем товарищем Железновым — вместо Друза.

Типография «Черноморской коммуну» по-прежнему осталась базой для печатания «Во славу Родины». Редактор, как всегда, избрал для своего жительства ближайшую к Пушкинской улочку. Он регулярно приходил в редакцию.

Бывший Французский, а ныне Пролетарский бульвар — очень длинная магистраль вдоль берега Черного моря. С обеих сторон он представляет собой сплошную цепь оздоровительных комплексов. Теперь санатории и дома отдыха превращены в госпитали или заняты зенитной артиллерией с аэростатами воздушного заграждения.

Кругом — цветущая природа с обилием экзотической флоры: всякие там фило- и рододендроны, лианы. Подчеркнутая желтизна песчаных дорожек. Полукруглые раковины для концертных выступлений. Аэростаты, парившие на могучих тросах надо всей этой панорамой, отлично вписывались в ландшафт. Оборудованные площадки противовоздушной обороны с торчащими вверх стволами выглядели как клумбы, хотя предполагалось, что невидимы для противника.

Санаторий раскинулся своей парковой зоной над самым морем. Это были очень солидные корпуса. Редакционное начальство по чьей-то безумной прихоти поместило людей не в эти корпуса, а в стеклянную оранжерею, возведенную перед началом войны и потому еще не засеянную и не засаженную растениями. Под сверкающими сводами этого сооружения, пропускавшими ультрафиолетовые лучи, сотрудники поставили всякую мебель. Туда же подвели связь. Эта официальная секция, которая предназначалась для служебных надобностей, была быстро и надежно затемнена. Остальное, незатемненное, пространство оранжереи уставили очень хорошими санаторными кроватями с тяжелой проволочной сеткой на рельсовой раме, даже с двумя одеялами, как будто народ собирался провести там зиму.

Стекло пропускало не только полезные для выращивания цветов лучи, но и льющуюся во все уголки летнюю жару. Все старались любым способом находиться вне жилища. Василиса в полукилометре от остальных спала на садовой скамье в каске, которую вообще перестал снимать.

— Очень удобно, — говорил художник, — лучше подушки...

Вскоре меня послали собирать материал у зенитчиков, благо артиллерии в парке было полным-полно. Великолепные парни в форменках и брезентовых робах хорошо приняли корреспондента, покормили гречкой с красным перцем и представили ему свой лучший расчет. Очень кстати над морем зажужжал треугольник «юнкерсов», и лучший расчет мгновенно открыл огонь, оказавшийся действенным, не потому что асы были накрыты, а потому что они быстро отвалили из этого сектора.

— Через полчаса ждем девятку. Оставайтесь, товарищ. Все дивизионы будут работать. Осколков от нас хватит на весь Пролетарский бульвар. Ей-богу, останьтесь! Под это дело нам дадут по два боекомплекта...

Я вдруг сообразил, что зенитчики могут нанести ущерб редакционному имуществу, что надо проинформировать коллег о предстоящем налете. Замполит батареи был настолько любезен, что дал мне провожатого — лихого малого с причудливо выращенными бакенбардами и боцманской дудкой на груди.

— Старшина Яценко, отвечаете головой за батальонного комиссара, ясно?

— Есть! — гаркнул старшина.

У меня возник истинно репортерский замысел: задержать старшину в редакции на предмет фотографирования и небольшого интервью.

В оранжерею моряк входил, разинув рот и шарахаясь между стеклянных стен. Возле стола секретаря появление зенитчика вызвало ажиотаж, — Клавоочка моментально начала прихорашиваться, потому что Яценко впился глазами в ее пышные колени и отвечал на вопросы секретаря невпопад.

Железнов не мог удержаться от замечания Клавоочке и старшине. Егоров прицелился своей «лейкой» раз десять. А когда Железнов, нетерпеливо суча ногами, спросил моряка: «У вас все?» — тот утер лоснящееся лицо бесковыркой и вдруг сказал:

— Товарищ корреспондент, а можно задавать вопросы?

Железнов ответил:

— Давайте, только поскорей...

И Яценко, покрутив головой, заявил:

— Отчаянные вы люди. Та я и пять минут не жил бы в цей посудине...

Железнов встал и отрезал:

— Со своим уставом не суйтесь. Можете идти, одним словом...

Я проводил старшину до ворот и, извиняясь за слишком скромный и несколько грубый прием, сослался на специфику газетного дела.

Очень противно было по ночам. Тревогу не объявляли. Внезапно вокруг нашего парника начинали свистеть и шуршать осколки зенитных снарядов на фоне немилосердного лая орудий. Вставать и выходить можно было только по команде редактора отдела боевого опыта капитана Урбанова. Он просыпался позже всех, ибо обладал тренированной нервной системой и имел артиллерийское среднее образование. Но зато проснувшись, Урбанов мгновенно оказывался совершенно одетым, при противогазе, с гранатой в руке — похоже было, что человек никогда не раздевался.

— Встать! — орал капитан громовым голосом. — Соблюдать тишину и порядок! Заправить койки! Гуськом, по одному — за мной...

И сонные сотрудники, натываясь на койки, брели к выходу и еще метров триста дальше, где были вырыты щели. В щелях сонливость как рукой снимало, и возвращался естественный страх за свое брненное существование в смысле простуды.

Мы с Поляковым раза два словчили, то есть воспользовались темнотой и убежали от остальных далеко в сторону, лишь бы не залезать во влажную, осыпающуюся яму. Но нам не пришлось ловчить долго: обоих отправили в командировку на передний край.

Было у нас еще двое сотрудников, весьма отрицательно относившихся к жизни в стекле и тем более к смерти во время налета. Бедовые ребята, хоть и писатели, не скрывали своего страха, и им разрешили выкопать личную щель среди кустов жасмина. Щель глубиной метра

два. Возле нее положили пару матрасов. Эти двое лежали днем и ночью рядом со своим убежищем, скатываясь в яму при первом намеке на воздушную опасность. Между прочим, им никто не завидовал, а, напротив, сочувствовали. Кроме того, мы не верили, что прямое попадание в щель — редчайший случай даже по теории вероятности.

Можно было считать счастливыми всех, кому фронтовая служба не вменяла в обязанность постоянное пребывание в редакции. Сотрудники, выполнявшие командировочное предписание, были самыми вольными людьми и становились таковыми с момента выезда за ворота редакции.

Нередко журналисты «отсиживались» в частях переднего края, чтобы избавиться от участия в передислокации, то есть в подготовке к переезду и в самом переезде на новое место.

До чего мутное да и тяжелое занятие эти передислокации! Они были по вкусу разве таким оригиналам, как Горбатов: ему нравилось быть квартирьером — выезжать на легковой машине за несколько дней до общего переезда в пункт, обычно назначенный штабом фронта; там, в этом населенном пункте, он ссорился с другими квартирьерами при выборе помещения для газеты. Если наш квартирьер обнаруживал точку общепита с бочковым пивом — он переправлял пиво в предполагаемое общежитие сотрудников и лично распределял заготовленный продукт. Это ему тоже весьма нравилось, ибо путь к созданию авторитета, перефразируя известный афоризм, лежит через желудок потребителя.

Горбатова хлебом не корми — дай ему в руки карту и посади рядом с водителем. Казалось, что и писать он любил не так сильно, как уезжать и приезжать. В таком пристрастии, хотя и очень опасном, несомненно, есть нечто привлекательное. Володя и я ценили в командировках прежде всего независимость и возможность общения с бойцами. Пусть временное, но ощущение единства пулеметчика или сапера с веселым командиром из газеты. Воины платили за внимание и сердечность честной монетой отзывчивости и благодарности. Это была дружба, испытанная огнем, — ради нее писатели стремились на передовую. Меня и Полякова редакции приходилось разыскивать и многократно требовать, чтобы мы вернулись на базу.



Да не осудят читатели из военных — бывших или сегодняшних — точку зрения автора на место писателя в армейской действительности. Если хорошо подумать о репутации и нормах взаимоотношений, то первое — надо избавить писателя от чиновничества. Он должен общаться с людьми как человек, независимо от ранга своего или чужого.

А во-вторых, я уверен, что не надо давать писателю никаких армейских званий. В самом деле — почему один писатель вращается среди высшей категории армейского общества, а другой только с солдатами? Если ты майор «оранжерейного подразделения», тебе не положены ни машина, ни денщик: ты голосуешь на дорогах, тебя не всегда подберут на грузовик, хотя на твоих плечах погоны старшего начсостава! Редкий полковник позволит тебе посидеть в его присутствии или пригласит тебя посидеть. Вряд ли это на пользу дела. Абсолютно штатские актеры, например, в войсках особенно хорошо принимались именно потому, что не носили форму: им никто не тыкал, не обрывал за фамильярность и небрежение правилами подхода-отхода.

Что касалось нас, Полякова и меня, то, несмотря на общепризнанные сноровку и выносливость в любых обстоятельствах фронта, мы далеко не всегда пользовались признанием со стороны вышестоящих начальников. Правда, оба мы не подходили под принятую мерку дисциплинированных офицеров. Не «тот внешний вид». Некий неуправляемый эксцентризм — своеволие и полное неприятие любой субординации — бросался в глаза службистам, вызывая отвращение к самой профессии литератора.

Вот почему мы с Поляковым так мечтали о выезде за «ворота» редакции. Наша радость передавалась водителям машин, которые превращались из рядовых в равных

и делили за совесть, а не за страх все перипетии корреспондентской опасной службы.

Осталась за спиной арка санатория, водитель прибавил газку, и замелькали по сторонам Пролетарского бульвара чугунные копыа длиннейших изгородей и разнообразно построенные входы в другие здравницы. Проскакивали мимо свежие пустыри с видом на море и на его лазурном фоне — хищные клювы зенитных батарей. Водитель привычно лавировал в потоке встречных и попутных машин. Иногда он снижал скорость, чтобы пропустить колонну с боеприпасами или машину с красным крестом, в задней части которой угадывался человек, — загорелое лицо водителя на миг отворачивалось от простреленного в двух местах смотрового стекла к журналистам — видите, дескать, кто-то отвоевался...

В редакции хороший шоферский коллектив: пока что одни москвичи. Но есть уже и потери: Кузнецов, водитель первого класса, погиб в бомбежку 22 июля. Осколок фугаски пробил редакторскую «эмку» насквозь так, что смерть была мгновенной — даже зажигание не успел выключить Кузнецов...

Возить Полякова ребята любили: он всегда соглашался сделать привал на ночь в ста километрах от редакции, будь там маленькая деревушка хуторского типа или, еще лучше, отдельно стоящая хатка какого-нибудь посейного надсмотрщика, — многие из них радушно принимали лихого шофера за то, что он и его пассажиры щедро выставляли редакционный сухой паек в общее пользование к хозяйскому самогону и горячей картошке. А если в домике были детишки, Поляков показывал им фокусы и учил, как не слушаться тату и маму. С наступлением ночи мы с Поляковым оставались под гостеприимным кровом, а на рассвете выходили, и командировка продолжалась.

Получается — легко жили? Не кокетство ли это? Нет, мы действительно считали, что живем легче других газетчиков!

Однажды мы отправились очень далеко — на стык с Юго-Западным фронтом. Вначале все шло как по нотам: привал с ночлегом и даже дышленок на следующее утро. Но, не доезжая пятидесяти километров до Умани, я решил остаться на ночь у пограничников, принимавших первые удары этой войны. А Володя с шофером Захаром

Супенко покатили в Умань, где был штаб соседнего фронта и редакция газеты.

Половина бойцов погранотряда вышли из строя во время очень тяжелых боев первого месяца войны — приходилось сдерживать гитлеровские наземные части. Противник знал, что здесь стык двух фронтов — уязвимое место, и потому сюда устремлялись мотомеханизированные войска. Вероятней всего, что немцы имели целью отрезать один фронт от другого. Поэтому пограничники самоотверженно проливали свою кровь за каждую пядь земли.

Комиссар отряда Грицай просил меня быть осторожней: каждую минуту могли ударить по его участку танки, и он не ручается, что есть гарантия безопасности: «Кто будет о вас думать в предвидении вражеской атаки?» Но я собирал материал у раненых пограничников, как говорится, на ночь глядя. Это были легко раненные, не пожелавшие эвакуироваться в ближний медсанбат. Мужественные ребята, они решили умереть с винтовкой и пулеметом, но не покидать товарищей.

Во второй половине дня я осматривал местечко и обнаружил подобие городского сада с молоденькими тополями, мохнатыми от пыли. Под одним деревцем стояла школьная парта, за ней сидела девушка, почти девочка, с зеленым носом, в аккуратненькой гимнастерочке. Она выглядела совершенной школьницей. И, как бы для полного тождества, писала что-то в тетрадке, держа в коротеньких пальчиках вставочку. Над ее головой, над смешными косичками свисал вымпел полевой почты. Она как раз записывала слова рыжего артиллерийского старшины. Он картинно изогнулся перед девушкой, в то время как большой жеребец, чихая от пыли, тянулся к чахлому топольку пятнистой губой.

Старшина закончил свой диктант словами: «К сему ваш покорный сын...» Затем он сел на коня, хлестнул его тополевой веточкой, отдал честь и с гулким топотом скрылся в облаке пыли.

Я сказал девушке, что уже смеркается, что на сегодня хватит трудиться, и осведомился насчет зеленого носа.

— А это я нырнула в ихнюю речку, а там мелко и галька. Вот и...

Темнело по-южному быстро. Тощая тень появилась у моих ног, тащась вместе со мной в отряд. Уже выкатывалась большая украинская луна, когда я подошел к старой сосне, где обычно отдыхал и размышлял комиссар Грицай и где он находился сейчас, сидя на корточках, локти на коленях, в зубах папироска.

— Советую, — тихо сказал он, — как можно раньше у речком проститься с нами... Я три раза пытался созвониться с Уманью — не отвечают. А вот совсем недавно позвонил ваш товарищ, Поляков, кажись. Только успел назваться — прервали... Жаль, нет у нас транспорта, я отправил бы вас от греха. Знаете что? Ляжьте вот тут, под деревом, я шинель вам пришлю. И спите. Пока.

Я не дождался шинели, завернулся в свою и стал смотреть на луну. Тихо было так, что слышалась дальняя трель перепела и почти слившаяся с ней пулеметная трескотня. Туман, легкий и прозрачный, колыхался над лугом. Вроде ничего тревожного. Я уснул без сновидений, как в детстве.

Разбудило солнце, давно уже бегавшее по моим небритым щекам. Я снял пилотку и запустил пальцы в волосы: «Эх, постричься на лето в Москве не успел». Потянулся и сел. Тут подошел сержант, знаком показал, что пора вставать, подал мне термос и ломоть ситного с медом:

— Кушайте, а товарищ комиссар сейчас будет...

Грицай пришел под сосну, свежий, очень спокойный, с полевой сумкой и планшетом в руках, через плечо висел автомат.

— Что ж, давайте прощаться.

— До свиданья, дружище, — ответил я, — что ж вы прощаетесь, я же старше вас.

— Кто его знает? — протянул комиссар. — Никому не известно... А вы возьмите автомат на всякий случай. Вашему напарнику я тоже дал. У нас освободилось много оружия... Обнимемся, ладно.

Вот так у старой сосны мы простились...

Я вошел в местечко, и скоро мое внимание привлекло здание так называемого павильонного типа: бревенчатое, в стиле уездного рококо, однако со славянским полукуполом. В открытом настежь окне виднелась характерная фигура парикмахера с бритвой, которой тот шар-

кал о брезентовый ремень, укрепленный на стенке. Я взошел на скрипучее крылечко, где на ступеньках курили человек пять клиентов, и осведомился:

— Кто последний?

Меня тут же поправили:

— Какой такой последний? Крайний, треба размовлять по-русски. Бо последних нема...

Но, видимо, клиенты определили во мне крупного начальника, — они поднялись на ноги и пропустили меня без очереди. Я подошел к только что освободившемуся венскому стулу, сел на нагретое место, снял очки и устроил полевую сумку между колен.

Мастер с презрительным алкоголическим лицом вытряхнул в окно дырявую салфетку, повязал ее мне вокруг горла и, дыша сильнейшим перегаром с примесью чеснока, хотел было поплевать на кисть или на кусочек мыла. Я попросил сначала постричь, и покороче. Мастер отложил мыло и кисточку, пожал плечами и, выбрав машинку, продул ее подвижную часть. Трясущейся с похмелья рукой он с силой вдавил машинку в мой затылок, и агрегат, причиняя дикую боль, поехал сначала вверх, покрутился возле макушки и врезался в голову. Мастер с тупым удивлением взглянул на терпеливого военного, высвободил свое орудие, сменил нож и пошел по следующему ряду. Он, наверное, довел бы дело до конца, если бы снаружи не раздались знакомое гуденье самолета и усиливающийся лай зениток. Очень близко ухнул взрыв, и парикмахерская мигом опустела. В окна полезла густая пыль, — стекло давно не было.

Похожий на каторжника, с остриженной под «ноль» половиной головы, я отплевывался и срывал с шеи салфетку, когда в окно кто-то завопил: «Герман!» Выбегая на улицу, я не сразу понял, что речь идет не о герое «Пиковой дамы» и что на Украине говорят «герман» о немце, верней, о немцах, независимо от их числа... Это я понял, увидев среди площади догорающий немецкий самолет с красными звездами. Гитлеровцы пускались на всевозможные трюки: переодевали в нашу форму не только людей, но и технику. Вокруг меня — навстречу и попутно — спешили бойцы. На дороге, по которой я пришел, тягачи пытались сдвинуть с места искореженный танк «БТ», а возле него закручивалась настоящая воронка из людей, лошадей и грузовиков. И надо всем этим витал сплошной рев: «А-а-а-а...»

Я надел очки, которые во все время бриться держал в руке, и сориентировался: в десятке метров передо мной открывался вчерашний тополевый парк, куда я немедленно кинулся. Что за дьявол! Я увидел под деревцем вчерашнюю зеленоносую девочку, такую славную на фоне общей суматохи. Она гляделась в дешевое военоторговское зеркальце, и, зайдя со спины, я различил в стекле зеленый носик и гримаску.

— С добрым утром, — сказал я, — где ваша полевая почта? Давайте кончать базар...

Девочка повиновалась страшному мужчине с полуобритой башкой. Она вытряхнула в траву свою чернильницу-непроливашку, свернула в трубку тетрадку и встала на цыпочки, чтобы снять эмблему-флажок с тополя. Но флажок снял я и галантно подхватил девочку под локоток.

Мы бегом выскочили из сада, благо он не был огорожен, и влились в толпу. Прямо на меня налетел человек с пистолетом в руке и тремя ромбами в петлицах. Он хрипло орал: «А-а-а!» — и старался пробиться сквозь толпу, не отдавая, видимо, себе отчета зачем. Я изловил паникера за портупею, остановил его и, тихо шепча в ухо, предупредил, что таким начальникам надлежит бороться с паникой, иначе я пристрелю его на месте. Самым странным было, что военный вдруг замолчал, сунул свой пистолет в кобуру, молча подал мне потную руку и с нормальнейшим видом повернул в другую сторону, где и начал останавливать бегущих... Но я уже догонял почтальоншу с зеленым носиком, и она как раз вовремя поспела к полуторке полевой почты. Оставалось только погрузить целую тушу мяса с четырьмя торчащими культиями. Этим распорядился парнишка в розовой майке, изрыгая отборную матерщину. Его обнаженные руки, так же как обозримые кожные покровы ниже подбородка и затылка, были сплошь зататуированы рисунками вольного характера.

— А ну, бабы! Прймай кабана, через фонарь в трубу его мать! Работать треба, свистухи беспортошные... — орал распорядитель на девочек в гимнастерках, похожих друг на дружку и на мою знакомую, как родные сестры.

Со мной иногда случается — впрочем, очень редко, — что я чувствую в себе мощный прилив командирского самосознания. Я нюхом журналиста учуял нарастание тревоги и паники и потому вмешался в погрузку и отправку полуторки.

— Садитесь скорей! — скомандовал я своей спутнице и одним махом подсадил ее на борт грузовика, где «сестренки» встретили ее радостным кудахтанием. А я, выпятив грудь и живот, открыл дверцу кабины, привел в сидячее положение прикорнувшего водителя и начальственно приказал, чтобы тот отправлялся немедленно.

— А кудой? — спросил сонный шофер...

В самом деле — куда?.. Я высунулся через боковое окошко и крикнул девчатам:

— Где ваша армейская почта?

— Аж в Умани, — отвечали они...

— Все готовы?

Хор ответил, что — все.

— В Умань, — коротко бросил я.

Шофер двинулся, стараясь втереться в середину потока машин, от кювета до кювета заполнивших плотно шоссе и оглашавших его кряхтением всех передач, лязгом металла о металл и скрипом дерева о дерево — бортом в борт. Поток транспорта, переполненного людьми, мясными тушами, тарой из-под горючего, осаждаемого бегущими рядом солдатами и взывающими к шоферам беженцами. Я запомнил раскосого юношу: он ухитрился нести над собой дамский велосипед с передачей в радужной сетке...

Дорога шла в гору. Скорость не превышала первой, и скрежет стоял такой, что ничего нельзя было разобрать. Тем не менее мне показалось, что в кузове сотрудницы полевой почты пели. Это могло быть обманом слуха — с чего бы им петь?

Подъем продолжался, и ввиду того, что я терпеть не могу толкотни и тесноты, я открыл дверцу на ходу и акробатически перебрался в кузов. Оказалось, что девушки действительно пели что-то из кинофильма. Они потеснились, чтоб комиссар с его странной прической мог стоя обозреть обстановку, в которой совершалось движение.

Сверху окрестность представлялась в несколько слов. Нижний, ближайший к полуторке, состоял из одной пыли. Дальше, повыше, следовал обозримый ландшафт: шоссе в виде сегмента, за хвостом пыли — его продолжение, уходящее по кругу за горизонт. Впереди же моего качающегося наблюдательного пункта шоссе упиралось в гребень, за которым виднелись верхушки темного леса. С высоты панорама местечка выглядела живописно: са-

дочки с мальвами и подсолнухами, беленькие мазанки, в одном месте — сельский стадион с вытоптанными штрафными площадками, а невдалеке — площадь и, наконец, уже знакомый, серый от пыли, тополевый горсад.

Тут, в кузове, и слышать было легче. Сквозь рулады почтовой самодеятельности я услышал новый звук и повернул голову, чтобы найти его источник. Над самым хвостом колонны вдруг закружились фонтаны белой пыли и донеслись какие-то хлопки вроде гулкового выколачивания тяжелого ковра. Я протер очки и увидел далеко-далеко крошечные силуэтики, достаточно четко вырисовывавшиеся на горизонте. «Танки», — понял я. И перегнулся к окну кабины.

— Фрицы! — крикнул я водителю. — Обходи всех, если жить охота!

И водитель совершил чудо, доказав, что шофер — не придаток к баранке, а настоящий джигит! Он и гикнул, как джигит, мгновенно прибавил газ и повернул до отказа свой штурвал. Полуторка, кренясь и образуя недопустимый угол, нырнула в кювет и по его дну молниеносно достигла перевала, потом, жужжа, взобралась на дорогу и — вот уже лесок скачет вверх и вниз в смотровом стекле, заливаемом кипятком из открытого отверстия радиатора! Вот и въезд в лес. Я стучу по кабине, и водитель, грязное лицо которого горит вдохновением, лихо тормозит. Жму ручки спутницам, поздравляю шофера с подвигом высшего пилотажа и соскакиваю, махнув рукой: дескать, давай прямо...

А сам, чувствуя электричество в перенапряженных икрах, бегу в сторону шоссе к нашему танку, стоявшему под маскировочной вуалью. Маленький лейтенант в шлеме рапортует неизвестному начальнику с невиданной куафюрой, что «взвод находится на исходной позиции» и так далее. Я сильным голосом сообщаю, что в нескольких километрах — движение немецких танков. Мне надо поспеть в Умань, и потому я ухожу в лес. Я иду по лесной приятной тенистой дороге и не сразу замечаю, что лес переполнен грузовиками. Машины, чуть проехав в лес, словно во что-то упираются и разъезжаются между деревьев.

Я напялил свою пилотку, которая оказалась в планшете, и стал теперь не страшен, хотя на лице корка пыли. Теперь не мешает сесть, разуться и закурить, что я и делаю, прикрыв ладонями огонек от ветра. Вдруг меня

окликают по имени-отчеству: буквально в трех шагах стоит редакционная полуторка с поднятым капотом. Водитель Зарецкий с тряпкой в руке подходит ко мне, здоровается и просит закурить. В машине слышен недовольный басок: это майор, корреспондент «Последних известий», брюзжит, что зря торчим, что напрасно он связался с редакционной машиной, которая все время барахлит. Обычное для этого майора брюзжание. С сапогами в руке я подошел к машине и поздоровался с майором. Мы знакомы еще с финской войны, и еще тогда я решил поменьше общаться с брюзгой, корчившим из себя героя и стратега.

По другую сторону машины обнаруживается летчик — компанейский парняга, собственный корреспондент по ВВС. Он лежит на пузе, тоже босой, и жует какую-то травинку. Я располагаюсь рядом: «Ну, как там, в оранжерее?» — спрашиваю и говорю, что надо бы подскочить в Умань, где должен быть Поляков с машиной. Услышав это, брюзга майор живо реагирует:

— Легковушка у Полякова? Хорошо, давайте ехать, я там пересяду в поляковскую, надоел этот драндулет... И пошел брюзжать.

Зарецкий прихлопнул капот машины, вытер руки, попросил еще закурить и сказал, что карета, мол, подана. Мы обулись и забрались в кузов. Хорошо все-таки оказаться в родимой машине. Вроде как дома!

Майор развернул на коленях штабную карту, исчерченную разноцветными карандашами, и, подпрыгивая на кочках и корнях, полуторка поехала и затормозила на опушке. Майор перестал торопить водителя, открыл дверку, встал на подножке, говоря:

— Почему никто не едет дальше? Надо бы расспросить других водителей — как там впереди. Еще верней — подождем: вдруг да кто-нибудь придет со стороны Умани...

— Ехать в Умань! — требовали мы с летчиком.

И водитель, не слушая майора, придавил акселератор. Машина тронулась. Остальные водители, хотя и завели моторы, но, видно, решили подождать.

Шоссе опять шло на довольно крутой подъем, снова видимость была только до гребня. За гребнем синело небо, и больше ничего. Слева — кювет, за ним кукурузное поле. Справа — тоже кювет.

Подобно солисту, делающему знак аккомпаниатору, я

протянул руку так, чтобы водитель видел ее, и щелкнул пальцами: «Начали!» Зарецкий мотнул кудлатой головой и дал газу по сильнее. Грузовик рванулся вперед, и в тот же миг с опушки вслед машине вырвался велосипедист. Он бешено сучил ногами, почти положив голову на руль. Он догнал полуторку, поравнялся с кабиной, обменялся с Зарецким какими-то знаками.

Не успели мы в кузове понять, что происходит, велосипед (тот самый дамский) перевалил через борт, и показалась раскосая физиономия. А вот и весь спортсмен: худой и смуглый, на удивление легкий. Он тут же вскочил на ноги и занял место у кабины, опершись об нее темными руками. Велосипед дребезжал, пока не улегся окончательно и удобно. А его владелец молча отбивал восточный ритм по крыше кабины. Зарецкий, тоже найдя нужный ритм, еще прибавил ходу, будто ехал не в гору, а, наоборот, с горы.

До верхней точки этого отрезка шоссе оставалось не более полсотни метров, когда полуторку догнал отчаянно газовавший мотоциклист. И вот он уже впереди! Меньше секунды он дымил перед машиной. Все пассажиры теперь стояли, держась друг за друга. Внезапно дорога опустела, куда-то делся мотоциклист, и буквально под машиной, на самом гребне, возник передок танка. Через заднее окно кабины шофера я увидел белое мокрое лицо майора с разинутым ртом и совершенно круглыми глазами.

На высшей скорости Зарецкий резко крутанул баранку влево, полуторка перескочила — да-да, перескочила! — кювет. Подкинуло пассажиров, с меня сдуло пилотку, машина запетляла по кукурузе обратно в сторону опушки леса. Гляжу на шоссе и вижу — танк положил пять снарядов туда, где полминуты тому назад находилась наша машина. Поймал себя на том, что громко считаю: «Три, четыре, пять». Машина ворвалась в лес и заглохла... Я слышал, что все считали громко: «Раз, два, три...»

Вся шоферня заливалась идиотским смехом, показывая на полуторку черными от солидола пальцами. Я взглянул на дорогу. Никаких признаков танка, кроме нескольких пятен на белом шоссе. Куда он делся, так и не выяснилось.

Майор, вообще-то неразговорчивый, совсем онемел, будто выдохся. Я всласть нагляделся на шоссе.

Солнце между тем перешло зенит. Дорога блестела пустынно и грозно. Сходились на конус у гребня два кювета. Я спросил у безмолвного летчика:

— О чем думаете?

Летчик посмотрел на меня и сказал, что не понимает, куда делся мотоциклист, почти выигравший состязание с нашей машиной. И чей он был? Комбинезон на нем темно-синий.

Я тоже старался вспомнить, но не вспомнил цвет обмундирования мотоциклиста.

Майор опять раздраженно забубнил какую-то чушь. Он так надоел, что я просто взбесился.

— Что с вами? — вдруг перепугался майор, увидев, как потемнело мое лицо и как сжались кулаки.

Он отпрыгнул назад, поднял плечи и, опасливо оглядываясь, с трудом перевалил задницу в кузов. Я пересел к Зарецкому. Он аккуратно развернулся и въехал в лес. Подскакивая на корнях и от этого отрывисто, с еканьем, он сказал:

— Водители советуют... есть поворот... выезд на Одесскую дорогу... Где-нибудь заночуем. — Лесная дорога кончилась. — Как думаете? А утречком по холодку, а, товарищ комиссар?

Действительно, вскоре выбрались на хорошую шоссе-ку. В стороне Малоархангельского дрожало и колебалось дымное облако. Еще дальше долбили чьи-то тяжелые орудия. А здесь, наверно, уже заливались сверчки, только их не было слышно. И качались привидения тумана в ложбинах. Но солнце только-только начало закатываться, и пыль еще висела над дорогой, хотя встречных машин не попадалось.

Привалившись к плечу Зарецкого полуостриженной головой, я то дремал, и меня одолевали абсолютно невоенные грезы, то вдруг приходил в сознание, вертел головой, стараясь понять, как я оказался в этой кабине, где на смотровом стекле красовалась вырезанная из журнала дама в лифчике с удивительно сдобными плечами и дурацкой усмешкой на идеально круглой рожнице. Но карабин, прикрученный над стеклом — оружие редакционных водителей, — вновь вызывал малую, правда, степень тревоги и мысли о Полякове, о предстоящем возвращении в оранжею. Опять — забытье. Снова — пробуждение...

Окончательно проснувшись, увидел, что машина катит по широкой улице мимо домиков, а на багровом гори-

зонте вырисовываются вышка с артезианским флюгером, пониже зеленые огни и туловище пыхтящего паровоза — значит, тут станция. Я сказал Зарецкому:

— Остановка.— Открыл дверцу, сошел на мягкую обочину и болезненно потянулся.

Зарецкий тоже вышел, приблизился и прошептал:

— Ночлег, да?

Полуторка стояла неподвижно. Иногда только что-то булькало или раздавался металлический щелчок — остывала какая-нибудь деталь. И кругом все дышало безмятежностью, как в довоенных сумерках Подмосковья. Пахло дымком и хлебом. Загорались керосиновые лампы в домиках. Слышалось овечье бляенье. Наконец две женщины с вилами на плечах вышли из калитки, скрипнувшей так славно, что я про себя улыбнулся, а Зарецкий опять прошептал:

— Может, сюда свернем, а, товарищ комиссар?

Я негромко сказал женщинам:

— Добрый вечер.

А они очень громкими, певучими голосами ответили, что вечер добрый. От них я узнал, что это местечко — Новоукраинка и что тут стоит воинская часть — «гарные хлопцы».

И вдруг совсем рядом, из какого-то проулка, протопало множество ног, раздался нарочито резкий голос:

— **Левой!**

И опять:

— **Левой!**

А потом тот же голос:

— Савченко, запевай!

И чуть не рота протопала мимо, оглушив нас залихватским куплетом:

— «Если ранят тебя больно — отделенному скажи, а из строя самовольно никогда не выходи».

От проходящих хлопцев хорошо пахло веником и мылом, и у каждого под мышкой белел сверток. Их командир шагал не в ногу позади, но изредка подсчитывал: «Левой! Левой!..»

— Что стоишь? — вдруг закричали из кузова.— Опять барахлит?..

Зарецкий даже вздрогнул и, забыв субординацию, толкнул меня локтем.

Я вдруг ощутил жжение во всем измученном теле и решительно заявил:

— Здесь ночуем. Вылезайте!..

Рота уже ушла, прошагал и ее командир, размахивая веником. И, как бы отвечая мне, чей-то радостный тенорок, уже с тротуара, верней, от калитки, из которой вышли женщины, крикнул:

— Ой, Илья Львович! Это вы?

Ко мне подбежал низенький толстяк в гимнастерке, перепоюсанной чуть ли не под мышками:

— Политрук Воскобойник, не узнаете?

— Какой Воскобойник?

— Милый мой Илья Львович! Где же вы были в День печати?.. Не помните?

Зарецкий с интересом слушал наш диалог, женщины — также. Воскобойник нежно взял меня за руку и раздельно сказал:

— Вы, дорогой, были во Дворце культуры завода «Богатырь». Вспоминаете? А я был директором этого Дворца, между прочим, и вас приглашал к нам.

— Но как вы меня узнали здесь?

— По голосу! Дорогой Илья Львович, по голосу. У связиста должен быть слух! Я теперь связист, что скажете? Политрук роты связи Южного фронта Воскобойник. А это ваша машина?

— И ее водитель, сержант Зарецкий. Познакомьтесь, товарищ Зарецкий.

Водитель обтер руку о штаны и подал политруку.

— Ой, где только нет этих москвичей! Так вот что, друзья мои. Давайте сядем в ваш автомобиль и подведем до нашего штаба. Скажите, чем могу быть полезен? Может, хотите сначала в баньку или сразу ужинать?

— В баню, — страстным голосом сказал я.

Политрук крикнул Зарецкому, чтобы разворачивался в проулок...

Наша родная проза, не говоря уже о кинематографе, достаточно ярко отобразила одно из самых любимых удовольствий. Мытье и паренье, после которых следует питье, особенно впечатляет. Пропыленные и пропотевшие фронтовики чувствовали, как отворяются все поры под мочалкой из чистой рогожи в руках старичка банщика в провинциальной жаркой парилке при железнодорожной станции. Отмыли и шофера, который приобрел помидорный колер.

Воскобойник, дав ценные указания банщику, ушел приготовить ужин, прислал свежего белья, которое при-

нес лихой связист с медалью «За отвагу» прямо в предбанник. Мы отдыхали, неожиданно попав в рай.

— Ну, папаня...— говорил Зарецкий,— ну, отец. Уважил, почище Сандунов.

Летчик уснул, как дитя, тут же в предбаннике, и уж на что брюзглив был, похожий на бабу, майор, а перестал бубнить, занялся стрижкой ногтей.

Сменили белье. Жизнь казалась блистательной. Зверски хотелось не то есть, но то спать, а скорее всего — и того и другого. Поэтому курящие — Зарецкий и я — взяли из старикова кисета по щепоти новоукраинского самосада, свернули из обрывка газеты «Во славу Родины» две первоклассные козьи ноги, закурили и вышли, шатаясь от счастья, на улицу в звездную ночь.

И все было б чудесно, если бы не мысли о Володе, покинутом, как я считал, там, на неизвестных просторах Умани, хотя с ним был опытный Супенко, человек спокойный, краса и гордость шоферов.

Пока что поехали в местную столовку, где съели по гигантскому шницелю и запили отличным ягодным напитком с запахом самогона. Политрук Воскобойник сидел за столом напротив меня и вспоминал разные подробности вечера 5 мая: и как читал стихи, заывая, Безыменский; и сколько книжек было продано; и какие резиновые изделия вырабатывает «Красный богатырь», — в общем, всякую всячину. Я, к собственному удивлению, слушал эти неинтересные для меня вещи с большим вниманием, думая о Москве, об отце и меньше всего о себе...

В те времена Арбат считался одной из фешенебельных улиц. К нему примыкают переулки, где стояли особняки старого московского дворянства. Мы живем в трехкорпусном восьмизэтажном доходном доме с тремя дворами. Третий двор, так называемый «задний», — вовсе не двор, а типичный московский пустырь.

Сюда собрал свое семейство химик-бактериолог, бывший ссыльный, якобы прекративший борьбу против самодержавия. Номер нашей квартиры в третьем корпусе был 115. Я гордился тем, что наш дом по величине чуть ли не второй по всей Москве.

Ученик гениального Мечникова, талантливый ученый, вынужден был поступить на службу в какую-то артель по производству гуталина — сапожной мази!

Маме пришлось наняться в типографию ночным кор-

ректором: она за жалкие гроши портила свои красивые черные глаза в полутемной конторке и вдыхала пропитанный свинцом воздух. При всем этом она ухитрялась создавать в семье добрые отношения, ладить с двумя шkodливыми и хилыми сыновьями и привередливой матерью.

Оплачивать квартиру, учить двоих сыновей — дело нелегкое. Заработать на жизнь непросто: глава семьи у властей на подозрении.

В те дни я почти не думал о маме, враждовал с очень глупой и вздорной бабушкой, а любил только отца, рисование, книги и почему-то игру в солдаты.

Отец, ниже среднего роста, на полголовы меньше мамы, малоразговорчив и очень спокоен. Мама, красивая, стройная, веселая и общительная, привлекала к себе всех окружающих. Она любила и умела правиться без всякого кокетства. В нее влюблялись. Поклонники думали, что она не пара невзрачному и молчаливому очкарику. Но, познакомившись с ним, убеждались, что Софья Ильична предана мужу и что они счастливы в браке.

Все, о чем я тогда слышал, о чем читал, — были ли это плоды гениального воображения или исторически далекие от меня события, — я воспринимал как доподлинную правду. Определенно существовал одноглазый Полифем, только мне с ним пока не удалось встретиться! Марсиане, конечно, пытались завоевать Англию. Маугли запросто воспитывался волками, что удостоверено Киплингом, очевидцем и счастливцем. Никаких сомнений у меня не было. В таком духе я и высказывался по поводу услышанного и прочитанного. Не знаю, хорошо или нет, что мои правдолюбые родители никогда не разубеждали меня, но фантазирование от вранья они отличали безошибочно.

Я верил книгам. И в самых фантастических видел обещание, но не практические инструкции, не «пользу».

Падение строя сравнимо с обвалом или лавиной. Они, разумеется, зреют исподволь, накапливают силы, наливаются тяжестью. Падения ожидают, и оно желанно. И кажется неожиданным.

Для меня и мне подобных крах целого ряда понятий и представлений оказался благодетельным. Отмена форменной одежды. Равенство между подчиненными и начальниками. Свобода и Равенство были мною приняты с благодарностью, как долгожданные. Что касается Братства — я не знал, что это такое. Хотел спросить у родите-

лей, но их невозможно было застать дома. Мне казалось тогда, что «брат» — чисто родственное понятие. Истинного «фратерните» я не охватывал, несмотря на вдруг открывшиеся возможности широчайшего общения со всем человечеством. Не мог потому хотя бы, что этим человечеством являлась всего-навсего далеко не милая мне Москва. Город, который «слезам не верит».

В эти дни я окончательно (так мне казалось) освободился от детской романтики военного патриотизма: она хитро насаждалась и внедрялась всей атмосферой довоенного времени. Не так давно я восхищался «подвигами» доблестных героев русско-германского фронта. А ведь правительство Керенского продолжало играть на любви к отечеству и враждебности к немцам. Лозунги в этом духе составляли словарь ораторов на многих стихийных и организованных собраниях и митингах. Я еще не слышал большевистских выступлений, а то, что было мне известно, я знал из разговоров отца и матери, когда они крайне редко являлись домой. От них я впервые услышал имя — Ленин; вот-вот он появится в Москве и все разъяснит и всему придаст должный характер...

Я решил: «Буду за папу и за Ленина!» В реальном училище Никитина и в нашем классе кто-то начал составлять списки «кто за кого». Я громогласно заявил, что я — большевик. Большинство заявило себя в качестве эсеров, а кое-кто даже кадетами!

— Ага,— вопили реалисты,— ты большевик! Значит, изменник...

Чему я изменил, мне не сказали.

Однако и у нас, в этой противной школе, весна семнадцатого года основательно растопила лед юдофобства. Наш физик, лысоватый господинчик, возненавидел меня. Однажды он на уроке сказал:

— А неправославные (один я) пусть выйдут в коридор и молятся там по-жидовски.

Я с кулаками кинулся на этого типа, но ребята заорали, окружили меня и все вышли вместе со мной за дверь, несмотря на то что я отбивался руками и ногами...

А жаловаться мне и в голову не пришло: да и кому? куда?

Осень и зиму перед Февральской революцией у нас на Арбате жили сестра отца тетя Серафима с детьми: Сережей и Фаней. Сергей и я подружались. Дело в том,

что мы оба любили рисовать. Я любил карикатуру, а Сережа натуру. Сережка был рослым, сильным, спокойным юношей и отличался похвальной усидчивостью и трудолюбием, чем я похвастать не мог. Я был тощ, малоросл, нервен и нетерпелив, иногда и пассивен. Однако любимым влияниям поддавался туго.

Мой двоюродный брат избегал ссор. Может, поэтому мы любили бывать вместе, хотя Сережа был на пять лет старше. В коммерческом училище он не нашел подходящих товарищей. «Примитивный и хулиганистый народец наши «коммерсанты», — говорил Сергей. Зачем тетка отдала его в такое скверное заведение? Их семья была совсем не обеспечена, так как отец, скромный русский офицер без связей и протекции, давно умер и тоже был небогат. Они нуждались, а Сережа еще не был кормильцем, хотя и старался что-нибудь придумать. Он раздобыл аппарат для выжигания по дереву. В зимние вечера мы все сидели за столом над белыми деревянными пеналами, копилками и шкатулками. Выжигание — кропотливое занятие, но даже я с моим нетерпением помогал Сереже. От продажи нехитрых изделий было мало толку — гроши. Добавили к выжиганию «металлопластику»: выдавливали на тонких листах латуни орнамент и фигурки и приколачивали микрогвоздичками к деревянным полуфабрикатам. Но и на эти безделушки спрос был ничтожный...

...Годом раньше мы с Сергеем нашли на Арбате художественную студию. Там преподавал рисование с натуры художник-график Добров. Я восхищался сноровкой Сережки: ему хорошо удавались портреты углем и карандашом. А мне не хватало усердия. Любопытство скоро насытилось наблюдениями за студийцами и натурщиками. Сергей очень удивился, почему мне неинтересно: как видно, он был более одарен, умел влезать в работу и делать ее до тех пор, пока не получится.

Девчонками мы не интересовались (хотя Сережа однажды рассказал, что его в 13 лет «просватала» одна взрослая женщина). Его сестра Фаня была некрасивой, толстоватой девочкой, чуралась нашей компании, считала всех мальчишек противными и падкими на «глупости». Она была примерна и бесцветна. А между тем недалеко от Арбата жила некая Люда Хмельницкая (запомнил же фамилию и имя!). Кажется, у нее были большие глаза, коса за плечами, пышная, темная и длинная. Люда меня притягивала. Я не только выпендривался в ее присутст-

вии, но даже стал обращать внимание на свое платье: как-то особенно заламывал кепочку, либо расстегивал куртку на груди. Встречались мы очень редко и ни разу не поговорили. Но приметливые дворовые ребята поддразнивали: «Людочка — блюдечко...» Я сердито краснел и убегал. Ни Сережу, ни кого бы то ни было я в это увлечение не посвятил — стыдился. И влюбленность испарилась, оставив волнующий и почему-то темный след в памяти...

Около самого нового, 1917 года — чуть раньше или чуть позже — приехал из Питера друг нашей семьи с давних сибирских времен. Дети звали его дядей Васей, и он, наивеселейший из всех известных мне взрослых, умел общаться с любым человеком. Познакомился с ним мой отец еще на каторге. С тех пор дядя Вася несколько раз убегал из тюрем и пересылок. Он добирался до Екатеринбурга и первым делом заявлялся к нам. Тут он брился, мылся, отъедался, переодевался, получал изготовленный в отцовской лаборатории паспорт — как многие беглецы из сибирских глубин — и под ручку с моей мамой, изображая «жениха» и «невесту», они уходили на вокзал и там на прощанье целовались. С последним ударом станционного колокола жених цеплялся за поручень вагона и оттуда махал шляпой стоящей на перроне безутешной «невесте».

Проходило два-три года, и опять в один прекрасный день раздавался в прихожей условный звонок, и мы встречали обросшего мужика в армяке или зипуне. Он входил и шепотом спрашивал у мамы: «Сонюша, как насчет юбки и подушки».

Через малое время из спальни выплывала громадная баба в платке, старушечьим голоском выдавала «барыне» деревенские новости и в то же время успевала сплавать на кухню, где горят «каклеты». Папа приносил из лаборатории колбочку и парочку мензурок с делениями. Усаживались за стол, и папа еще не раз уходил с пустой колбочкой и возвращался с полной, а дядя Вася то становился слепцом с паперти, то старым киргизом, то подгулявшим купчиком. Любимой частушкой дяди Васи — и моей! — была такая: «Сяли девки на лужок, где муравка да цветок». А на следующий день повторялись проводы «новобрачных», и новый перерыв на два или три года...

Последний перерыв длился не меньше пяти лет. Мы

уже стали москвичами. У папы давно не было «химико-бактериологического кабинета» с колбами и мензурками. Даже последнюю четвертную бутылку с примусным денатуратом опустошили полотеры. И вот условный звонок. Дядя Вася — постаревший, с выбритым актерским лицом, в стolicном пальто и в шляпе.

Он — собственный корреспондент крупнейшей газеты. Весь вечер дядя Вася изображает царских министров. Он брал у них интервью для газеты. И они перед корреспондентом не стеснялись: глупость этих сановников смешила и пугала. Мама стонала — уже не могла хохотать. А мой отец вдруг сказал:

— Вася! Мы же знали, в чьих руках Россия. Зачем ты подался к этим кадетам, которых ненавидишь?..

У них начался спор. А я убежал в нашу комнату, где мой братишка, умаянный дневным шляньем, посапывал, повернувшись к стене. Я вырвал из общей тетради несколько листков. Мне захотелось подарить моему любимому дяде Васе стихи, в которых я все ему выскажу — и об уральских встречах, и даже о водке-пейсаховке, и о Петрограде, где я никогда не был. Наверно, я долго трудился, потому что не помнил, как очутился в кровати. А наутро мне не терпелось показать свое ночное сочинение. Я вошел в холодную столовую и приблизился к дяде Васе, сидевшему с вилкой в руке.

— С добрым утром! — говорю. — Вместо стопочки, вот что. Погоди, потом съешь...

Это была первая моя декламация первого собственного произведения.

— «Встреча», — громко объявил я название.

Мама всплеснула руками, но ничего не сказала. Дядя Вася изобразил огромное внимание.

Ну, жена, давай селедку
Да налей скорее водку.
Я из каторги сбежал,
Ночь в сугробе пролежал.
Меня стражник прозевал,
Прямо в спину мне стрелял
— И ни разу не попал.
Полицейские ловили —
Заблудились, растерялись
И в тайге волкам достались.
Я из каторги сбежал,

Весь от холода дрожал.
Дай же водку мне, жена,—
Я замерз, как сатана!

— Ну? — спросил я.

Мама захлопала в ладоши, а дядя Вася, с холодной сосиской на вилке, поднялся во весь рост и притянул меня за плечо. Он долго глядел на меня покрасневшими глазами, откашлялся, отпустил мое плечо и ничего не сказал, только махнул рукой.

— Ты это сам? Сам сочинил? — сказала мама.

Я кивнул:

— Угу. Есть еще.

Не ожидая других реакций, я выставил ногу вперед и произнес:

— Называется «В Петроградской думе».

— Вот это да! — восторженно крикнул дядя Вася.—
Давай...

— «В Петроградской думе», — повторил я и без паузы продекламировал:

Вхожу я в зал. Все те же на стенах портреты.
И сплошь министры и кадеты.
Одеты в золото они,
А рожки, вроде у свињи.
У Протопопова здесь просит Штюрмер слово,
А Боборыкин воеет, как корова.
И этот мерзостный синклит
На стенах мраморных висит...

Мне не дали огласить концовку: кинулись обнимать и целовать. Дядя Вася надел очки и внимательно прочитал оба стихотворения.

— Ну, Соня и Лева, — сказал он торжественно, — ну, Лева и Соня! Ваш сын, наверно, станет... Ну, вроде Шиллера или Полонского. Спасибо, друг мой, это, — он показал мне мои листки, — я кладу, видишь куда, — и он вынул старый бумажник и тщательно уложил мои стихи, а затем спрятал бумажник в боковой карман и похлопал себя по этому месту... — Ну, мне пора! — обратился дядя Вася к маме.

Он погладил ее по головке очень нежно. А она, глядя в бритое лицо, тихо говорила:

— Как же ты постарел, милый.

Я этого не находил: дядя Вася всегда преображался в разных людей — просто сегодня он другой...

В такой обстановке, со всеми моими увлечениями, с дружбой, с рисованием, встретил я свою тринадцатую весну.

Вдруг я словно очнулся в другом измерении: события потекли стремглав, закручивая немислимые воронки. Я буквально опьянел от краха нашего реального училища на фоне крушения империи. Мои фантазии начали сбываться. Не знаю, что чувствуют головастики, когда у них отрастают лапки, — возможно, что эта стадия приобщает их к высшему типу, и они осознают свое превращение необыкновенно бурно и ярко. Я, увы, не натуралист. И не такой уж головастик. Но знаю одно: я не растерялся, хотя паводок накрыл меня с головой. Вдруг стало так свободно, до того ощутилась в моем тощем теле новая сила, что я ринулся на самый стрежень течения и стал участником событий так же, как и мои родители.

Лето 17-го года с митингами, собраниями, с кипятком страстей, бурлившим во всех слоях общества, — вот отныне сфера нашей жизни!

Детские игры перестали меня занимать, плянье с мальчиками, столь любезное моему братишке, — тоже надоело.

Я чувствовал, что без реального дела сейчас, сегодня, мне жизнь не мила.

Читать не хотел, рисовать — и в голову не приходило...

Я занялся организацией подростков нашего дома. Возник кратковременный «Детский союз» — нечто вроде огородной бригады; мы решили возделывать и засеять наш задний двор полезными культурами, например репой, которую дети очень любили. Жильцы нас сначала одобрили: «Молодцы! Меньше будет хулиганства». Кто-то достал нам очень хорошие стальные лопаты, а я, опытный деревообделочник, приладил к ним черенки. Мы начали копать землю, сдирали кожу с ладоней. Был и кровавый случай: один маленький мальчик, толстяк Яшка Б., всадил острие лопаты — тяжелой для такого малыша — себе в босую ногу. «Разумши спорей», — посоветовала одна женщина. Яшку высекли и не велели водиться с «босьяками». Работа увлекла всех и вызвала любопытство других ребят из приарбатских переулков.

Девочки тоже втянулись в «Детский союз» и охотно бегали с тачками и носилками, отвозя выкопанные кирпичи и камни в угол двора. Аккуратистки, они приходили всегда раньше «мужчин». И однажды на них накинута неизвестные нам мальчишки. Девочки не пожелали отдать лопаты. Их припугнули, дали по шее, и одна предала: рассказала пришельцам, где хранятся лопаты. Мы бросились защищать свое добро, и, естественно, произошла драка, причем в рукопашной применялись и лопаты. Дикий рев, кровь и вмешательство взрослых... «Союз», по требованию буржуев из домкома, был разогнан, а лопаты отданы дворникам. Готовые грядки заросли дикой травой...

Детство прошло. Я попросил папу: «Устрой меня на работу!»

И папа устроил: за 5 рублей в месяц надо было приходиться в квартиру одного из жильцов, надписывать какие-то конверты. Мой работодатель рассылал проспекты в разные города. Это были списки социал-демократической литературы, печатавшейся в те дни, — преимущественно брошюрки в 4—8 страничек. Помню тоненькую листовку Вильгельма Либкнехта «Пауки и мухи», басни Демьяна Бедного и всяческие программы партий, действовавших сразу после Февральской революции: от анархистов до милюковцев-кадетов.

Мой наниматель был, кажется, меньшевиком. Он взял меня, потому что я писал разборчиво и без грубых ошибок. В общей сложности я заработал около восьми рублей. Кончились конверты и проспекты, а может быть, и деньги у моего босса.

— Можешь не приходиться, — сказал он однажды.

Лето прошло, а я не рвался в реальное училище. Первый опыт организационной деятельности не давал мне покоя. Я мечтал не о роли вождя, а о любом поручении взрослых революционеров, обязательно связанном с ответственностью, срочностью и опасностью. Я жаждал доверия.

Однажды отец взял меня с собой в комитет партии большевиков нашего района. Там собралось несколько моих сверстников. Незнакомые мне парнишки не были здесь новичками, и один взял меня под свое руководство:

— Вот тебе.

Он поделился целой кипой листовок. На них стояла одна цифра «5».

— Будешь бегать и кричать во всю глотку: «Голосуйте за список № 5! Голосуйте за большевиков!»

Как же я бегал! Как орал! На нашем буржуйском Арбате в этот день я схлопотал несколько подзатыльников. Но, во-первых, не больно, а во-вторых, толчки и синяки, полученные во время агитации, воспринимались как боевые раны, — пусть не расстрел контрреволюционерами, но все-таки... В списке кандидатов под № 5 была фамилия моего отца, чем я гордился.

Родители — это случилось в июле — вместе с другими участниками большевистской демонстрации в центре города попали под пулеметный огонь с крыши одного из зданий Охотного ряда. В них стреляли. Им пришлось падать на мостовую, но демонстрация все же состоялась. Я остро завидовал старшим и впервые выругал себя за то, что не таскаюсь всюду с родителями. А с другой стороны — не маменькин же сынок, — проситься, чтобы взяли...

В первых числах сентября повысилась нервозность: что-то определенно назревало. Когда я пришел в класс, соученики встретили меня загадочными усмешками. Но я пренебрег: чего ждать от махровых контрреволюционеров?

Педагоги смотрели на меня с откровенной враждебностью. Я сделал вывод: бояться большевиков. Разве я был не прав?

В течение сентября в нашем училище не столько учились, сколько политиканствовали, митинговали, расслаивались по симпатиям и вкусам. Но учителя и ученики единогласно устроили разоблачение и разгром «большевика», то есть меня.

С великой пышностью постановлением общего собрания реалистов и педагогов меня изгнали из учебного заведения. Я гордо выходил из актового зала. Мне показалось, что стены прогнившей старой школы с грохотом и пылью рухнули за моей спиной, а это доносились из покинутого зала негодующие вопли моих бывших товарищей...

РУН помещалось на Плющихе. Окраинная улица, по соседству Уваровский трамвайный парк, текстильные фабрики Губнера, Гевардовского и «Бутиковка» в районе Пречистенских ворот. Недалеко от Девичьего поля дымил завод «Каучук», где работало много латышей; о них говорили, что латыши — опора революции. А рядом со

Смоленским рынком находилось юнкерское училище. Еще более сильным пунктом контрреволюции являлось Александровское училище на Знаменке. Как два кремня соприкасались рабочие и юнкера: стоит им удариться друг о дружку — может произойти вспышка. И солдат в районе было много: военные госпитали, Хамовнические казармы, — настроение там было определенное: не в пользу тех, кто был «за войну до победного конца».

Я всегда завидовал людям, видящим сны, — я почти не видел снов, а если и видел, то не запоминал их содержание. В молодости вообще спал очень мало, не мучился от бессонницы и находил даже что-то приятное в ночном бодрствовании. На фронте же появились сновидения, и они возвращали мне нормальный, совершенно штатский мир.

«Солдатский сон не подчинен приказам». А наяву сегодняшняя встреча, понятно, вернула нас обоих — Воскобойника и меня — к таким вещам, событиям и лицам, которые уже перешли в подсознание.

Наша беседа с Воскобойником, по сути дела, была не беседа, а обмен грезами. Идеальная беседа между политкомиссаром и политруком должна быть политбеседой по текущему моменту или о международном и внутреннем положении. А мы — о чем? Мало того что о Москве! Да о какой Москве?! О Москве до 22 июня сего года!

Оба мы находились на действительной службе в действующей армии, но, несмотря на «действительность» и «действенность», все, что происходило с нами сейчас, было как-то малореально. Мы были призваны выполнить простую и жуткую в своей простоте задачу — кто кого.

Воскобойник, самой природой предназначенный для организации и проведения мероприятий в клубе, очень любивший устраивать интересные вечера, привыкший волноваться по поводу неявки докладчиков, баянистов или поэтов, оказался в Новоукраинке из-за войны, развязанной германским фашизмом. Встреча с писателем, у которого половина головы обрита как у каторжника, была фантастической — хотя опять-таки мало ли зачем понадобилось поэту брить полголовы? В конце концов, поэт есть поэт...

Даже смотреть, как быстро исчезает бифштекс без участия ножа, было ему очень приятно:

— Кушайте, Илья Львович, пожалуйста, и не обращайтесь внимания на меня с моими клубными воспоминаниями.

А уж как хорошо Илье Львовичу! Но стыдно, потому что тут нет Полякова. До Умани не добрались. И вообще... По мере насыщения по всем жилочкам разливается нечто снотворное, и грезы политрука плюс мои мечты о довоенном рае перемешиваются с трезвым и крайне тревожным чувством ответственности... Табуретка подо мной — уже не табуретка, а тряское сидение, слышится визг шестерен, в целлулоидном рваном окошке кабины видны всякие елки-палки — лес густой. Черным дымом горит самолет, и девочка прижимается к моей щеке зеленым носиком! К моей небритой щеке!..

Политрук роты связи Воскобойник, бывший директор Дворца культуры, нежно смотрит на спящего гостя, прикорнувшего в неудобнейшей позе. В дверь заглядывает курносая рожа старшины и рывкает:

— Товарищ политрук! Требуют на провод!..

— Ш-ш-ш! Человек отдыхает, не видите? Впрочем, надо будить. Вставайте, пожалуйста.

Я очень давно умею спать на ходу или ходить во сне. Слегка спотыкаясь, бреду за политруком. Думаю, что сон продолжается. Когда мы приходим куда-то, я перестаю существовать до следующего толчка в плечо. На этот раз надо мной стоит и шепчет сержант Зарецкий:

— Пора ехать, вставайте!

Но я умею спать, даже когда со мной говорят, и отвечаю:

— Сейчас, мой дорогой Зарецкий! Ты есть спаситель всех корреспондентов, и заслужил ты гром аплодисментов со стороны всей стороны советской!..

Из чего сержант делает вывод, что батальонный комиссар «поддамши», не иначе. Сам сержант скушал двойную порцию бифштекса, пригубил местного винца и скоростным способом отоспался в кабине, — теперь ему черт не брат — готов ехать хоть куда.

Воскобойник сделал водителю начальственное внушение:

— Зачем будите товарища батальонного комиссара? У него еще пятнадцать минут в запасе. Тихо заводите машину!..

Зарецкий шепотом уверяет толстенького политрука, что четверть часа — не отдых и что майор с него, Зарец-

кого, уже третью стружку снимает. И нежный тихий Воскобойник вдруг начинает сердиться:

— Вы порете ерунду, сержант! Четверть часа на войне — это совсем другое время... Нехай подождут эти ваши нервные пассажиры. И вообще вы не поедете, пока мои машины грузятся. Можете быть свободны...

И сержант, пожав плечами, выходит в соседнее помещение — посмотреть, как работают хлопцы-связисты.

Узел связи накануне последнего дыхания. На дворе грузятся несколько «пикапов»: кладут огромные вязанки длинных палок — шести, тщательно затягивают брезентом связистское хозяйство и солдатские вещмешки. Перед большим пультом орудует такой же сержантик, как Зарецкий, только очкарик. На голове у него над очками блестит обруч с двумя наушниками. Делает он вот что: на пульте не меньше сотни дырок, все они снабжены крышечками, и над каждой — огонек. Огонек загорается, и крышечки отпадают, чтобы очкарик мог всунуть в дырку штырек на шнуре.

— Чего это ты колдуешь? — интересуется Зарецкий.

Очкарик сдвигает один наушник, чтоб слышать вопрос Зарецкого, и, заикаясь, объясняет:

— В-вви-дишь, гнезда? Т-ттам, нин-на конце, — он машет рукой куда-то на стенку, — сс-ссельс-советы. Пп-ппонял?

— А почему не все дырки с огоньками?

— А п-п-потому. П-пп-половина у Г-гг-гитлера. Нак-к-крылись, соображаешь?

— Ясно, — кивает головой Зарецкий. — Значит, пора сматывать удочки?

И в этот момент гаснут одна за другой еще три лампы. Со двора доносится раздраженный бас майора:

— Водитель! Где вы? К-кого черта!..

Входим мы с политруком. Становимся за спиной очкаря, и через пару секунд я все понимаю. А политрук спокойно, будто не приказывая, говорит:

— Чижиков, теперь все...

Чижиков делает с пультом что-то такое, от чего надо немедленно мотать удочки. Появляется струйка зеленоватого дыма. Все присутствующие почему-то на цыпочках выбегают на крыльцо. Все моторы работают, все водители на своих местах. Последним садится политрук. Колонна очень быстро выходит на еле заметную в рассветной мгле дорогу, набирает хорошую скорость по холодку. Да-

леко позади вдруг вырывается фонтан пламени, и спустя мгновение доносится тяжелый удар. Зарецкий бедром толкает меня и говорит:

— Накрылась Новоукраинка...

Колонна ускоряет свой бег по направлению к Одессе... Сутки такие бесконечные, нет границ между разумным и бессмысленным, между злым и добрым, между явью и вымыслом, между войной и миром...

Старая песня «Смело все на баррикады! Нам неведом рабский страх...» полностью относится к таким людям, как папа.

В двадцать втором году умер дед. Как крещеного, его хоронили на христианском кладбище. Отец категорически отказался «проводить покойника» из-за непризнания обрядности. А мама, которая наплакалась от дедовой грубости и презрения, плакала и у гроба, к огорчению отца, не выносившего маминых слез.

Вот еще пример поведения отца в те времена. Тогда получали очень маленький продпаек по карточкам — восьмушку хлеба. А мама где-то выменяла около фунта ржаного суррогатного хлеба. Вернувшись с завода, папа заметил краюшку на столе. Ни слова не сказал, только нахмурился, взял хлеб, открыл форточку и выкинул мамину покупку. А мама горько, по-детски заплакала. Папа крикнул:

— Перестань сейчас же! Можешь ругаться, ссориться, — ты не знаешь, до чего мне тяжело видеть твои слезы...

А мы — и многие в то время — бегали в поисках еды даже на Смолягу (спекулянтский рынок), подбирали под столами с земли капустные кочерыжки, картофельную шелуху: мама украдкой пекла из нее вкусные (так казалось) лепешки. У нас пухли пальцы в суставах: очевидно, какой-то авитаминоз, да и постоянный холод в квартире. Но отец не позволял нам и себе жить не так, как большинство, лучше большинства. Мы переболели испанкой (тяжелым гриппом), но вообще-то были бодрые и жизнерадостные.

У нас нередко собирались друзья и сослуживцы родителей. Морковный чай с сахарином — вот и все угощение. А беседы и споры за столом всегда касались будущего: о нем говорилось горячо и не всегда вразумительно.

Почему так трудно создавать семейные хроники? Их ведь именно надо создавать, крупица за крупицей. Или же, подобно Аксакову, ограничиваться детскими годами героя. Или, на манер Ругон-Маккаров Золя, разворачивать грандиозные эпопеи, переводя героев из романа в роман... Я не берусь за такое кропотливое дело, всю жизнь во мне отсутствовало важное качество — терпение.

До восемнадцати лет нетерпение кидало меня из огня да в полымя. Я созерцатель и вторгаюсь в разные обстоятельства часто по рассеянности: зазевался и попал подо что-то, нет во мне отцовской настойчивости и целеустремленности. А может быть, нетерпение возникало от темперамента? Это — от матери-южанки.

Откуда же созерцательность? Неужели из-за близорукости, а потому из необходимости приглядываться? Папа рано убедился, что его первенец не того сорта, какого был он. Он сначала обдумает и отработает план действия — причем с малой затратой времени на обдумывание и принятие решения, — а потом неуклонно действует до получения результата. В первые годы учения я опаздывал или даже совсем пропускал школу, застоявшись у витрины книжного магазина. Я переходил трамвайные пути машинально: непонятно, почему не попал под колеса.

А под жизненные колеса я попадал. И достаточно часто. Однако детство прошло, миновало отрочество, и наступил период долгого созревания, который не окончился и сегодня.

Папа был взрослым в ранней юности. Он зарабатывал на жизнь с тринадцати лет, умел рассчитывать свои средства и возможности и давно решил заниматься наукой — сперва математикой, а потом химией и бактериологией. В то же время это был не кабинетный, книжный ученый-чудак, а человек, жадный к жизни, любознательный и темпераментный. Я помню его сорокалетним, — он занимался спортом, отлично катался на колесных коньках-роликах и даже выступал в екатеринбургском цирке в качестве партнера по танцам с одной заезжей англичанкой. Когда у нас гостил мамин брат дядя Сеня, они с папой нередко боролись — французская борьба — и учили нас, малышей, различным приемам: «нельсону», «полунельсону», «тур-де-бра» и «тур-де-тету». И дядя Сеня, более юный, далеко не всегда клал папу на лопатки...

Уже пожилым, сильно за шестьдесят, этот человек ежегодно играл в шахматы во всех московских чемпиона-

тах. Это — после работы, вечерами. И своих молодых партнеров он называл пижонами: «Уж слишком долго они думают и потом делают не лучший ход». Папа не дряхлел, хотя, конечно, терял много сил. Но его интеллект не замутился: одноглазый, в одной комнате с большой мамой, он каждый день в течение трех лет переводил «Спартака» Джованьоли, переводил по шестнадцать страниц в день! Фадеев прочитал «Спартака» и по своей инициативе провел решение о приеме переводчика в Союз писателей. Отец даже не сказал мне об этом. Однажды Фадеев спросил:

— Слушай, Лев не родственник тебе?

Отец после Октября стал директором резинового завода. Тогда мы жили на Плющихе, в доме, который папа отвоевал для рабочих «Каучука». Люди ходили работать на Усачевку, труба завода была видна с Плющихи, и гудок слышен. До «Каучука» ходу пешком два километра. Но однажды шофер не приехал вовремя. И папа поломал это дело: стал ежедневно ходить на завод пешком и не к девяти, а к восьми часам. И ничего с ним нельзя было поделаться: он показал наглядно, что директор ценит время работы своей и всего завода.

Каучуковцы считались сознательными рабочими. Другие предприятия лихорадило, частыми были простои, там преуспевали анархисты, меньшевики и эсеры, — «Каучук» давал фронту гражданской войны оболочки аэростатов, резину и другую продукцию бесперебойно, день и ночь...

Весной 1918-го я ушел из школы и поступил на малопривлекательную службу в непонятное учреждение под загадочным названием МРЭК. МРЭК находился в громадном белом здании на углу Новой Басманной и Садовой, у Красных ворот. Меня взяли курьером. Я должен был разносить по этажам МРЭКа для подписи кучу бумаг. Начальники и секретари отмечали что-то в специальной разносной книжке, и я бежал в другой отдел. И так — каждый день. Наверно, курьеру и не обязательно было знать, в каком он служит учреждении и чем оно занимается. Я и не знал, думал совсем о других вещах и нетерпеливо и бездумно отправлял служебные функции. После работы проносился сначала по Мясницкой до Лубянской и Театральной площадей, по Охотному ряду и Воздвиженке, мимо церкви Бориса и Глеба у Арбатских

ворот, затем по знакомому Арбату на Плющиху, куда переселилась вся семья.

Дом № 53, серый, красивый, довоенной стройки, был отвоеван для рабочих завода «Каучук». Куда девались буржуи из этого дома — я не пытался узнать: это было неинтересно. А ремесленников из подвала и полуподвала переселили в бывшие квартиры буржуазии. Наша семья получила жилище на третьем этаже и занимала его вплоть до пятидесятых годов, сильно изменяясь в составе по мере возмужания сыновей, их женитьб и разводов, ухода на военную службу и возвращений с нее.

Много лет спустя я узнал, что жилец Бугаев не пожелал уехать из этого дома — предпочел перебраться в полуподвал. Бугаев — фамилия писателя Андрея Белого, одного из талантливейших русских символистов.

Мало ли чего я не знал — что важно и необходимо было знать будущему литератору. Я и не помышлял о том, что стану писателем. Но зато и жить было легко, как птице: я избавился от страха смерти, от издевательств юдофобов, а домашнего гнева никогда не испытывал, не тяготел к приобретательству, не жаждал личной власти над кем-либо. Жесткая и жестокая рука революции не казалась мне страшной и злобной. Напротив, она как бы отдернула завесу, скрывавшую широту пейзажа, темнящую лучезарность предстоящей жизни...

Будто вижу башни, глядящие
В установленный час с высоты,
Когда смену ведут разводящие
На священные ваши посты.
Поясок из брезента, обмотки,
Багровеет на шлеме звезда,—
Будто вижу вас, одногодки:
Так вы были одеты тогда.
Вы стоите. Строгость во взоре.
Неподвижный штык у плеча.
В темном ВЦИКовском коридоре —
На посту при дверях Ильича.
Вы, кто Ленина часто видывал,—
Часовые у сердца Москвы,—
Каждый юноша вам завидовал,
И казалось: бессменные вы.

В то время я был совершенно счастлив — так вольно и жарко пылала во мне юность, ничем не стесненная,

стремившаяся отдать себя без остатка и без малейшего возмещения утрат. Про кого, как не про таких, как я, сказано в «Интернационале»: «Кто был ничем, тот станет всем»? Всем! Этим словом начинались ленинские декреты. Всем существом я принадлежал ко всему, что делала и сулила Советская власть. Сказать, что я верил или просто доверял, — мало и не точно. Я стал участником и объектом в грандиозном опыте переустройства мира, и разрушительная часть этого процесса захватывала своим непомерным масштабом. Во сколько же раз величественней должно быть созидание!

Я вступил в союз рабочей молодежи «III Интернационал» легендарного Хамовнического района Москвы, перестал быть беспартийным, перешел в новый разряд бойцов за Советскую власть, приблизился к старшим товарищам, а еще тесней сдружился с ребятами и девушками своего района. Быть среди них, делать все, что требовалось Уставом и Программой союза, стало для меня важнейшим содержанием жизни.

Чем больше испытаний я проходил, тем больше выросло их на пути. Порой я казался малонадежным самому себе.

И огонь блистал сквозь метель — мой любимый образ! — медные трубы проходили через меня, как я сквозь них. В ЧОНе — отряде особого назначения — я был пулеметчиком. Ночные обыски в квартирах подозрительных людей, бессонные дежурства с ночными тревогами, первые субботники с ездой в замороженных теплушках; я потерял голос — часами пел в гремучих товарных вагонах. Но тогда все это прохватывало только тело до мозга костей, тело расслабленное, как у пьяного, и потому нечувствительное к ушибам и сотрясениям.

Память о восемнадцатом? Похоже на поездку откуда-то куда-то: толчки, тряска, мелькание в окнах кусков природы всех времен года.

Мне всего-навсего пятнадцать! На днях выдали мне мой первый партбилет. На скольких должностях не перебивал только внезапно вытянувшийся, долговязый и тощий молодой человек! Был даже политработником на Брянском вокзале...

Возвращение в оранжерею шло без всяких особых приключений и, пожалуй, не изобиловало красочными подробностями. Даже мотор полуторки Зарецкого пере-

стал барахлить и вел себя как умная старая лошадь, — домой ехать всегда быстрее и приятнее, чем из дома.

Однако были, вероятно, остановки, заезды, иначе я появился бы в оранжерее еще засветло. Насколько старая автомашина мечтала добраться до своего стойла, настолько же я хотел оттянуть момент встречи с редакционными начальниками, с неизбежными рапортами, писанием отчетов, выслушиванием нотаций и ценных указаний. Две вещи меня интересовали, мучили и требовали решения: отрыв от Володи Полякова и произнесение доклада о прибытии.

Я отпустил водителя, решив про себя, что обязательно напишу репликацию на Зарецкого и добьюсь его награждения. Прежде чем войти под стеклянный навес, я вялой походкой дотащился до ближайшей скамейки, освещенной крупными черноморскими звездами, сел, отвалился всем телом на причудливо закрученную спинку, вытянул ноги и закрыл глаза — передо мной тотчас же заплясал малиновый сигнал передней машины. Но ехать надоело, даже во сне. И я поступил, как всегда, когда хотел вырваться из страшного сна, — усилием воли открывал глаза, ну, и закуривал. Только закурить в ночное время значило нарушить светомаскировку. «Оставим до оранжереи», — бормотал я. И это бормотание было услышано. На той же скамье обнаружился еще некто. Раздался кашель, зевок и характерный шорох спичек, пересыпающихся в коробке. Я отбросил намерение по-фельдфебельски напустить на неизвестного нарушителя и при мимолетном проблеске разглядел лицо Василисы под черным нимбом каски.

Гитлеровская авиация почему-то не воспользовалась грубым просчетом двух советских военнослужащих. Я тут же придвинулся к товарищу и прикурил. Затем произошел краткий обмен мыслями:

— Погара колбасится...

— С чего бы?

— Узнал в штабе, что отправил тебя с Поляковым прямо к немцам. Очень сильно колбасится. Даже со мной сегодня выпил. Хорошо, что ты уже здесь...

— А Володя?

— Разве вы не вместе?..

Весь сон с меня слетел. Я вскочил, затоптал окурок и побежал к оранжерее. Мне казалось, что я не смогу ды-

шать, а ведь вокруг веял напоенный запахами цветов замечательный санаторный воздух.

Приподняв полу палатки, завешивавшей вход в оранжевую, я вынырнул перед столом секретаря и наткнулся на очень широкую спину человека, сидевшего напротив. Человек повернул голову вместе с туловищем, как это делают грузные люди. Я узнал профиль редактора — выпуклое веко, прямой и короткий нос, мясистый рот, линию двух подбородков. Полковой комиссар уперся руками в колени, крикнув, встал, расставил ноги и долго разглядывал мою полустриженную голову.

Он явно был взволнован, дышал с некоторым хрипом. Наконец сказал:

— Здравствуйте. Я вас слушаю... — И наклонил ухо, показав, что весь — внимание.

Тут я с отчаянной решимостью — будь что будет! — выпалил признание, ошеломившее секретаря так, что он даже привстал над полосой.

— Михаил Владимирович, я не знаю, где Поляков! Мы разъединились! Связи не было! В Умани немцы! Я виноват! Что хотите, то и делайте...

— А где машина? — потерянно спросил редактор и наклонил другое ухо.

— Машина с Поляковым неизвестно где!.. Можете хоть под трибунал!..

У редактора вдруг все внутри ослабло. Уже не глядя на меня, он сказал:

— Идите... Идите туда, — Погара показал короткой толстой рукой во тьму оранжевой. — Можете отдыхать. Я вас вызову...

Я, тоже не глядя, повернулся, развинченно махая руками, зашел в темноту и улегся на ближайший стол, как на операционный. Передо мной снова зажглись огни стоп-сигнала и завиляла рассветная лента дороги. Я почувствовал прикосновение чьего-то бедра, понял, что это Зарецкий, и внезапно провалился без единой мысли в глубокое бессознание...

Пока я спал, издавая глухие трагические стоны и будя соседей по оранжевой, перед секретарским столом задралась палаточная пола и вынырнула личность с автоматом через плечо. Она, эта личность, была до того запылена, что казалась лохматой. Тем не менее автоматчик постарался

принять бравый вид и даже отряхнулся по-собачьи, от чего по оранжевее распространилась пыль, и секретарь, возмущенно чихнув, сказал:

— Здравствуйте, товарищ Поляков! Интересно, откуда вы явились?

Полковой резко повернул лицо и поднялся так же, как при встрече со мной. Так же внимательно был осмотрел Поляков. Но не успел редактор наклонить ухо, как Володя с воплем простер к нему грязные руки:

— Вяжите меня!.. Я бросил Френкеля на произвол судьбы!.. В Малоархангельском немцы! У Ильи не было машины! В Умани немцы! Я вывез двух сотрудников! Водитель Суененко вел себя мужественно!.. Судите по всей строгости!..

У Полякова — хорошо поставленный актерский голос. Искреннее горе и сознание вины придавали его монологу особую силу. Он был в ударе. Он блистал сквозь пыль. Он гремел так, что редактор приказал ему замолчать:

— Ладно, Поляков. Можете отдыхать. Я вас вызову. Тише! Идите, пусть люди спят...

Я слушал, не открывая глаз, и старался не спрыгнуть со своего ложа, пока вздыхающий Поляков не оказался рядом. От него пахло лошадиным потом и оружием, мужественным ароматом войны, хотя ехал он не верхом, а в машине. Сначала Володя хотел лечь на мой стол, горестно застонал и стал стаскивать сапоги, добавляя еще один запах, знакомый пехотинцам. Наконец он стал ворочаться, чтобы найти удобную позу. Нашел подходящее положение и звучно прошептал:

— Нет тебе прощения, неверный друг! О, дорогой мой Илья, прости меня... — И зевнул.

Я нащупал рукой толстую подшивку центральных газет и скинул ее на Полякова со словами: «Заткнись наконец!»

Рассказывать ли о том, как мы прыгнули друг к другу, убежали на цыпочках в другой конец проклятой оранжевой, удрали в теплую черноморскую ночь к скамейке, где так и спал в каске, готовый ко всему Василиса. Разбудили этого милого парня, и втроем с наслаждением закурили.

— Неужели так мало прошло времени! — удивлялся я.

— Неужели ты жив? — изумлялся Володя. — И ты знаешь, тебе идет твоя прическа.

А Василиса жалел, что у нас нет хоть ста граммов на троих...

Война не ждала. Противник усилил нажим. Мы ощутили подстегивающую ударную мощь блицкрига. Частыми стали внезапные броски танков и авиации на наши позиции.

Штабам и их отделам пришлось отходить на восток. Отходили и газетчики со всем хозяйством. Пришлось менять стиль писаний, стиль нужен был лаконичный, более сухой. В редакционной почте с первых недель войны увеличилось количество писем с просьбами известить родных, друзей и любимых о том, чтобы не волновались, а ждали. Ждали с победой...

Бойцам очень нравился юмор. Все наши литераторы изошрялись в юморе. Но удавался он далеко не всем. Легче всех было карикатуристам. Они отыгрывались на Гитлере с Геббельсом. Мы с Поляковым опустили до пародий на «Челиту», где фигурировали тот же фюрер и его оголтелый приспешник Геббельс. Воспевали наших снайперов и разведчиков.

В 1933 и 1934 годах я работал в зауральской деревне, где написал «Начало». Мне и потом хотелось продолжить эту тему. Но в канцелярии я все силы и время тратил впустую.

Однажды я поделился своими намерениями с приятелем — критиком Анатолием Тарасенковым. Он сказал:

— Один мой земляк, смоленский поэт, заканчивает большую вещь вроде «Кому на Руси жить хорошо». Спишись с ним, пусть, когда закончит, пришлет тебе.

Я написал совершенно неизвестному человеку и, надо сказать, излил перед ним всю душу. Наверно, это было необычное послание, потому что поэт очень скоро ответил, поблагодарил за интерес и доверие и пообещал прислать или показать сочинение о сегодняшнем крестьянине.

Наступило утро, оставшееся в памяти прекрасным благодаря пакету, адресованному на имя, отчество и фамилию референта по областной литературе. Увесистая рукопись — около двух тысяч строк и письмо автора. «Вот Вам вещь, которая Вас интересовала. Прочтите и отзовитесь честно и откровенно. Ваш А. Твардовский».

Так пришла в Союз поэма «Страна Муравия». Она была необычайна, самобытна и поразила меня. Она доставила мне истинное счастье без тени зависти.

Простота ритмов, задушевность чистой негромкой интонации, звучность и афористичность были настолько естественны, так легко западали в память, что я читал стихи с наслаждением. Я был уверен, что не надо быть знатоком, чтобы понять значение «Муравии» и отдать должное талантливому и умному поэту.

Но когда я кинулся к своему начальству, оно прежде всего не поверило, что явился новый блистательный талант, которому надо помочь. Правда, я еще не имел понятия, в чем нуждался Твардовский.

Я стал просить, чтобы меня с этой поэмой пустили к Горькому. Мне отказали. Я боялся выпустить рукопись из рук! Тогда я сообразил: «Надо как можно больше людей познакомить с этим выдающимся событием. Поговорю со всеми секретарями Союза, и пусть они поручат мне организовать и провести встречу с Твардовским».

Это оказалось совсем не просто. Положение Твардовского было весьма сложным. Смоленские областные литераторы не уставали доказывать на талантливом собрате свою «бдительность». Кое-кто из московских деятелей уже ездил в Смоленск «собрать материал» и расследовать все, что касается «выходца из чуждой классовой среды». Заварилась недостойная игра.

Саша Твардовский!.. Саша Твардовский вскоре приехал из Смоленска и поселился в маленькой гостинице с громким названием «Франция». Позволил мне домой. Молодой застенчивый голос произнес:

— Здравствуйте, Илья Львович. Говорит Твардовский.

Я обрадовался и стал звать Твардовского к себе. Он поблагодарил, но отказался из-за нездоровья. Я мгновенно поехал на Большую Дмитровку, отыскал «Францию» и номер Твардовского.

На скрипучей кровати лежал бледный молодой человек, покрывшийся сверх одеяла бобриковым пальто. Ноги в дешевых носках высывались, и Саша конфузливо их подгибал, а они опять высывались.

Рядом с пустым графином на столике лежал градусник. Я всмотрелся: выше сорока! Только тогда я заметил, что бедняга дрожит...

Я хотел вызвать врача, но Твардовский категорически отказался.

— Что скажете о «Муравии?»

Вместо ответа я сказал:

— Вам, наверно, лет двадцать пять! — И тут же вспом-

нил и продекламировал вслух: — «Коль в двадцать лет рас- судка нет — не будет и не жди».

Мы оба засмеялись, и пошел разговор о деревне, о ли- тературе, о писателях, о себе.

— Разные мы с вами, — сказал Твардовский. — Навер- но, это и хорошо. Я думал, что в Союзе одни бюрократы, и, слава богу, ошибся.

Я добавил:

— Значит, будем знакомы. И дружны.

Конечно, мы были крайне непохожи друг на друга. Я — увлекающийся, довольно непосредственный. Он — сдер- жаный, недоверчивый, но чрезвычайно уверенный в сво- их силах. Упрямый в отстаивании своих вкусов, правил и притязаний. Умный, ироничный, отнюдь не похожий на провинциала. «Помочь бы ему освоиться с Москвой, ввести в круг самых ярких и серьезных людей». И я стал ломать голову, что сделать для Саши. И решил вырвать Твардов- ского в Москву, устроить на учебу... С невероятным тру- дом мне удалось добиться обсуждения «Муравии» и при- гласить автора в Москву.

И вот он, Александр Твардовский, глухим голосом чита- ет главу за главой. Он часто откашливается и глотает бор- жом. Ни на кого не смотрит, старается не делать лишних движений. Он предельно скован. Рядом справа сидит Бо- рис Пастернак, подперев подбородок своими красивыми руками. На узком конце стола самоуверенный Ермилов — известный критик, откинулся на спинку кресла коротким туловищем. Вера Инбер все время вертится и перешепты- вается с соседями сбоку. Что-то мрачно пишет на бумаж- ке Сурков. Остальные невозмутимы и непроницаемы.

Я помню всю «Муравию» наизусть и ловлю себя на том, что шевелю губами и морщусь. Мне досадно, что Саша пор- тит свое произведение: откашливается посреди строки, громко глотает боржом и читает деревянным голосом — черт бы его подрал! Надо бы читать совсем просто, разго- ворно...

Но, слава богу, чтение окончено. Пауза. Ермилов через стол тянет короткую толстую руку. Он захватил часть бу- мажной стопки и что-то мурлычет, быстро-быстро пробегая страницу. Пастернак повернулся к Саше и рассматривает его профиль с нескрываемым любопытством. Вера Инбер задала Саше какой-то вопрос, а он, не глядя на нее от сму- щения, ответил тем же деревянным голосом. Критики пе- решли на яблоки, апельсины и бутерброды.

Я закурил. Мне почему-то казалось, что все мои хлопоты не оправдались и виноват в этом Саша. Стоит как истукан!

Твардовский как бы почувствовал на себе изучающий взгляд Пастернака. Внезапно обернулся к нему, глянул исподлобья и вдруг так хорошо улыбнулся, что у меня сразу отлегло от сердца.

Звякнула ложечка о стакан. Это Ермилов призвал всех ко вниманию. Я оглянулся. Оказалось, что комната полна. Люди стоят вплотную. Я и не заметил, как в комнату набилась сотрудики, а главное — посетители Союза.

Ермилов говорил, как всегда, четко, красиво, по-адвокатски. Он сразу заявил, что «Муравью» надо напечатать в «Красной нови», но при условии, что автор переделает финал в духе соответствия целям и задачам колхозного строительства. Я не удержался — прервал оратора:

— Герой поэмы не в кубанской житнице, а на своей скудной смоленской земле.

— Пусть поедит по стране, — возразил критик, — надо чтобы Моргунок воочию убедился в силе колхозного строя. Иначе поэму нельзя печатать...

Твардовский снова одеревенел. Сложил ладони на рукописи. Ни на кого не смотрит. Неужели согласится изуродовать поэму?

Тут Пастернак — все знали его знаменитое «мычание» — выпрямился и, стоя боком к столу, громко начал:

— Ммм, не знаю — как вас по батюшке...

— Трифонович, — буркнул Саша.

— Ммм, дорогой Александр Трифонович. Я, знаете, горожанин и профан во всем сельскохозяйственном... Но люблю природу именно потому, что — горожанин. Ваша поэзия мне крайне симпатична, и я полюбил вашего героя. Тут некоторые недовольны, что в поэме не все равно — одна глава сильней, другая слабей. А как же иначе? В большом произведении это просто необходимо. Как дыхание — вдох, выдох и опять вдох. Не правда ли? — обратился он к Твардовскому. Саша сидел скованно, избегая лишних движений, только кивнул.

— А финал великолепен... Дайте, пожалуйста, последнюю страницу... — Саша подал, и Пастернак своим как бы захлебывающимся голосом торжественно прочел последнюю строфу. — Ммм, Александр Трифонович, земной поклон вам за талантливую и трогательную историю...

Пастернак отвесил настоящий глубокий поклон ошелом-

ленному Твардовскому. Взял бутерброд, улыбкой показывая, что он вправе подкрепиться после такой большой речи.

Я так разволновался, что кинулся вон из зала и побегал в свою областную комиссию. Там мы условились встретиться после обсуждения. Чтобы немножко успокоиться, я принялся набрасывать проект решения секретариата о переводе Твардовского в Москву в связи с командировкой на учебу... Я поклялся себе, что пробыю такое решение, чего бы это ни стоило...

В напряженной, нервной предвоенной атмосфере так хотелось теплоты, доброго интереса к себе, единомыслия, доверия и понимания.

Знакомство с Твардовским, тесное и чистое, внесло в тогдашнюю мою жизнь очень много радости. Мы оба прошли сложный путь становления в тяжелой, зачастую и опасной обстановке. Обоим приходилось рассчитывать только на себя. Рисковать только за свой страх и совесть. Мы были разными. Саша был моложе, я старше — больше видел и знал в знакомой нам сфере. Но нам одинаково необходима была дружба, верная, свободная от лицемерия и ханжества.

Наша газета «Во славу Родины» сменила массу редакционных помещений. Из «роскошных» залов бывших республиканских и областных редакций переезжала в маленькие деревенские домишки. Сколько раз громоздкое хозяйство цинкографии, ящики шрифтов мы грузили на машины под завывание моторов сверху и грохот бомб, в призрачном и зловещем сиянии осветительных ракет и неслись по колдобинам проселков прифронтовой полосы! В кабине каждого грузовика, рядом с водителем, качался и припадал к его плечу, очень часто сонный и небритый, иногда тщательно выбритый и подтянутый, газетчик...

И конечно, воздушная гитлеровская разведка узнавала, что передислоцируется важное подразделение, и старалась нас разбомбить, а нам необходимо было привести колонну в определенное место и немедленно готовить следующий номер.

Вернулись в Одессу. Очень странно, но стеклянный парник с редакцией внутри уцелел. Ни единого стеклышка не вылетело.

Тем временем в Одессе прибавилось войска. Это усилило внимание гитлеровцев к портовому городу. Бомбежки участились. Но и наши зенитчики усовершенствовались. В Первомайске так бомбили, что о выпуске газеты не могло быть и речи.

Мы даже когда могли, даже когда должны были уйти, и то не всегда уходили. Вот это необходимо знать, иначе невозможно понять, что такое военные газетчики!

Дивизионные, корпусные, армейские и фронтовые газеты призваны были давать информацию всякого рода, прежде всего рядовым бойцам — своим главным читателям. Собираемые в частях заметки от бойцов, письма, даже стихи далеко не все попадали на страницы фронтовой прессы. А ведь именно это являлось главным материалом для нашей газеты. То, чем жил передний край войны, диктовало темы основного содержания газет. Когда в редакции работал талантливый коллектив, для которого небезразлична была форма, лицо газеты, ее язык, читатели начинали любить «свою» газету. Ждали прихода почты в часть. В минуты затишья сами приносили в полевую почту свои треугольники, заполненные материалом для газеты.

Фронт, конечно, узнал и полюбил многих корреспондентов — от репортера до профессионального писателя. Тех, кто постоянно появлялся на огневом рубеже, кто ночевал в землянке, ел и пил вместе с бойцами, пел с ними песни. Любовь и уважение солдата простиралась на всю деятельность газетчика, создавали ему известность и славу надолго, порой навсегда.

Сколько чепухи вышло из наших источенных перьев! Но даже это нравилось бойцам. Они читали наши стишки под действительно смешными рисунками художника Васильева — Василисы.

Мы, газетчики, должны были развеивать миф о молниеносной войне и непобедимом враге. Мы писали не для редактора, не для воздействия на противника (этим занимались в отделе политуправления по работе среди противника), а для читателя. Ради него надо было ездить на передний край, потому что жизнь человека на смертной грани надо было знать самому, чувствовать собственными клеточками и лишь тогда иметь право говорить о ней! На войне менялись все четыре времени года, и надо было смотреть пейзажи не из окна вагона или гостиницы, а находясь рядом со стрелками, саперами, танкистами и летчиками, из окопа или с птичьего полета. Если корреспондент оставался

жив, он обязан был вернуться в редакцию или передать материал любым способом!.. Не думайте, что журналист счастливее стрелка в окопе, что он может уйти из-под огня, когда захочет... Неправда!

Было решено не испытывать дальше судьбу, а эвакуировать фронтовые учреждения, в том числе и газету, в какой-нибудь небольшой город, откуда легче управлять действиями войск в большей безопасности. Редактор привез приказ — срочно передислоцировать редакцию в Кривой Рог. Запретили выезжать одновременно всем. Рассредоточили переезд по этапам.

Мне и Василисе поручили сопровождать походную цинкографию — здоровенный, тяжеленный фургон, битком набитый всякой аппаратурой, банками-склянками, — огромную машину, с птичьего полета похожую на невинную колымагу для перевозки продуктов. Я считал этот транспортный объект неуязвимым. Борис Горбатов, квартирьер-энтузиаст, отбыл с начальством на легковушке за час до общего разъезда: надо было проверить на месте, какие именно помещения приготовил штаб фронта для громоздкого и капризного предприятия, именуемого редакцией.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ



Предчувствие и предвидение сходны между собой. Им не стоит слепо доверяться. Но исход любого предприятия зависит не столько от плана и расчета, сколько от настроения. Я настроился на любопытство, потому что всегда рвался из редакции наружу. «Выехать, двигаться, сменить среду, испытать все новое — это жизнь!» Таков был мой девиз.

Я еще не познал тяжести участия в войне. Сейчас — в начале войны — я был свеж, быстро восстанавливал силы и кипел от нетерпения, усаживаясь в кабину походной

цинкографии рядом с водителем и маленьким, худеньким Василисой, который с интересом разглядывал хозяйство водителя — грудастую красотку в литографском исполнении неведомой, но явно зарубежной прессы. Эстетические детали походного освещения шоферов, танкистов, летчиков и подводников говорят вовсе не о сексуальной озабоченности, а о суеверии. Техника техникой, но и талисман пока еще не дискредитирован! Вот и уживаются репродукции и куколки с окружением кнопок, рукояток и рычагов, с неизменным карабином, аккуратно пристроенным над смотровым стеклом.

Одесская окраина осталась далеко позади. До горизонта простирались выгоревшие степные равнины с одиночными выщечками ветряков, с мутноватым небом, с телефонными и телеграфными столбами.

Впереди — белое равнодушное полотно шоссе с километровыми знаками. Даже оврагов не видать на степной равнине, — я не вижу, потому что не смотрю, а сплю, но и художник оврагов не видит, ибо они появятся гораздо позже на подступах к Донбассу. Василиса чувствует — моя голова клонится к его плечу — и осторожно снимает с меня каску. Приятная прохлада разливается по взмокшим вискам, хотя откуда быть прохладе, когда верх кабины накален свирепым солнцем полудня?

Владелец грудастого талисмана башкир Муса напевает себе под нос довольно унылую мелодию. Руки его, с виду тонкие и несильные, покойно и уверенно лежат на рулевом колесе, сухое и смуглое лицо невозмутимо.

Муса и Василиса так сошлись на почве постоянных занятий, связанных с цинкографским делом, что странным образом стали даже похожи друг на друга, за вычетом чисто внешних мелочей, а именно — скулы и глаза Мусы выдавали явную принадлежность к монголам, а несколько рябин — следы перенесенной оспы — постоянно удивляли Василису. Он не верил, что оспа еще могла косить людей после Октябрьской революции. Василиса вообще скептически относился к неблагоприятным факторам, в том числе и к болезням. Муса не выпивал совершенно. Василиса пил понемногу, но по возможности ежедневно. Муса очень любил карикатуры Васильева, лукавые и внешне примитивные, — он и сам был в меру лукав и в меру прост.

Итак, двое бодрствуют, а я сплю. Никто не волнуется; за целый час пути мы не встретили ни одной машины, а из живых существ видели разве лишь ласточек на телефонных

и телеграфных струнах да одну назойливую синюю муху в кабине.

Где же наконец признаки, свидетельствующие о близости населенного пункта? Василиса вытащил из-под себя свернутую в несколько раз карту с отрезком местности, который надо преодолеть. Глаз художника улавливает сходство между картой и дорогой. Вот колхоз «Линден» или «Фриденталь». Это немецкий колхоз — их на Одешине много.

Я проснулся, когда фургон замедлил ход и повернул во въездную аллею сквозь красивую арку с названием действительно какого-то «таля». Из-за дерева вышел парень в юнштурмовке и поднял руку. Муса затормозил. Мы вылезли, разминая усталые ноги, и вступили в беседу, которая велась с одной стороны по-украински — немцем и по-русски — мной.

Мы ненадолго заехали и перекусили в колхозной столовке. Муса проверил свое хозяйство, заправился горючим и водой...

— Муса! — крикнул я, войдя в гараж. — Заводи и выезжай. Хватит с нас...

Чувство беспокойства, овладевшее мной в этом «тале», покинуло меня, лишь только я увидел спящего на сиденье в кабине Василису в позе младенца: сложенные ладошки между колен и голова на тонкой шейке, непринужденно откинута с опущенным на подбородок ремешком каски. Эта поза вызвала невольный прилив нежности.

Муса вопросительно смотрел на меня, а я бережно погладил Василису по смуглой щеке. Спящий открыл глаза, минуту лежал, бессмысленно уставившись в потолок кабины, моргнул, повернул голову к наклеенной красотке, улыбнулся и окончательно проснулся.

— А я сон видел, будто получаю гонорар в «Правде» — целую пачку новеньких трешек, — тихо произнес Василиса, покрутил головой, опять улыбнулся, спустил маленькие босые ноги и, уже стоя на полу, потянулся.

— Едем, дружище, — говорю. — Давай обувайся. А ты, Муса, заводи, голубчик. Пора — видите, темнеет.

Я закурил, рассеянно наблюдая за тем, как обувается Василиса. Муса выкатился из гаража, и мы с Василисой медленно пошли по асфальту к выезду.

— Ну, что у них делается? — спросил Василиса. Я пожал плечами.

— Зер шлехт? — опять спросил Василиса.

Тут же паренек в юнгштурмовке, что встречал нас, отдал нам честь по-солдатски. А когда мы уселись и Муса двинулся, юноша что-то крикнул, показывая рукой куда-то в сторону. Значение этого жеста мы поняли только спустя час, когда мчались по весьма сложному профилю нового проселка и нас трясло и бросало в разные стороны и крепко подкидывало вверх. Подъемы и спуски чередовались резко и неожиданно. Очередной крутой спуск окончился низинкой, полной воды, этаким миской диаметром добрых десять метров. Скорость показалась Мусе достаточной, чтобы проскочить низинку, но, увы, там было слишком глубоко для посадки машин этого типа. Вода взлетела до окон кабины — нас хорошо окатило. Мотор умолк, заглох, и мы сели на мель в буквальном смысле этого слова.

— Вот это номер, — с досадой сказал я, поглядывая на плещущий водоем вокруг машины, — вылезем и во имя отца и сына попробуем подпихнем.

Вылезли прямо в воду. Стали бродить, чуть не по пояс, исследовать дно. Пытались пошевелить невероятную тяжесть. Безнадежно.

Муса выбрался на пригорок и, оставляя мокрый след, молча пошел куда-то, черт его знает куда...

Мы с Василисой вылезли на другой берег. Вылили воду из сапог и предались мрачному молчанию. Обидно — вот так, среди бела дня, застрять в луже.

Посидели. Встали. Отошли метров десять и стоим. Тут дорога была как дорога, а чуть подальше — хорошо наезженный проселок. Откуда ни возьмись над нами и над лужей проревел горбатый «мессер» и послышались очереди пулеметной стрельбы. Полежали. Поднялись. Слышим, свистят с того берега. Оглянулись, а это Муса машет пилоткой — давай сюда!

— Сейчас придут и помогут, — сказал Муса, шумно вошел в воду и раскрыл дверь кабины. Достал трос и опять полез в лужу.

Водитель был занят, а это главное. Мы натянули мокрые сапоги и так же шумно перецли через лужу. Тут раздалось мычание. Две пары быков и женщина остановились на пригорке.

Пришел оживленный и до нитки вымокший Муса, таща концы троса. Все четверо помогли Мусе укрепить трос на ярмах волов, которые охотно вошли в лужу, а люди орали: «Цоб-цобе! Но-о-о!» — махали и щелкали кнутом. Опера-

ция по вызволению цинкографии началась. Потом Василиса назвал эти живые тягачи «Му-два».

Со скоростью пятьдесят сантиметров в час, но неуклонно, подбадривая себя мычанием, тянули быки страшный груз и вытянули на самый верх. От их пестрых боков валил пар, они отфыркивались и перебирали могучими ногами. Муса, утеревшись рукавом, обнял и поцеловал каждого быка в нос, опять утерся и поцеловал их погонщицу, которая отплевывалась и хохотала. Василиса достал из мокрого кармана штанов лохматый от долгого ношения блокнотик и зарисовал эту сценку. Пока Муса суетился у распахнутого капота, я спустился с погонщицей и волами к воде и с уважением смотрел, как они пили. Женщина ходила вокруг них и звучно шлепала по бокам и спинам, отгоняя оводов. Солнце садилось, красное, закатное. Но было очень знойно. С проселка донесся звук проезжей автомашины. Там поднялась густая пыль и, почти не оседая, висела над невидимой отсюда дорогой.

Я пожал твердую ладонь женщины и спросил, откуда она:

— Та с «Фриденталя» же. Наш хлопец, той, что с дозора, допослал сюда...

— Прощайте, — сказал я и пожал женщине руку. — Передайте спасибо. Может, увидимся...

— Колы живы будэмо, — грустно отвечала погонщица.

И опять мы все трое сидим рядом. Василиса теперь в середине, и голова в каске клонится и клонится к моему плечу. А мотор жужжит как ни в чем не бывало, и дорога стелется под толстую резину. Бессмертная муха садится на красное от заката целлулоидное окошко кабины и вдруг перелетает на освещенный багровым вечером лоб Мусы. Он, не отрывая взгляда своих раскосых глаз от дороги, морщит губу и крикает: «Эт, стерва!..»

Ровный звук двигателя кажется струнным гуденьем и преобразуется в ямб: «Итак, он жил тогда в Одессе...» Нет, не так. А как же еще? «Итак, я жил тогда в Одессе», — вдруг вспоминаю я. «Ну, ясно: и я жил тогда в Одессе! Итак, я жил тогда в Одессе», — поет не то мотор, не то струна, поет задумчиво и проникновенно чистым голосом Пушкина... Муса спокойно смотрит вперед, а двое спят...

Конечно, цинкографская автомашина прибыла в Кривой Рог позже всего редакционного транспорта. По принятому правилу Муса повел ее в центр города. После не-

скольких остановок и проверки документов ночными патрулями, цинкография попала точно по адресу, и Муса пошел получать нотацию от начальника, Игоря Соловьева. А мы с Василисой за этим же отправились в редакцию. Оттуда я ушел в гостиницу, а художника усадили ретушировать фотоснимки. И скоро каска Васильева нависла над глянцевитым кусочком бумаги...

Ничего не желая, кроме постели, я пошел по коридору гостиницы, пробуя ручки дверей. В первую дверь, которая распахнулась, я проскользнул, расстегивая и распуская на ходу ремни своей сбри, с первым же зевком нацупал свободную койку и рухнул на нее как был — в сапогах и полуснятом поясе, с пистолетом и планшетом.

Проснувшись, я увидел, что на одной из двух кроватей продолжал спать кто-то, накрывшись теплым одеялом с головой, несмотря на невыносимую духоту и треск заниток за окнами... Я сел, чтобы разуться и полностью раздеться. «Полчасика еще подремлю по-человечески», — отбросил ногой одеяло и забылся. Меня толкнули в голое плечо и сердито проворчали:

— Разлегся, как на курорте, на чужой койке, а хозьяин всю ночь продежурил...

Я узнал капитана Урбанова, грубоватого хлопца, который был очень суеверен и терялся, когда приметы его обманывали. Я был расположен к нежности, притянул капитана к себе, заставил сесть рядом и сказал:

— Урбаныч, улыбнись и скажи «С добрым утром» — только скажи ласково, старичок...

Урбанов вдруг действительно ухмыльнулся и сказал «С добрым утром», но тут же забрюзжал насчет того, что спать нагишом на фронте нельзя...

Когда я зашел в редакцию, обалдевший от бессонницы секретарь предложил мне пойти в какую-нибудь часть и взять материал.

— Урбанов говорил, что на Николаевском шоссе должна находиться автоколонна. Сходи-ка.

И я пошел.

Шел и напевал: «Итак, я жил тогда в Одессе». Солнце уже шпарило всюю. Кривой Рог не подавлял своим великолепием. Обыкновенный южный город, с высокими пропыленными тополями вдоль длинейших бульваров. На улицах было много военной публики и по мостовым проезжали грузовики, высились трубы заводов — целые леса труб.

Окраина не шибко отличалась от центра. Еще десяток-другой полубараков, полумазанок с дворами. Но вот и шоссе, обсаженное теми же тополями. А где автоколонна? Спросить не у кого. Разве у встречного парня с чернейшей шевелюрой и приличным носом. Он здорово напомнил кого-то.

«Эй, приятель», — хотел уже крикнуть я, но не успел.

— Илья-а-а! — заорал чернявый оглушительным басом и облапил меня своими ручищами, бросив обшарпанный чемоданчик прямо в дорожную пыль.

— Я — Аркадий... Ты что, ополоумел?

Но я уже узнал одного из талантливых поэтов одесстита Арка. Мы подружились с ним на почве переводов и общей любви к Багрицкому, с которым Арк был неразлучен в свое время.

— Арк, Арк, слушай! Это — с ума сойти: не видеться кучу времени — и вдруг вот тут... — Я невольно заговорил как одессит.

— Что ты делал и делаешь?

— Доклад делать, наверно, не буду. Отвозил детей в эвакуацию. Видел твою Лизу... Хватит с тебя? Лучше помоги найти штаб фронта, ладно?

— А почему ты здесь? — Я показал пальцем вниз.

Арк захохотал и рассказал, что приехал с автоколонной артиллеристов ночью. Вылез в непроглядной тьме и решил поспать по-чумацки под возом. Улегся у колеса машины, а проснулся — колонны уже нет.

— Знаешь что, — говорю, — плюнь на свои предписания, я тебя в редакцию устрою.

— А чем плохо в седьмом отделе? — возразил Арк. — Немецкий я знаю более или менее. Попробую сочинять немецкие стихи. Вообще заниматься пропагандой я давно мечтаю... Потом там, в седьмом, народ покультурней.

— С чего ты взял?

— Знаю я газетчиков: они и по-русски-то говорить разучились — только штампами лупят. Не спорь, пожалуйста...

— С Поляковым познакомишься — чудный дядя, со всякими милыми затеями. В юморе поупражняешься, песенки станем сочинять. А главное — мы чаще всех политуправленцев бываем на переднем крае... Пойдем, Арк, в редакцию — там объяснят, где твой отдел. Пошли?

И мы отправились назад в Кривой, как с тех пор ста-

ли называть город. Это Володя придумал — «Кривой эн», якобы в целях штабной секретности, а я, по обыкновению, сократил.

Идем по коридору гостиницы, входим в номер, где я ночевал. На второй постели все еще покоится закутанное с головой тело, а Урбанова уже нет, и коечка заправлена, как «яечко».

— Полежи-ка на этом яечке, а я сбегая в редакцию. Все-таки не хуже, чем по-чумацки, — прямо на дороге.

— Не проспать бы мне и ваш отъезд, — с сомнением сказал Арк, однако стащил сапоги, размотал портянки и кинул на кровать свое коренастое тело, так что пружинная сетка издала звон дедовского сундука.

— Михаил Владимирович, здрастье, — поздоровался я, входя в номер полкового комиссара.

В кокетливой сиреневой маечке Погара, сидя на подоконнике, пришивал неумелыми пальцами подворотничок к гимнастерке. То и дело он подносил руки ко рту, высасывая кровь, а проклятый целлулоид скручивался. «Поссорился с Клавочкой, — догадался я, — трогательно, между прочим». Но вслух похвалил работу. Полковой в ответ что-то замычал. Знал он каверзную привычку своих подчиненных прикидываться дурачками. Погара вздохнул, отложил гимнастерку и, глядя на меня красными от напряжения, сконфуженными глазами, сказал:

— Добрый день. Что у вас? Садитесь и докладывайте.

— Есть один писатель, на которого целится политуправление, а он первоклассный газетчик... И на гитаре здорово играет, — я вдруг вспомнил слабость полкового к самостоятельности. — Потом он одессит, — вспомнил я другую струнку Погары. — И по-немецки стихи пишет...

— Учту, — коротко сказал редактор, — потолкую с армейским комиссаром... Мы с вами в армии, а не...

— Значит, можно ему сказать?

— Погодите. А как его фамилия? Штейн или Берг, вы говорите?

— И то и другое, товарищ полковой. И не забудьте насчет гитары, пожалуйста.

— Погодите, — Погара подумал и покачал головой. — Не спешите и пока ничего Бергу или Штейну не сообщайте. Могут не отпустить, как знающего язык противника. Им нужны переводчики... Ладно, а сейчас можете считать себя свободным. Учтите: сегодня после выхода номера — передислокация...

Он замолчал. Мое лицо вытянулось, и я спросил:

— Опять?

— В Николаев... Только прошу никому пока не сообщать. Идите...

Вбежав в номер, я застал совершенно голого Полякова, беседующего с Арком.

— Познакомились? Отлично! Слушайте оба сюда. Перебазируемся в город Николаев. И второе — Штейнберг будет служить в «Во славу Родины»...

— Ух! Все тут!

Володя приложил руку к волосатой впалой груди — продышался... Он встал во весь рост и надел каску. Мы не смогли удержаться от смеха.

— Несерьезный народ, — заметил Поляков укоризненно. — Как раз такие и нужны на войне. Жаль, не все это понимают... Ой, как хочется сладкого, — сказал он мечтательно. — Баночку сгущенного молочка бы! Пошли в военторг, а?.. — И Вова попытался надеть гимнастерку, а каска не пропускала. Это был спектакль в поляковском стиле. Эстрадная импровизация.

— Володя, — сказал я, — ты, наверное, и без зрителей веселишься?

— С ума ты сошел! Без публики мрачней Полякова нет человека на свете. Жанр... — заявил Володя и начал искать детали своей одежды, заглядывая под кровати и скидывая со стола кипы газет. Под ними обнаружили его брюки с кожаными леями на заду и коленях. Трусы он нашел под подушкой, издав радостный вопль: «Вот они, голубчики мои...» И это была эстрада. Одевшись, он вытащил из полевой сумки флакон с резиновой трубкой, опрыскал себя и нас необыкновенно резким одеколоном и сделал общий реверанс. Спектакль окончен.

Мы вышли на улицу, дымящуюся от жары. Аркадий не согласился идти в военторг:

— Я же в дезертиры попаду! Надо явиться в седьмой...

Друзья проводили Арка, наказав ему вернуться к обеду, а сами пошли искать магазин с зеленой вывеской. В душной и темной лавчонке мы, верней Вова, приобрели картонные елочные украшения — зайчиков, бабочек и белочек, высеребранных, плоских и малопохожих на украшения. Володя настойчиво шарил по полкам и испустил вопль радости, увидев коробочку с надписью «Бенгаль-

ский огонь». Все это было тщательно уложено в ту же полевую сумку, раздутую, как чемодан.

Володя был очень доволен и доказывал свою предупредительность:

— Илья! Мне стыдно, что ты никогда не думаешь о таких днях, как Новый год. Я обожаю праздники. И конечно — детские игрушки... Я был капризным ребенком, понятно?..

О Новом годе в такую жару и думать-то почти невозможно. И как далеко от Нового года! Какой он будет для нас, для страны? И для кого он наступит?.. Не стоит, право, загадывать.

И все-таки, все-таки... Мы вернулись в гостиницу для того, чтобы выслушать попреки Урбанова:

— Я уже вещи вынес, друзья-приятели, а вы чикаетесь. Помяните — все это не к добру...

— Да ты брось, Урбаныч. «Капитан, капитан, улыбнитесь», — спел я.

Очень скоро мотоколонна спецмашин вырулила на Николаевское шоссе, то самое, где мы с Арком встретились.

В Кривом я потерял Арка, он обнаружился уже в Ворошиловграде много времени спустя. Так я и не понял толком, почему Арк не пошел работать в газету. Моя память ведет себя странно, — годами хранит никчемную чушь, какие-то числа и номера телефонов и ухитряется начисто забывать важное...

Говоря откровенно, я так и не знаю, не уверен в том, что все это происходило на самом деле. Сомнителен год. Впрочем, после девятнадцатого это не могло случиться. С другой стороны, прошло черт знает сколько лет, пока вдруг все происшествие не всплыло в моей голове. В общем, не то в марте, не то в апреле какого-то года, как полагается, днем снег таял, с крыш капало, солнце светило не только с неба, а отовсюду: отскакивало от уцелевших стекол со страшной силой, плавило тротуары и заборы (тоже уцелевшие от разрухи), — вообще все словно плавало в солнечном масле, ярком до рези в глазах, до появления черных пятен, если зажмуриться... И воздух был такой особенный — не то солнечный, не то ледяной, — даже чуть больно дышать. Очень чистый воздух. Думаю, что никаких автобусов и всех этих автомашин тогда не бегало, даже трамваи редко-редко ходили, а улицы так

долго не убирались, что приобрели какую-то полевую, степную дикость. Или это потому, что мне было пятнадцать лет, и я был постоянно голоден, как волк, до легкого приятного головокружения. Те, кто моложе меня, — должны были хоть раз в жизни испытать подобное ощущение: оно бывает у людей в марте, на переломе зимы к весне.

Вот эти впечатления от света, от воздуха, от голодного замирания в голове — похоже, будто ты выздоровел, — могли создавать что-то вроде миража. В дымке еле-еле трепетавшего предвесеннего дня улица Воздвиженка казалась широкой, как река, где берегами стояли ряды домов. А какие они были, эти дома, я и не помню и не видел в тот день. Может быть, видел, но позабыл, когда случилось все это. Да! Надо сказать, что я был мал ростом для моих пятнадцати лет (через год я вырос, наверно, на полметра), рукава отцовской куртки приходилось подвертывать внутрь, а кожанку запахивать так, что пола заходила под мышку. Но не было комсомольца и комсомолки в то время, которые не мечтали бы о том, чтобы щеголять в этих доспехах воинов пролетарской революции, пусть они не так новы и не так скрипучи и пахучи. Человек в кожаном становился выше, подбористей, энергичней, чем в неуклюжем пальтишке или в так называемой шубе, какие раньше изготовлялись с единственной целью — так укутать тело, чтобы оно полностью утратило очертания и гибкость, абы теплее, абы в сон кинуло: вот это действительно шуба! А в кожанке, кажется, и слышишь лучше, а уж ходишь наверняка стремительнее, особенно в мороз. В запахнутой и стянутой ремнем кожанке за поясом штанов впирался в живот тяжелый наган, — все время чувствуешь свою вооруженность, не забываешь ни на секунду. Дома у меня был карабин — вроде японский, две «лимонки»-гранаты, пугавшие мою маму до обмороков. Я мечтал о пулеметной ленте: вот бы обмотаться крест-накрест!..

Никак не подойду к самому происшествию, пока все нужные и внутренние признаки той поры не станут вам сколько-нибудь ясны и ощутительны.

На тротуаре лежала тень большого дома, и я вошел в нее, моргая ресницами, на которых сразу сгустился липкий иней, а ноздри оклеивались при каждом вдохе. Но отсюда, из тени, еще сильнее горел мартовский день, еще плотней стала дымка, дрожащая над тающим снегом. Сквозь эту дымку я увидел двоих. Одни — весь в хрустя-

щей черной одежде (куртка, штаны, сапоги); донесся едкий казарменный запах, всегда опьянявший меня. Этого мужчину я заметил и охватил взглядом сразу всего. Даже фуражку, тоже кожаную, новенькую, одобрил про себя: «Правильный комиссар!» Вот только очки... Да ведь сам я близорукий с детства. Вдруг понял: знаком мне этот комиссар, так знаком, что сердце заколотилось где-то над паганом. Это был Свердлов. Ну, кто его не знал по портретам? Они подходили все ближе к самой границе тени, где солнце всего ярче. Смеялись. Другой здорово хохотал, аж отдавалось на другом берегу улицы. Он как раз был в шубе — неуклюжем, презренном одеянии штатских. И шапка скучная, обыкновенная шапка. Честное слово, он был в калошах. Прямо скажем, Свердлов «забивал» его своей комиссарской красотой, может быть, в силу того, что уж очень много завидных и желанных вещей на нем было. А его собеседник захохотал, увидев меня. И они остановились на самой границе тени. Свердлов сказал: «Закрой рот, мальчик!» Я еще не успел обидеться за «мальчика», как узнал спутника, все еще смеявшегося. Товарищ Ленин, живой Ленин, смотрел на меня, и ничего, кроме этих добрых глаз, усов и бородки, я больше не видел и не хотел видеть.

Потом, спустя долгое время, я понял: на Воздвиженке, на этой стороне, помещался ЦК партии. Они, наверно, гуляли, Свердлов с Владимиром Ильичем. Им, наверно, тоже нравилась эта погода, а возможно, и смешной мальчишка в непомерной куртке, с разинутым ртом. Никогда впоследствии я не видел вождей так близко. Никогда и никто так славно не смеялся. А за то, что Свердлов назвал меня мальчиком, я все-таки обиделся. Это чувство помню вот почему. Они двинулись дальше, еще ближе ко мне. И тут Свердлов поскользнулся, проехал шага два на одной ноге и упал. И Ленин протянул ему руку, небольшую сильную руку, и продолжал смеяться, говоря: «Революционер обязан крепко стоять на ногах». И то, что Ленин от души смеялся, прогнало мою дурацкую обиду.

А Свердлов, встав на ноги, обтянул куртку и поправил пенсне — да, он носил не очки, а пенсне. И они пошли дальше. И Свердлов раза два оглянулся на меня, все еще бывшего в каком-то столбняке. Первый раз он глядел смущенно и раздосадованно. А во второй раз сам засмеялся и показал себе пальцем на рот: то ли хотел опять

сказать, чтобы я закрыл свой. А может, намекнул: не болтай, дескать, об этом случае.

Прошло больше сорока лет, и я, понимаете, разболтал...

Как мы ехали из Кривого в Николаев, хоть убейте, а не помню ничего, абсолютно ничего, кроме въезда в город. Мы уже были почти в центре, как вдруг заахали зенитки и раздался характерный свист падающих бомб. Кое-кто, напуганный одесскими бомбежками, соскочил с грузовика и с криком «Бомбят!» кинулся к первому большому дому. Дикая глупость.

Хуже всего переносится воздушное нападение в крупном населенном пункте. Грохот сильнее. И главная опасность — разрушающиеся здания. Быть в доме во время налета и падения бомбы — значит подвергнуться особому риску. В поле — куда легче. Даже находиться на пятачке, то есть в пределах самой мишени, и то меньше вероятности прямого попадания: поразить цель, да еще охраняемую зенитной артиллерией, с первого захода обычно невозможно. А стены и потолки домов, даже стекла окон — все грозит смертью или очень тяжелым ранением.

Бог мой! Как долго я на этом свете, и не взяла меня ни скарлатина, ни пуля. Кстати, я ведь был контужен взрывной волной на днепровском побережье тем же летом сорок первого и после войны забыл об этом начисто, лишь недавно напомнили мне это тягостные недуги, поразившие правую сторону тела... «Но в конце концов, ребята, — ведь живой, живой, живой!»

А самолеты палили в меня с бреющего полета, бомбили всеми видами гнусных боеприпасов, а я говорил:

Но когда я рифмой занят,
Пусть стреляют и таранят,
Пусть бомбят, идут в пике, —
Все стерплю с пером в руке!

Возвращаться же в южный августовский фронтовой Николаев из декабрьского Подмосковья приказывает мне вдохновенье, самое обыкновенное состояние, «когда я рифмой занят».

Войдите в мое положение: и вам, если захотите, придется испытать то, что творится со мной. А я хочу, чтобы вы захотели. Хочу! До зарезу! И вот с этой самой стро-

кой давайте влетим в жаркий город. Возможно, что нас обстреляют и обгрохочут свои же зенитки — отличные наводчики морских батарей. Мы не пробудем там лишнего времени, через неделю придется выбираться с окраины Водопоя, пробиваться на одну из трех дорог вдоль лимана. Но за эти дни я проведу вас в госпиталь, где лежат молодчики из эсэсовских дивизий. Потом съездим в село Новая Одесса и с трудом вернемся в Николаев. А неужели вы откажетесь сгонять в летнюю школу? А в штаб Днепровско-Бугской флотилии? Бывшей Днестровской? Бывшей Дунайской непобедимой.

Если кто-нибудь решит, что ему придется побывать в нескольких разных военных частях, — то он ошибается. Я говорю об одной и той же флотилии, но на разных стадиях ее существования. В этой флотилии действовали речные корабли, — я не специалист, но помнится, что военные суда такого типа называются катерами. Их артиллерия не крупнокалиберная. Они достаточно маневренны, чтобы увернуться от воздушного противника. А для внезапного налета на береговые объекты и перевозки пехотного десанта — вполне подходящие скорлупки.

В первые недели войны Дунайская флотилия совершила рейд из Севастополя, вошла в дельту Дуная и действовала в низовьях дерзко и успешно, как вообще умеют черноморцы. Со стороны Прутского левого бережья ударили наши полевые войска, и в Румынии поднялась паника: боярство спешно удирало в Европу, даже из Бухареста. Потом нам приказали оторваться от противника и отвести «живую силу».

Отрываться так отрываться, и начался отход. У Днестра дунайские кораблики переименовали в днестровские, а когда отошли к Николаеву — в бугские...

Я не смог побывать на катерах и познакомиться с отчаянной братвой. Береговых зенитчиков я описал раньше в главе об оранжерее. Многие из них, подобно хлопцам из флотилии, были переброшены на противовоздушную оборону Николаева. Проектористы давали прикурить асам в николаевском небе, наводчики щелкали их как семечки, а мы радовались успешной работе ночных фейерверков над городом и морем.

Первых немецких пленных я увидел в николаевском

госпитале. Мы пришли туда с товарищем Куртом — приятелем Арка из седьмого отдела. Курт знал психологию гитлеровского солдата и, не скрывая от пленных, что имеет офицерское звание, пользовался автоматизмом, заложенным в натуре фрицев, отличной реакцией на команду. Он командовал, входя в палату, где раненые фрицы при звуке властного командирского голоса мгновенно вытягивались во фронт, даже лежащие. Курт говорил «вольно» и подсаживался поочередно ко всем койкам. Я тоже переходил от одной койки к другой. Молодые воспитанники гитлерюгенда с любопытством наблюдали за лицом советского командира, то есть моим, а я с неменьшим интересом всматривался в их физиономии и вслушивался в их голоса. Они понимали, что их военная служба закончена. Более того, они чувствовали, что их не уничтожат «эти большевики», и отвечали Курту, как мне показалось, слишком спокойно, с некоторой наглостью в интонации. Здесь, в палате, они были ухожены, одеты в чистое белье. Только одно их смущало и беспокоило — это налеты их собственной авиации, несмотря на то что над госпиталем было обозначение — красный крест. Видимо, все они знали, что немцам плевать на всякие конвенции.

Курт беседовал кратко, без агитации, иногда резко обрывая наглаголов. Но с одним малым, болезненным с виду, у него сложился другой тон разговора. Это был столяр из Берлина, земляк Курта, и они начали вспоминать мирный Берлин вплоть до пивных и кафе.

Этот столяр сказал, между прочим, что начальство внушало солдатам, будто в случае проигрыша этой войны Германия повторит все в 60-х годах с новым контингентом войск... А ведь эта война только что началась! Значит, где-то они допускали возможность провала блицкрига? Интересно!

Есть у меня один снимок. Стоят трое в морской форме (среди них — я) на какой-то площади Николаева. Вот ныне покойный поэт и переводчик Саша Ромм. Его тонкое красивое лицо хмуро. Рядом круглая ряжка — давний мой приятель. Он в цветущем состоянии, очень воинствен. Юноша с лейтенантскими шевронами — репортер севастопольской флотской газеты, впоследствии героически погибший. И — я... Позади туманные очертания домов. Я провел с этими моряками несколько часов. Меньше недели прошло с

момента этого снимка, а город был сдан без особого сопротивления, если не считать его роковых минут, о чем я еще расскажу.

Что такое страх? Нет совершенно бесстрашных людей. У подавляющего большинства живых существ страх и беспокойство за свою сохранность занимают главное место среди других эмоций. Называется это чувство инстинктом самосохранения и является врожденным и усовершенствованным за миллионы лет эволюции. Это всем известно.

О запахе страха я еще не читал ни строки во время войны. Но с первых дней сознательной жизни убедился, что трусость — крайне плохой союзник в любой опасной ситуации.

Если бы даже тогда, на фронте, я знал, что испуганный человек распространяет или излучает некие волны, это знание ничего не изменило бы в моем поведении: я делал дело, и мне удавалось быть им поглощенным.

Коль хочешь стать бесстрашнее,
Чем был ты весь свой век, —
Отбрасывай вчерашнее:
Ты — вольный человек.
Терять тебе, брат, нечего —
Ты пиц, идти легко.
До сердца человеческого
Совсем недалеко...

Не дали нам хорошо подружиться с Николаевым. Мне, Володе и поэту из Винницы, Сашко Леваде, приказали сесть в «эмку», придали нам новичка корреспондента москвича Мартына Мержанова. И мы поехали в село Новая Одесса, расположенное вдоль Южного Буга.

Шофер Захар Супенко развернулся во дворе типографии, и машина взяла курс на Бугский лиман. Пробриться навстречу отступающим частям удалось с большим трудом и опасностью для жизни.

В оцепенении мы проследовали по мосту, выкатились на дорогу. Перекурили и наконец начали обсуждать поло-

жение Николаева. Тревожило встречное движение войск, — шла, по-видимому, целая армия, и шла к Николаеву, а потом — к Днепру. Однако нас послали в обратную сторону — вероятно, туда, где отдельные соединения, может полки, держали оборону и сковывали наступающие дивизии гитлеровцев, отвлекая на себя авиацию и танки.

На всякий случай нам назвали следующий пункт перебазирования редакции — Сталино. Вдруг да мы вернемся в Николаев и уже не застанем «вославуридинцев». Надо сказать, что мне и Полякову с Левадой дали тему — «Как отстояли мы город Николаев».

Мрачно беседуя, подкатили мы к Новой Одессе, селу, которое растянулось на восемь добрых километров с гаком. Это село в нескольких местах пересекали овраги или, как их зовут на юге, балки. В одну из таких балок завез нас Супенко, потому что над Новой Одессой носились немецкие самолеты, по площади села били орудия противника, между хатами рвались снаряды. Надо было понадежней укрыть нашу «эмку». Балочка извилистая, как все балки. Ее дно, если можно так выразиться, находилось в мертвом пространстве.

Решили разойтись попарно — искать какие-либо штабы. Левада повел новичка Мартына по центральной улице, а я и Володя шли вдоль балки. Она выводила в открытое место, то ли огород, то ли луг, и нам пришлось тут же сменить ходьбу на ползанье. Над нами свистели пули и осколки. Из густого и высокого бурьяна почти ничего не просматривалось.

Неожиданно метрах в трех от нас раздалась артиллерийская команда. Оказывается, мы выползли на огневую позицию батареи с окопчиком, отрытым в свежей желтой глине. Командовал старшина, судя по акценту, армянин. Зазвенело в ушах, запахло кислым, брякнула гильза. Старшина оглянулся и увидел нас, потом посмотрел в направлении ствола, и мы — туда же. Но, кроме пестрой коровы, которая паслась в ста метрах от нас, ничего не увидели. Здесь же, на огневой позиции, рядом с окопчиком, в этой глине, за полчаса до нашего появления был схоронен наводчик орудия.

— Где штаб? — спросили мы у старшины.

— Полка или дивизии? Дивизии — не знаю, а штаб Браиляна, — сказал он с гордостью за соотечественника, — вон там. — И он показал рукой на корову.

...Если вам никогда не приходилось передвигаться лежа, сообразуясь с такими звуками, как свист пуль и шипенье осколков, не приходилось вовремя опускать голову на землю и останавливаться, то стоит однажды проделать такой рейс, — уверяю, что вы научитесь на всю жизнь.

Я — впереди, несколько сзади — Володя Поляков ползти в указанном направлении. Время от времени мы нащупывали в траве телефонный провод, ведущий к штабу Браиляна. Иногда над нами с порхающим воем проносился снаряд с батареей, от которой начался наш рейс, но мы знали, что орудия бьют по меньшей мере на пять километров, и понимали, почему корове не угрожала гибель. Было ясно, что Браилян где-то поблизости, хотя Володя потом уверял, что мы ползли полдня. Он был не так опытен, как я. Он обучался в свое время конному спорту, а не пехотному труду. Кавалеристы, известно, терпеть не могут извиваться, как черви. Им, говорят, все мешает — от клинка, путающегося между ног, до этой ихней кавалерийской гордости...

День был знойный, нестерпимый для ползунов, пот заливал с головы до кончиков пальцев на ногах. Ноздри втягивали миллионы запахов — цветочных, земляных, травяных, огородных и пороховых. Летали шмели, и я, признаться, их боялся больше, чем пуль и осколков. Провод натер ладонь до отчаянного зуда, а надо ползти еще...

Я не кокетничаю и не рисуюсь. Человек выполняет боевое задание. Он живет только настоящей минутой и лишь той целью, к которой стремится. Он ползет под осколками и пулями и не думает о том, что его могут убить. Особенно человек эмоциональный. А я — как раз эмоциональный. Я вижу корову, боюсь летающих насекомых, ползу и думаю, что мне надо доползти. О смерти не думаю. Осмысливаешь свое поведение потом, спустя долгое время. «Прожить бы мне эти полмига, а там я сто лет проживу!» — восклицает поэт. Как видите, я не один.

Кончались зеленые травы. Я приподнял голову и увидел, что выполз на нормальный крестьянский двор. На меня уставилось несколько пар куриных красных глаз. Впрочем, сейчас же оглушительно крякнуло неподалеку в бурь-

яне, и птица с воплями разлетелась по двору. Полоп рот пыли. Скрипит на зубах. Оглядываюсь — Володя далеко позади. Но ждать опасно. Вижу шнур, путеводный кабель. Он убежал вперед и нырнул в дверцу погребца, — какой-то этап нашей операции завершался... Стоило мне сумасшедшим прыжком преодолеть последние два метра и нырнуть за проводом в погребок — снаружи о дверцу забарабанил металлический дождь. Некоторые осколки, вонзаясь в дверь, запели точь-в-точь как язычки музыкальной шкатулки...

Я здорово ушибся. Блиндаж был довольно глубокий. Прохладно! Удивительно легко дышится после наружной жары и напряжения. Глаза отдыхают от ослепительных красок украинского дня, привыкая к глубокой полутьме подвального. Прихожу в себя, когда сверху раздается тяжелый удар, — тряхнуло весь блиндаж, и песок зашелестел по стенкам... Вдруг вверху приоткрылся неправильный четырехугольник двери, пропустив массу света, пыли и человеческую фигуру, мгновенно оказавшуюся рядом со мной. Дверца осталась распахнутой, как театральный люк, заполненный лазурью, и снова погребок вздрогнул от еще более тяжелого грохота снаружи... Когда перестало звенеть в ушах, до сознания дошел взрыв тяжелейшего фронтального мата:

— Закрывать за каждым, вашу мать...

Володин голос показался мяуканьем:

— Вы с ума сошли! Человека чуть не накрыло. Впрочем, извините. Сейчас закрою...

Володя на четвереньках вскарабкался по вертикальной лестничке и с трудом, высунувшись наружу, захлопнул дверь, в которую немедленно, после очередного грохота, впились сотни музыкальных иголок...

— Здравствуйте, товарищи! — прокричал мой друг.

Никто не ответил. Человек семь сидели на корточках возле косоногого столика с коптилкой, которую после каждого разрыва снаружи кто-нибудь с невероятной руганью зажигал. В тусклом свете мы разглядывали мрачные желтые лица сидевших командиров. Нас не смущали враждебные взгляды и нежелание общаться.

— Что у вас тут смешного?.. — вдруг опять прокричал Володя.

В ответ мы слышали лязг взводимого автомата и самое зверское проклятие:

— Ты кто, твою апостола перепроколдрбр...

С воплем я кинулся вперед и заслонил собой Володю:

— Товарищи, мы из отдела юмора фронтовой газеты!

Еще более угрожающее безмолвие. И... взрыв хохота:

— Ах, чтоб тебя! Надо же. Ему смешного захотелось?
О-хо-хо!

Смеялись все, пока человек с черной бородой не высморкался и не утер слезы:

— Чуть не расстрелял тебя, дорогой. Нам давно не до смеха. Письмо написали командующему. Комиссар, дай-ка письмо...

Командир с завязанной шеей достал сложенный вдвое конверт и протянул Полякову дрожащей рукой. Ему, очевидно, стало больно от этого движения.

Все эти люди безумно и давно измучены. Который день сидят они в этом страшном полумраке, который день их полк ведет неравный бой с наседающими танками, с тяжелой артиллерией — принимает все это на себя, на несколько десятков пулеметов и пушек, во имя сбережения наших главных сил, отходящих вдоль Буга к Николаеву.

— Давайте познакомимся все-таки, — добродушно сказал комиссар. — Моя фамилия Карелин. Вы говорите — газетчики? Мой брат в «Комсомолке» служит... Вот тот, с бородой, товарищ Браилян, командир полка.

Браилян закурил и, глядя на Полякова, опять неожиданно захохотал, кашляя и повторяя:

— Ах, чтоб тебя... Ему, видите, смешно... Простите, друзья, а вы ели что-нибудь? Не ели. Ну, тогда перетерпеть придется до темноты. Фрицы дают нам поужинать. У них, знаете, регламент строгий. А в светлое время очень плотно действуют... Ваша фамилия, смешливый товарищ?

— Поляков, — сказал Володя, пожимая руку Браиляна. — Вы уже на нас не сердитесь, правда? Скажите, пожалуйста: «Я не сержусь!»

— Я не сержусь, дорогой... Нервы, конечно.

Наше знакомство шло под почти непрерывным обстрелом; периодически пищал зуммер полевого телефона, и дежурный связист хрипел: «Я Трава... Я Трава... На проводе Первый», — и передавал Браилян трубку. Браилян слушал, то кивал, то отрицательно мотал головой и,

взяв микрофон трубки в бороду, очень тихо что-то говорил.

Периодически, после очередного грома над штабом, гасла копилка, и так же аккуратно кто-то из штабистов вновь поджигал черную тряпочку, зажатую в промасленном горле гильзы.

Над нами, на всей площади восьмикилометрового села, рвались снаряды и мины, бухали бомбы «юнкерсов». Стреляли малочисленные орудия батарей Браиляна, звуки, которые отлично знали и различали все сидящие в погребе: когда проносилось порхающее гуденье, кто-нибудь из штабистов подмигивал нам и показывал большой палец: «Смотри — как хорошо! Он еще жив, сукин кот!..»

... А Супенко ждал своих пассажиров в балочке — в низинке. Где-то бродили Сашко Левада и Мартын, а может, они давно не бродят — могли попасть под пулю или осколок...

Наступил вечер, и штабисты вместе с нами вышли из своего КП во двор к курам, устраивающимся на ночлег. Оттуда мы шли садами к шоссе, белевшему во мгле. Дорога ожила, заговорила, даже запела: попутно и навстречу нам попадались в одиночку, попарно и группами новоодесситы. Они возвращались к своим хатам, в свои дворики и садочки, чтобы покинуть их на рассвете и уйти в степь от обстрела и бомбежек до нового вечера.

— Живут, — сказал Браилян, — приспособились.

И во мне что-то словно прихватило в самой середине совести. Я с трудом устоял на ногах, так ударило меня это слово: «Приспособились!» Нет, нет, он, честное слово, не прав.

То есть он хотел сказать не то. Разве можно приспособиться к войне? Тот, кто хочет выжить, всеми средствами отстраняется, избегает, уклоняется, прячется, уходит как можно дальше от страшных переживаний, не хочет ничего знать и понимать, кроме собственного «выживания». Ведь эти жители уходят из своих обреченных жилищ только в дневное время, а вечером возвращаются и готовы увидеть пожарище, пепелище... Какое же тут приспособленчество? Неправильно говорит этот героический человек, «приспособившийся» к многодневному пребыванию в гуще огня, к заботе о своих товарищах, к стоянию насмерть, наконец, в предвидении смертельного сражения после стольких невы-

посимых дней, каждый из которых состоит из роковых секунд... Но ведь он тоже только и жив настоящим — выполнением задания, достижением цели. Громкие слова ему чужды. Он просто человек, очень большой человек!

— Ну, юмористы, — говорит он и берет меня под руку, — сейчас будем сразу обедать и ужинать. И авансом позавтракаем...

И Браилян смеется, довольный своей остротой.

В темном ароматном саду мы уселись на расстеленной под яблоней плащ-палатке. Всегда буду помнить волшебный вкус творога с помидорами, которые брали из двух алюминиевых тазов. А совсем глубоко в тени иногда попискивал полевой телефон, телефонист дул в трубку и хрипло шептал: «Я Трава...»

Над всем этим пиршеством колыхалось черное бархатное небо с круглыми, как яблоки, звездами, и регулярно, через каждые полчаса, то справа, то слева, то спереди, то за нашими спинами бухал тяжелый снаряд.

Браилян пошевелил пальцами в тазу, выбрал помидор помягче, прикусил, втянул добрую половину, потом вытер бороду и объяснил:

— Беспокоящий огонь...

Ужинали неторопливо, с чувством. Комиссар Карелин расспрашивал о своем брате. Поляков и я говорили, что он очень способный и перспективный парень. Потом комиссар перевел разговор на литературу и посетовал, что никто не пишет «Героя нашего времени».

— Откуда у них возьмется новый Лермонтов? — съехидничал Браилян. — Разве что на собрании выберут и поручат...

— Первого к проводу, — вмешался связист, и Браилян, всунув трубку в бороду, что-то зашептал и забыл про Лермонтова.

Комполка закурил, сложив из ладоней фонарик, затянулся и осветил папироской циферблат ручных часов:

— Ого! Двадцать три ноль-ноль... Комиссар, будь добр, собери-ка ты мне...

И у них пошел свой разговор. Я взял за рукав Володю, и мы тоже стали сощещаться, что делать дальше. Прежде всего надо найти Супенко с машиной и остальных товарищей.



Попрощались с командованием и стали выбираться на южную окраину села. Превосходно светила луна, и чернели таинственные тени пирамидальных тополей.

У самого шоссе нам бросились в глаза кресты новоодецкого погоста, а между ними — мраморная плита, большой прямоугольник, светлый-светлый от луны. На плите сидел военный, похожий на надгробную статую. Завидя нас, он схватился за кобуру. Я, как многие близорукие, к темноте привык сразу и узнал новичка Мартына:

— Вы что делаете? А где Сашко? — спросил я.

Мартын пожал плечами и растерянно ответил:

— Жду.

— А Сашко?

— Ушел искать машину. И куда вы ее запрятали? — тревожно сказал он Полякову. — И вообще я ничего не понимаю. Страшно устал. Слава богу, меньше стреляют... Вы меня, пожалуйста, не оставляйте одного. И потом тут кладбище...

Хорошо, что было темно и бедняга Мартын не видел наших снисходительных улыбок. Володя сказал одобрительно:

— Молодец, выбрал отличное место для всех частей. Вот вы с Ильей посидите на могилке, а я разыщу Супенко и Сашко. Куда эта чертова балка запропастилась? Совсем забыл... Ждите и слушайте. Мы вам погудим с шоссе. Пока.

Володя скрывается, а мы уселись на мраморе. Мне хотелось молчать и размышлять. Новичок же нервничал, боялся огня от спички, когда я закуривал, охал, что у него все мышцы болят, и, между прочим, пожаловался:

— Этот ваш Поляков какой-то ненормальный. Вы не находите, что у него сумасшедший блеск в глазах?

— Не нахожу. А может, я уже привык? Ко мне тоже есть претензии?

— По-моему, вы не сумасшедший. И Сашко обыкновенный.

— Просто-напросто Володя очень храбрый человек и думает, что все такие же. Вы не волнуйтесь — все это пройдет у вас. Хотите, я вам стихи прочту? Любите поэзию?

Мартын очень удивился:

— Неужели в такой ужасный, длинный, бесконечный день вам еще нужны стихи?

Помолчали. Потом где-то, куда ушел Поляков, ухнул очередной «беспокоящий» снаряд. Прошло не меньше полчаса ожидания.

Вместо раздраженного снисхождения — на что пастираивали нервозность и наивная откровенность нашего новичка — я испытывал к нему все большую симпатию. Приятно общаться с людьми непосредственными и открытыми.

В боевой обстановке я предпочитаю откровенного новобранца. Всегда очень хочется оправдать его доверие к тебе, к твоему опыту, его уважение, его интерес к окружающим. А все прочее, начиная с внешнего вида, придет вместе с обстрелянностью, и становятся новички нормальными, хорошими бойцами, если случается и героями, но во всех случаях — отличными товарищами.

Каким наивным пришел на финский фронт ленинградец Володя Поляков, избалованный ранними успехами на эстраде и в театре! Но непосредственность и желание у всех учиться, даже крохотному опыту, благодарность самая чистосердечная ко всем нам покорили меня и убедили скептиков. «Поляков! — говорили о нем даже самые бывалые. — Ему, наверно, юмор помогает? Боевой мужик!..»

Сидели мы на этой кладбищенской плите долго. Мартын привык к моему курению. Перестал вздрагивать. Я видел, как он потрясен своим первым выходом в бой.

— Сколько раз пришлось упасть и вскочить... Надо же. — Разбил, — показывал Мартын руку, на которой вместо часов остался ремешок с задней крышкой...

Я, как мог, успокаивал, превращал в шутку его маленькие досадные происшествия, прибегаю даже к анекдоту:

— Помните папашу с мальчиком, который проглотил самописку?..

Мартын впервые бледно ухмыльнулся:

— А! Карандашом будем.

— Что касается часов, то фрицы отбивают выстрелом каждые полчаса, — сказал я очень серьезно.

И Мартын, я видел, в это сразу поверил.

Опять заговорили о Полякове.

— Наверно, я ошибся, — заявил Мартын, — этот Сашко — типичный хохландец, слишком хладнокровный. На его, так сказать, фоне ваш Володя выглядит бесшабашным любителем сильных ощущений. А мне даже завидно: вы — такой очкарик и все-таки адаптировались в настоящем аду. А если бы разбили? Что же вы стали бы делать без очков?

При этом вопросе я машинально пошарил в своей полевой сумке: слава богу — тут. Обрадовался, нащупав оправу запасных очков.

— После финского фронта запасную пару держу в сумке, а третья лежит в редакции. Вот если придется надеть противогаз, то плохо. Наверно, с простыми стеклами долго не повоюешь...

Ночь колыхалась над новоодесским кладбищем. Звезды и созвездия медленно передвигались над нами. Немецкие орудия отсчитывали время. Тянуло освежающей прохладой, и мрамор, нагретый за день, остывал... Мы замолчали. Вдруг я услышал гудок автомобиля с шоссе: Оглянулся и увидел прикорнувшего к плите Мартына. Он спал, иногда подергиваясь, как щенок. «А мне снится довоенное», — подумал я и стал осторожно его будить. Мы встали и пошли, спотыкаясь о холмики, к нашей «эмке», которая гудела настойчиво и непрерывно.

— С добрым утром, — поздоровался Поляков, — светает уже. Заедем в штаб дивизии, проориентируемся. Не нравится мне эта идиллическая тишина украинской ночи. А тебе, Сашко? Смотрите! Этот тип спит. Как сел, так и припух... А я их долго искал, штук пять балок обследовал. Только по храпу я нашел автомашину. Сашко, не храпи...

Мы болтались где-то в районе Ингульца — речки, чем-то очень известной по древней русской истории в связи с монголами, а может, половцами, — не мое дело углубляться в века. Да и не давали обо всем таком задумываться немецкие орудия. Они вступили в дело со всей своей германской методичностью. Над местностью с ее балочками, придорожными тополями, заросшими ряской и камышом, излучками и заводами Ингульца, стрекоча пулеметами, носились черные «мессеры», а выше их — двухфюзеляжные разведчики и корректировщики. Стало так светло, что огонь приобрел целеустремленность, — столбы земли и дыма воздвигались то на перекрестках и у поворотов дороги,

то вдоль лесопосадов, где могли укрываться наши танки, автомашины и конные повозки, то в низинках, пригодных для стрельбы с закрытой позиции,— словом, противник изучил и контролировал пространство перед собой досконально, с прусской дотошностью.

С трудом мы нашли штаб дивизии, которому подчинялся полк Браиляна. Штаб этот не имел возможности даже одни сутки посидеть на месте. Заместитель комдива сказал:

— Похоже — Николаев на волоске.

Мы переглянулись:

— А можно посмотреть на карту?

Полковник, седоволосый, с красными от бессонницы веками, молча показал глазами на стол, но растягивались зенитки, и он, надевая каску, ушел на улицу.

Решаем: лучше вернемся на шоссе. Журналистам вроде нас, с первых дней войны связанным с жизнью фронта, не хуже, чем штабистам, были понятны особые признаки ухудшения или облегчения обстановки.

— Пахнет керосином,— заметил Володя, едва мы уселись в машину и растолкали Мартына и Сашку, чтобы и они поняли, почему запахло керосином.— Нах хаузе!

Супенко мигом снялся с тормоза, и наша «эмка» пошла вилять по проселкам, пока не выкатилась на шоссе. Меня не укачало как обычно, но от толчков и тряски что-то перестроилось в странном механизме памяти. Вдруг совершенно отчетливо представляли картины моей жизни в зауральском районе, когда я надолго отвык от гражданского платья и обуви и от спокойной городской жизни. Я видел себя в Ялutorовске, за две тысячи километров от Южного фронта. Работники политотдела назывались там бойцами трудового фронта. Я ходил в сельскую баньку с наганом, который клал на подоконник, пока мне не надоело отовсюду ждать кулацкой пули. И хотя над головой не было «мессеров» и «Ю-87», не рвались снаряды, все-таки и там был фронт.

Обратную дорогу до Николаева я позабыл из-за пестроты мыслей и образов, из-за желания отдохнуть и невозможности оторваться от плеча водителя. Вместе с этим я отчетливо видел не только прыгающую в смотровом стекле белую ленту шоссе, но и свой обшарпанные сапоги (здорово портится обувь при переползании!)...

Сквозь гул мотора слышен храп моего товарища, а может быть, всех троих... В октябре мне стукнет 38. Сегодня

ня — август. День летний и летный; «мессеры» гонятся за отдельными машинами, немецкие гаубицы молотят вовсю, и до моего дня рождения каждую секунду может случиться непоправимое, самое обычное на войне. Лучше думать не об этом, а об Ялуторовске, таком далеком во времени и пространстве.

Моя московская жизнь и мой московский дом, моя семья казались мне тогда совсем на другой планете, по ту сторону взаправдашней жизни, без постоянного угла, крыши и постели, без привычных обязанностей, без знакомого круга людей, с нормальными, по городской норме, природными условиями, почти вне зависимости от смены времен года — то есть надежными. Там меня считали поэтом: «сочиняет стихи, выступает на собраниях, ходит по редакциям». И я был уверен, что все правильно, даже моя тоска по беспокойной и неустроенной жизни — о чем я и стихи писал («Вернись, вернись, бессонница — молодость моя. А молодость сторонится, и сплю как мертвый я»). Словом, все как у людей...

До конца постигнуть хотя бы две из множества комбинаций калейдоскопа памяти можно, как утверждает Эпикур, лишь воображительным броском мысли...

Возвращаемся в Ялуторовск тридцатых годов, и везут нас шофер ялуторовской МТС Пустовойт и водитель фронтальной редакции Захар Супенко. И мне одновременно тридцать семь и тридцать.

Теперь кажется, что от тридцать четвертого до сорок первого года не слишком-то далеко. А на самом деле — ого-го! Две большие разницы, говоря по-одесски. И все же тот МИР как-то komponуется с этой ВОЙНОЙ. Привыкаешь и к седине...

Жужжит мотор редакционной «эмки», а мне слышен сквозь семилетнюю волну времени шум весенней воды, коричневой талой воды в решетках уличных водостоков. Вокруг меня — мой город, моя апрельская Москва. Откровенно сказать — я люблю московскую зиму, а не весну. То есть я не любил весны, когда жил в Москве. Сегодня — другое дело: в знойной и безвоздушной степи приодесского юга так захотелось, хотя бы памятью, перелететь в бело-

каменную, брести по набережной и вдыхать свежий ветер с идущего по реке можайского пасхального льда...

Сейчас кажется, что я был чересчур беззаботен. А на самом деле... Должна была прерваться моя аспирантская спокойная жизнь, связь с литературной братией и, видимо, с самой литературой. Остановили на бегу и повернули лицом... к деревне. Как я скажу об этом дома? Мать больна с прошлого года. Жена останется с маленькой дочкой... Главное, этот поворот в судьбе называется по-военному — мобилизация. Надо — значит, надо. Отец-то поймет и примет как нужно: тоже солдат партии. С моей женой навряд ли все будет просто. Она — известный деятель искусств. Она наотрез отказалась зарегистрировать наш брак: «Хочу быть свободной!» Права она, а не я... Уж не так-то беззаботен тридцатилетний гражданин, в задумчивости бредущий по Софийской набережной.

К тому времени Супенко уже был во дворе штаба ВВС, и между домами синело море. Мы приехали в Николаев, а не в Ялуторовск — откуда там море? Я был что называется — ни в одном глазу. Если я не сплю, то вижу все так, как есть. Лежу на ВВСовском топчане и словно читаю газетный очерк о самом себе. Кто мог написать про меня таким нелепым слогом? Кто этот автор? Он знал материал — не спору. Но как исказил, приукрасил, а то и вовсе выбросил самое важное!

Судите сами.

...Меня и моего товарища Кронид Малахова Центральный Комитет отобрал из большой группы аспирантов Института красной профессуры в состав политических отделов МТС (машинно-тракторных станций) и совхозов. У меня было «чистое»; то есть без взысканий, личное дело. Кронид вступил в партию в 1917 году, а в гражданскую войну вел вместе с Кировым политработу в 10-й армии.

За два месяца до отъезда меня вызвали для беседы. Со мной говорил заведомо ЦК по распределению кадров. Я сидел у его стола и старался подавить смесь любопытства и страха — чувство, давно мне известное как человеку, который почти никогда не решал свою судьбу.

На меня смотрел тихий и спокойный человек.

— Конечно, вы знаете, зачем приглашены сюда, так

что не будем тратить время на расспросы. Здесь, — он поглядел на лежавший перед ним лист, — вся ваша биография. У вас должны быть вопросы ко мне. Задавайте, пожалуйста. Может быть, вы возражаете против нашего выбора? Я вас слушаю.

Страх и любопытство усилились. Но я взял себя в руки.

— Скажите, чем я могу заниматься в деревне? Я писатель, горожанин. Меня несколько раз посылали на посевную, на уборочную — ненадолго. Сельского хозяйства я не знаю и не понимаю. Есть же более достойные товарищи, с опытом. Боюсь, что не справлюсь я...

Завотделом зачем-то поглядел на свой лист и негромко возразил:

— Достоинства кандидатов определяет оргбюро. Партийная работа с крестьянством для горожанина — дело вполне поддающееся освоению. Было бы желание и время. Через два года вы вернетесь с таким материалом, о котором писатель только может мечтать. Я уверен — вы справитесь. Ведь изучать людей и передавать им знания не труднее, чем сочинять стихи, правда? — Он улыбнулся и добавил: — В политотделе надо будет заниматься партийной работой разного профиля — от начальника политотдела до редактора многотиражки.

Тут я неожиданно для себя перебил секретаря ЦК:

— Редактор? Это мне подходит... Если я справлюсь, меня отпустят через два года?

— Возможно, что и раньше. Политотделы временная мера. Значит, мы договорились? Будьте здоровы. Вас вызовут в Наркомзем.

Я вышел в приемную. Там ожидали своей очереди другие кандидаты. Все очень интересовались, чем у меня закончилось.

— Наверно, буду редактировать газету. Годика на два.

— Знаем мы эти «два». Не справишься — попрут с взысканием, а справишься — не отпустят. Надо было сказать, что сборник готовишь.

Страх перед будущим уступил место любопытству. Я шел по городу, мысленно представляя себе деревню, и никакой картины не получалось.

Вокруг меня была весенняя Москва. Оттаивали тротуары, шумела черная вода в решетках, дул в спину ледовитый ветерок, а щеки подогревало апрельское солнце. Тог-

да я стал думать о будущем редакторстве, постепенно пугаясь специфики сельского хозяйства.

Я очень привык к Москве. К моему родному району — Хамовникам. К знакомой с детства Девичке. К провинциальным переулкам, к институту с его старым парком, к столу в библиотеке... А что меня ждет взамен? Ширь полей, проселки и, наверно, масса неба, не тревожимо, не ограбленного прорезями улиц. Жаворонки. Кстати, как они поют?.. А вокруг меня щебетали и чирикали здешние городские воробьи, и голуби важно ходили, остапавливаясь возле лужиц на своих малиновых лапках...

В середине тридцатых годов, когда мы стали пробовать себя в строительстве, Днепровская плотина, воспетая Безыменским, уже не так восхищала нас. Уже были построены громадные заводы на Урале и на Волге, железнодорожные магистрали Турксиба, первая очередь метрополитена в Москве. Совершены эпические подвиги по освоению Арктики и перелеты через полюс в Соединенные Штаты Америки. Вот же, глядите,— сельская Русь превращается в индустриальную современную державу!

С этими мыслями я пришел в Наркомзем.

Очень грузный блондин в одежде защитного цвета с ромбами в петлицах поглядел на меня сверху. Я был ниже его на голову при моих 180 сантиметрах роста. Он припал меня стоя, и мы, глядя друг на друга, немного помолчали.

Наконец он знаком пригласил меня подойти к большой карте СССР и сказал:

— Посмотрите как следует и назовите место, куда бы вам хотелось поехать. А может, вы уже придумали?

Я смутился:

— Ничего я не придумал.

— Не хотите ли поработать ближе к месту вашего рождения? Вы как будто родились на Урале? Некоторые товарищи сразу попросили послать их на родину. Мы будем учитывать ваше желание.

•Я родился в Кургане и совершенно его не помнил. Родители были там в ссылке. В самом нежном возрасте увезли меня в Екатеринбург. Растерянно глядя на карту, я пробормотал:

— В Курган?

— Как раз вчера туда попросился один ваш товарищ, сказал, что хорошо знает эти места. Однако я не тороплю вас. Поглядите, выберите... Потом я должен буду вас познакомить со сведениями о вашей будущей МТС.

Болнение овладело мной, подстегнутое новой порцией доверия. «Можно самому выбрать район? Наверно, будет правильнее сначала ознакомиться с тем, что представляет собой МТС, а после этого легче выбрать — куда». Я сказал об этом, и мой собеседник выдвинул один из ящичков стола, нашел папку с надписью «Урал». Показал мне, и я кивнул, еще не осознавая, что придется ехать на Урал, именно туда, а не в другое место.

Сведения были составлены порайонно. Там были данные и о курганской МТС, отмеченные синим карандашом. Синим написана на полях и фамилия моего товарища по институту. В курганской МТС числилось свыше сотни тракторов марки «СТЗ», в те времена новейшего типа машин. И тут политуправленец неожиданно сказал:

— Выбирайте, товарищ начальник.

«Как он меня назвал? Ведь я буду редактировать... Позвольте, что же это?..»

Я почти закричал. Меня словно обманули! Это совершенно не вмещалось в мои предположения:

— Почему начальник? Тут, конечно, ошибка.

Блондин строго взглянул на меня, поправил очки и негромко заявил:

— Оргбюро не ошибается, товарищ. Вот у меня выписка.

И он выдвинул другой ящик, достал другую папку, полистал и положил передо мной. Я увидел бланк с большой круглой печатью.

Рядом с моей фамилией было напечатано, что я — а ч а л ь н и к политотдела...

Я вскочил и дико смотрел то на карту, то на стол. Потом кинулся к столику в углу, где стояли графин и стакан. Я едва не разбил посуду, наливая дрожащей рукой воду. Сделал большой глоток и с пробкой в одной руке и со стаканом в другой опять же кинулся к невозмутимому моему собеседнику. Он спокойно взял из моей руки пробку и заявил, что в первый раз наблюдает такую реакцию на обычный деловой разговор.

— Знаете, у меня скоро обеденный перерыв. Если у вас

есть еще вопросы — задавайте. Затем вам надо будет получить документы.

Тут я как-то пришел в себя. Мы опять сели рядом, и я спросил:

— А нельзя ли выбрать такую МТС, где поменьше тракторов?..

Спустя полгода я знал, что совершил страшную глупость: все, кроме меня, приходили в Наркомзем с намерением получить в свое ведение максимальный тракторный парк. Но что я знал об МТС и о тракторах? Я надеялся, что когда стану редактором, то постигну все премудрости агротехники.

У моего собеседника, видно, иссяк запас вежливости:

— У вас же есть глаза — читайте. Остановитесь наконец на чем-либо. Что касается тракторного парка, то это обязанность директора и механика, а ваше дело — полит-работа.

Я водил пальцем по списку МТС и в конце концов остановил его на строке: «Ялуторовская МТС... Тракторов 33... Марки «Джондир». Слово «Ялуторовск» у меня с чем-то ассоциировалось. Но я не мог вспомнить с чем. Лишь дома в энциклопедии я нашел: «Ялуторовск — место ссылки декабристов...» «Жили же там декабристы... Между прочим — предшественники русских революционеров...» И сразу проснулось любопытство: «Это должно быть интересно». Любопытство! Оно толкает людей на невероятные поступки.

...Я вышел из здания в Орликовом переулке с удостоверением начполитотдела ялуторовской МТС. Разные мысли клубились в моей голове, кроме одного — ясности перспектив.

Нас одели в форму и сапоги. Тогда полувоезная одежда входила в стиль партработников.

Началась совершенно новая полоса жизни.

Казалось бы, не к месту, а вдруг ни с того ни с сего возникают сравнения настоящего с прошлым. Оно не всегда было милым, как положено минувшему. Хотя я научился солдатскому маневру: отдохнуть в разгар походного движения — прикорннуть к плечу водителя, скажем. Но куда чаще в механизме памяти сам собой переключается рычажок заднего хода. Вроде бы ни к селу ни к городу. Оказывается, точно, к селу. Ты — заядлый горожанин. Стало

быть, вспоминай свою Москву включительно по достопамятное 22 июня. Не тут-то было. Конечно, кабинка автомашины, вид вращающихся полей и перелесков в целлулоидном или флексигласовом окошке, сама поза твоя, не слишком удобная, — и внезапно переносишься в Зауралье тридцатых годов, на передний край аграрного фронта. Тебе приходит на ум именно с деревней сравнить сегодняшнюю пору. Не с коротеньким опытом пребывания на фронте финского севера...

Пламенный Юг Украины охлажден морским дыханием, тенью лесов и садов. Ничего общего со скромным голубеньким небосклоном, дикими азиатскими ветрами, редкими бревенчатыми деревецками и молчаливыми, медлительными людьми... На Украине народ нетороплив, да по-другому: здешних крестьян разговорить нетрудно, а уральца — попробуйте. Скажет: «Дык чо...» — и закроется.

Что меня дернуло выпроситься не в Бессарабию, не в Причерноморье? Ну, ладно — сон перебили. Щелкнул рычажок и пошла-поехала дрезина памяти по пути, пройденному восемь лет назад...

Мы должны были явиться — я в ялutorовскую, а Кропид — в соседнюю, омутинскую МТС, предварительно показавшись в промежуточной инстанции. Она находилась в областном центре Урала, в Свердловске, городе моего детства, — когда-то Екатеринбургe.

Нам надо было представиться секретарю обкома, ведавшему сельским хозяйством.

Мы были приняты Головиным, весьма габаритным мужчиной. На нас, тощих и чернявых, внешне чрезвычайно не солидных, в суконных гимнастерках и сапогах, он старался не глядеть.

Надо думать, что его положение было не из легких. Перед ним сидели посланцы Москвы, облеченные самым высоким доверием и обладающие полномочиями. Рядом с Головиным помещался не менее крупный дядя в военной форме, украшенной ромбами.

Головин держался важно: мало говорил, медленно двигал руками и шеей. Военный с ромбами, сохраняя мрачное выражение толстого лица, снимал очки.

Мы помалкивали. Разглядывали свердловчанина и всю кабинетную утварь

Наконец я открыл рот:

— Какая сводка сева в Ялуторовском районе?

Головин закашлялся, прежде чем дать ответ:

— По Ялуторовскому, да и по Омутинке отсутствует информация на сегодняшний день. Там, понимаете, инфекция. Эпидемия... Зачитайте товарищам заключение экспертов, — обратился он к военному.

Тот торопливо расстегнул пуговицу френча и вытащил сложенный вчетверо бумажный лист, тесно испечатанный лиловым шрифтом с обеих сторон. Нервно напялил очки и тяжелым ораторским басом, запинаясь, прочел реляцию о том, что, по-видимому, ожидает приезжих в Ялуторовском и Омутинском районах.

— «Это заболевание, возможно, эпидемического характера и в начальной стадии напоминает ангину: боль при глотании, покраснение миндалин, гортани, а затем всей слизистой... Затруднение дыхания. Боль как бы опускается в область грудной клетки... Течение болезни скорое. От боли в глотке до отека легких и летального исхода — около 36 часов...»

Так и сказал «летального» и пояснил нам:

— Стало быть, помирает больной.

Впечатление от услышанного было столь сильно, что меня озноб пробрал, несмотря на духоту. Головин, кивавший во время чтения документа, откинулся на спинку стула.

— И-да-а,— протянул Кронид. Он испытывал то же, что и я.

— Актив не болеет,— вдруг с наигранной бодростью сказал тонким голосом Головин, и нам стало неловко... Не так уж далеко от этого кабинета умирали люди, пораженные таинственным молниеносным недугом.

«Откуда свалилась такая беда? — думал я, уже ощущая боль потери.— Там погибали пусть мне неизвестные, но живые женщины, мужчины и дети. Почему Головин решил, что умирает лишь пассивная часть человечества?..»

— Простите, товарищи,— не выдержал я,— но ведь там, в районе, люди умирают! Как же так?..

— Так вы, значит, намерены отправиться на места?

Тут мы с Кронидом встали, зачем-то одернули гимнастерки и кивком показали, что намерены отправиться сейчас же, немедленно.

— Минутку, минутку, — заторопился военный. — Надо оформить вам пропуска... Потом получите в комендатуре билеты и подарки...

Что еще за подарки? Мы переглянулись, и Малахов пожал плечами.

— Надо получить часы. За наличный расчет, само собой... Плюс к этому — оружие. Тоже в комендатуре. Указание спущено. И тоже за наличный расчет... Берите, берите. Пистолетики небольшие, коровинские карманные маузеры.

— Знаете, наган более громоздкий и не всегда удобен, — улыбнувшись, заметил военный, — а маузереточка, она незаметная. И бой приличный...

Непонятно было это замечание, но исходило оно, видимо, от знатока разных обстоятельств, могущих возникнуть на ниве нашей будущей деятельности. Мы спросили, где комендант, и распрощались, козырнув, без рукопожатий. Военный с ромбами пошел впереди. Плечистый старшина, увидев начальство, вытянулся было для рапорта, но начальство только махнуло рукой и сказало:

— Живо! Порастряси пузо, выдай товарищам из центра подарки и оформи пропуска. Билеты на поезд получите у начальника вокзала. Скажете, что на эпидемию... И здоровья желаю, — оборвал он, откозырял, повернулся и вышел.

Старшина уже так живо орудовал, что в какие-нибудь четверть часа в наших карманах очутились пистолетики, пахнущие маслом, розовые сверточки с двумя комплектами патронов и точно такие часы, какие дали нам бесплатно в Москве...

С билетами тоже случилось маленькое, но досадное недоразумение — наши места были в разных вагонах. Так хотелось быть вместе! Мы даже не успели, как следовало бы, обменяться впечатлениями от посещения уральского обкома и обдумать свои первые шаги.

Малахов быстрыми шагами прошел к своему вагону и с подножки махнул мне фуражкой, а я вынул карманные наркомземовские часы. Это стало у меня настоящим рефлексом. Видать, был я очень несчастлив, если так следил за временем. Стрелка приближалась к восьми, но было полетнему светло. Проводница, широкогрудая, с чуть монгольскими скулами, выдававшими ее за уральское происхождение, сказала мне:

— Дак чо... Садитесь, однако. Отправление свистят.

Я с надоевшим мне чемоданом покорно поднялся в тамбур.

Мое плацкартное место занимали четыре пассажирки. Я не стал их сгонять. А очень хотелось лечь сразу. Закинул чемодан. Сел поближе к окну и снова вытащил наркомземовские. Шел девятый час вечера. Я мужественно боролся с одолевавшей меня сонливостью. Чтобы не заснуть, стал разглядывать своих попутчиц. Разные лица, но общее унылое выражение. Я обратил внимание, что они молчат, а кое-кто вздыхает. Спать расхотелось. Пришла проводница и взяла мой билет в свой большой бумажник:

— До Ялуторовска? Придем, однако, рано. Но не бойтесь — подыму...

При слове «Ялуторовск» мои попутчицы повернули свои лица ко мне, а потом стали переглядываться. Я выколотил ногтем одну папироску, чиркнул спичкой и сказал:

— Разрешите?

Попутчица постарше протянула руку к моей пачке и тоже спросила:

— Разрешите?

Вокруг нас начались шорох и оживление. Еще две или три руки потянулись к моссельпромовским. После хорошей затяжки я окончательно проснулся и подумал вслух, что надо бы сходить в вагон, где едет Кронид, и раз уже заговорили, то решил завязать знакомство с женщинами: вдруг кто-нибудь едет в Ялуторовск? Они охотно сообщили, что все они врачи и едут в Новозаимский район. Оттуда, из Новозаимска, их начнут направлять на точки. Та, которая постарше, засмеялась:

— Интересно, что делать там венерологу? Ну и ладно... Врач есть врач... А вы кто?

Все мысли и тревоги врачей вертелись вокруг страшной темы.

Кто-то сказал, что в Свердловске паника, что распространился слух, будто болезнь — они называли ее гальванической и молниеносной ангиной — вызвана диверсией, скорее всего японской. Но это слух, а что на самом деле?.. Дым повис между полками. Я вскрыл еще одну пачку, довольный, что мои папиросы помогают людям прийти в себя хоть немного. Они были крайне взволнованы. Их близкие просто в отчаянии. Что, если врачи сами заболеют и, не дай бог, умрут?!

Когда же медики узнали, что я еду на постоянную службу в самый опасный район, — их интерес сменился сочувствием. Чисто женская жалость к еще не старому мужчине.

Тут я, наверно, в четвертый раз достаю часы и, не глядя, прячу обратно. И докторша венеролог полюбопытствовала, чего я жду.

— Привычка, — говорю и усмехаюсь, потому что у этой привычки любопытная история.

Все стали подбивать меня на рассказ.

У меня было очень мало времени до отъезда из Москвы — можно сказать, в обрез. Я совсем забыл о часах, потому что бегал по городу — со многими надо было проститься, посетить редакции журналов и газет. Я обходился городскими часами, и наконец, когда мы с отцом в последний вечер присели за стол ужинать, я вспомнил о часах:

— Где они?

Часы оказались там, где полагается, — в кармане синих политотдельских брюк, которые все время были на мне! То есть я бегал и делал все свои дела, ни разу не взглянув на часы. Понятно — я и не заводил их. Часы, значит, стояли и не тикали. Я спросил:

— Папа, сколько на твоих Буре? — А сам вращаю головку часового механизма — вправо, влево, вправо, влево. До отказа.

Папа посмотрел на свои старые часы-луковицу: настоящий хронометр — не отставали и не убегали лет двадцать; я установил стрелки. Можно было не подносить часы к уху: звон отчетливо слышался сквозь успокоительное тиканье. Я даже похвастал: вот какие вещи мы умеем, если захотим, создавать. Часы тикали, лежа на столе, пока мы ужинали, — не менее получаса. Потом стук прекратился, и, сколько я ни крутил головку в обратную сторону, как ни тряс часы, они упрямо молчали.

— Конечно, — сказал отец, — стоило бы завтра зайти на Арбат, там у меня старый приятель. Помнишь, приходил чинить наши стенные? Может быть, какой-нибудь пустяк — он при тебе исправит.

Но назавтра — утро вечера мудреней — отец посоветовал:

— Сходи-ка на завод. Они обязательно тебе заменят, чтобы не срамиться перед периферией...

Я уложил часы в их упаковку и поехал на завод. Обратился в партком: я как-никак посланец партии. Милый человек, секретарь комитета, отнесся к моей просьбе чрезвычайно серьезно. Он знал часовое дело и тут же вставил лупу, как монокль между веками, живо открыл задние крышки, шевельнул карандашом маятник. Часы ожили, затикали так же звонко и успокоительно, как вчера. Потом мы потолковали о моей мобилизации, тиканье часов сопровождало нашу беседу, недолгую, но очень сердечную. Секретарь еще раз посмотрел на механизм. Упругим щелчком закрыл крышку. Повертел заводную головку. Поднес часы к уху. Отдал мне. Пожелал удачи. Я вышел из парткома и, дойдя до заводских ворот, взглянул на большой циферблат над аркой, а потом вытащил наркомземовские. Часы стояли!

«Может быть, плюнуть и съездить к отцовскому приятелю на Арбат?» Но тут же я устыдился этой своей черты — не доводить до конца начатое. Я вернулся в партком, держа часы на ладони.

— Что такое? — встревожился секретарь. Опять полез в стол, вооружился своим моноклем и, отщелкнув крышку, взялся за карандаш. Часы воскресли. Но этот беспокойный товарищ сказал, что сейчас вызовет лучшего сборщика. Хотел позвонить в цех, но, подумав, предложил:

— Давай-ка пройдем в цех. Посмотришь наше производство. У них там все необходимые инструменты, — их с собой в партком не возьмешь. Пошли?

В цехе лучший сборщик обследовал наркомземовский подарок. Наконец сказал:

— Брак, понимаешь. Крышка плохо подогнана... Вот так без крышки, мордочкой вниз, идут что надо...

Все засмеялись.

— Сейчас подберу другую крышку...

Часы с подогнанной крышкой были мне вручены. Все пожелали друг другу отличных успехов в работе и в быту, и я в сопровождении лучшего сборщика и секретаря пошел к тем же воротам, держа в руке обновленные часы. У ворот мы остановились. Я взглянул — мои часы стояли!

Тогда секретарь воскликнул:

— Айда, хлопцы, к директору!

И мы повалили в дирекцию. Видать, людей заело. Мы шумом вошли в кабинет директора завода, наполненный

посетителями. Увидев мою полувоенную одежду, директор не стал никого слушать, а взял злополучное изделие своего предприятия, вытащил из кармана луду, умело открыл скальпелем крышку, послушал очнувшиеся часы и сказал:

— Ладно, оставьте их у меня, а вам я дам из оборонного фонда... — И, открыв тяжелую дверь сейфа, подал мне завернутые в папиросную бумагу часы...

Вот эти самые часики, дорогие слушательницы! Мы с директором очень хорошо поговорили о задачах политотделов, он просил меня писать ему не только о часах, но и о работе МТС. На прощанье директор сказал:

— Непременно проверяйте часы, какие бы у вас ни были хлопоты. И на вокзале, не забудьте! Позвоните мне из дому. Счастливо...

Я вышел с завода и, проходя арку, сверился — оборонные часы действовали безаварийно. На площади — городские часы. Сверился с ними — городские отставали! Сверился с другими городскими по пути — они спешили на пять минут. Часы на пожарной каланче вообще стояли. Я заехал в «Комсомолку» к Сене Нариньяни — тогда молодому фельетонисту — и, между прочим, рассказал ему часовую эпопею. Он очень оживился:

— Напишу об этом и пришлю тебе номер...

Вот откуда привычка то и дело смотреть на часы...

И я действительно поглядел на циферблат. Стрелки показывали полночь, и пустяковый мой рассказ мы дружно перекурили с попутчицами. Страшный призрак молниеносной ангины временно померк и отстранился, по меньшей мере, до утра. Женщины разошлись по своим местам. Я с удовольствием раскатал хилый железнодорожный тюфячок и под тиканье часов на столике, под равномерное вздрагивание вагона, под старинную песенку колес забылся.

Я редко вижу сны. Обычно незаметно засыпаю и прихожу в себя, когда уже светло. Но в поездках, где людям особенно хорошо спится, — у меня что называется ни в одном глазу. Остаток ночи до Ялуторовска заполнился не сновидениями, а скорей, снослышанием: я все слышал — и колесный стук, и слитный шепот женщин-врачей. Все же я с трудом открыл глаза, когда проводница крикнула мне в самое ухо:

— Подъем! Через десять минут Ялуторовск!..

Проводница стояла около меня, щурила свои монгольские глаза от яркого солнца, бьющего в окно, и повторяла:

— Подходим к Ялуторовску. Вставайте, однако. Вот

ваш билет. Начальник поезда упредел, что машинист только притормозит, а стоянки не будет до Заводоуковского. Так что подхватывайтесь.

Дверь открыта. Сердце вдруг застрекотало. Я вижу, что наш вагон подползает к белому-пребелому перрону. Чем-то тут посыпали.

— Какой ужас! — говорит кто-то за моей спиной. — Хлорная известь.

На перроне редко расставлены люди в защитной форме. Каждый держит винтовку у левой ноги. На лицах белые маски.

Поезд продолжает двигаться, и я прыгаю с подножки. Пропуск надеваю на штык очередного часового. Состав ускоряет ход, и я вижу длинный забор, ворота с откинутыми вовнутрь створками, над головой вывеска, буквы не видны.

Решил идти к этим воротам. Один, совершенно один, постоял на пустом, хлорном перроне. Строй красноармейцев, застывших в своих страшных масках. Все залито солнцем — краски дико-резкие. Воздух пронзительно свежий. Я невольно встряхнулся. Наступил на свою тень. Она отодвинулась.

И я стал уходить от перрона, от штыков и повязок, наступая на свою тень, не оглядываясь, как отходит подрывник: позади шипит бикфордов шнур, а не ускорять шаг — особый шик подрывников.

Наконец ворота ближе. Буквы на вывеске отчетливей! «Машинно-тракторная...» Дальше можно не читать. Я приехал!

Из ворот вышла лохматая собака, остановилась. Подумала. Почесалась задней лапой и спокойно твякнула раз и два. Я помахал ей фуражкой и вошел в ворота.

На просторном дворе несколько строений. Ни одного человека. Я отворяю дверь ближайшего дома. Вхожу. Отчаянно скрипят двери и полы. В помещении простой стол у стены. Ящики с картотекой, табурет. У двери на стене громоздкий старинный телефон. Напротив — длинная деревянная скамья.

Поискал глазами вешалку — вешалки нет. Но зато вбит здоровенный костыль. На нем висит плащ из брезента, такой, что, если поставить на пол, сам стоит.

Первым делом стаскиваю сапоги. «Дурень! Почему в вагоне стеснялся!» Как только стал разувать другую но-

гу, закрипело в коридоре, и в комнату вошел человек. Сперва он увидел мой чемодан на табуретке и, как я понял, начал обдумывать создавшееся положение. Меня он заметил позже и даже попятился от неожиданности.

Ялуторовец был молод. У него было доброе рябоватое лицо. Из-под кепки спадала светлая челка. Он подождал, пока я разуюсь окончательно, посмотрел на мои босые ноги. В углу его широкого рта дрожала полуискуренная козья ножка. Он сказал тенором:

— Здравствуйте, гражданин!

Это прозвучало не официально, а очень торжественно, как во времена Великой французской революции. Он подошел ко мне и протянул руку простодушно и дружелюбно. Этот паренек был любопытен и неподозрителен. Он сразу мне поправился, и я пригласил его сесть рядом. Он сел и сказал, что работает здесь учетчиком.

— Сводки принимаю от сельсоветов, телефонограммы передаю, если чо... А вы чей?

Вместо ответа я спросил, нельзя ли увидеть товарища Завалина.

— Александра Алексеича? В ночь уехал на Косте, дак. А вы кто ему будете?

То, что Завалин уехал в ночь, меня не удивило, но то, что — на Косте, очень удивило. Оказалось, что к политотделу прикреплены две лошади — Костя и Афоня... Узнал, что парня зовут Архипша.

— А меня зовут Илья Львович.

— Ильва?..

Мои родители зря дали мне столь трудное имя, и я впоследствии советовал деревенским людям звать меня по батюшке — Львовичем. Почему-то краснея, я сказал Архипше, что Завалину я начальник.

С Архипшей обговорили мы обширный круг вопросов. Но из какого-то ложного чувства я не решался коснуться гальванической ангины первым.

Телефон на стене молчал, а время шло: надо было от болтовни переходить к делам.

— Схожу-ка в город, — сказал я, — а ты, будь друг, предупреди кого-нибудь из начальства, кого первого увидишь, начальник ушел, мол, в райком и вернется часика через два.

— Нет, товарищ Львович, до городу ходу не меньше часа, да придется искать, да ждать, да говорить... Кладите часа четыре.

Я взял фуражку в руку и вышел. Сразу полыхнуло горячим ветром. Этот горячий ветер был неперменной достопримечательностью здешних мест. Знаменитый суховей, посланец Афганистана, как заладит дуть, так и шпарит в одну сторону изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц...

Вышел я бодро, но постепенно выдохся, голову напекло, спина начала чесаться. Даже курить не хотелось — очень долгой оказалась дорога.

Город начался с деревенской улицы. С плетнями и подсолнухами, подслеповатыми хижинами и чахлыми хилыми тополями на обочинах дороги. Из калитки вышла и остановилась деваха с коромыслом на плечах и неподвижно стояла и глядела на меня узкими глазками. Изредка оглядываясь, я видел все время ее, пока не свернул за угол. Наконец показалась мостовая. Я шел мимо разнокалиберных, преимущественно деревянных домов с наглухо закрытыми ставнями. Мне казалось, что жители не то уехали, не то вымерли — что при моей склонности к преувеличению наваяло на душу сюрбную жуть. На миг я пожалел, что несколько часов назад решил сойти на белый перрон...

Так я дошел до площади с недостроенным зданием — не то клубом, не то театром. Недостроенным, то есть брошенным уже давно и надолго. Случайно я обратил внимание на открытые ворота у дома: в этих воротах, как в раме, красовалась сивая лошадка, запряженная в большую ямщицкую пролетку. Экипаж этот очень тщательно вытирал тряпкой мужчина в ватнике и в галошах на босу ногу... Словом, уездная жанровая картинка, подобная иллюстрациям к изданию «Мертвых душ».

Дом рядом с мойщиком и лошадьё и был райком партии.

Дом оказался двухэтажным. Поднялся на второй этаж по скрипучей лестнице. Коридор на две стороны. По одну сторону коридора все двери заперты. На нескольких дверях таблички.

«Пойду в другой конец», — решил я. Вернулся к площадке и начал дергать ручки других дверей. Послышались шаги, и меня догнал, а затем и обогнал коротенький человек с портфелем в коротенькой, толстенной руке. Он вынул ключ, вставил его в соответствующее отверстие, повернул и, держась за него, обратился ко мне, подняв лицо:

— Вы к кому?

Я ответил не сразу:

— Может быть, к вам. Здравствуйте.

Он нерешительно приоткрыл дверь, но снова закрыл и сказал:

— Если в орготдел, то пожалуйста. Я — заведующий. Попов — мое фамилие.

И Попов вошел в свой кабинет. Я — следом. Попов медленно зашел за стол, украшенный громадным письменным прибором. Стоя за столом как за баррикадой, спросил уже настороженно:

— А можбыть, вы не ко мне?

Мне показалось, что в интонации Попова прозвучала и нотка надежды — авось не к нему явился очкарик в полувоенной форме.

Я вынул из кармана свое удостоверение и подал Попову. Тот очень прилежно прочел, вернул мне и вдруг быстрыми короткими прыжками выскочил из-за стола и, что-то бормоча, подвинул мне стул.

— Что же вы стоите? Садитесь, садитесь... С приездом вас! Давно ждем... И ваши сотрудники ждут, — добавил Попов, явно придумав последнюю фразу.

Я сел и положил на стол возле прибора свой блокнот, а хозяин кабинета вдруг заметался, попытался было закрыть форточку, но не достал. Я, увидев его потемневшую от пота подмышку, сказал миролюбиво:

— Не стоит закрывать, вон у вас какой воздух затхлый. Окно лучше откройте.

Он послушался мгновенно, бормоча что-то, вроде «можбыть, можбыть...».

Я старался ничем не показать, как жалко и противно наблюдать эту суетливость. Мне было понятно, что с Поповым и другими райкомовцами наверняка придется общаться и надо срочно выработать свой собственный стиль и манеры обращения с ялаторовцами из райцентра.

— Товарищ Попов, — начал я, — скажите, что делается райкомом в карантинных зонах? Идет ли болезнь на убыль? Есть ли там медицинская помощь?..

У Попова от испуга даже папираса погасла, но, надо признать, он мгновенно овладел собой: сообразил, конечно, что перед ним новичок.

— Такие сведения, — сказал он, — полномочен давать только секретарь районного комитета. Фамилие — товарищ Говорухин. А лично я могу быть полезен в части сети и организационной структуры... Лично мне не приходилось бывать на территории карантина. То же по линии здравоохра-

нения. Данные материалы сосредоточены у предрика, фамилие Безгодов, а я не полномочен... Извините,— заключил он уже спокойно, достал спички и закурил.

«Худо,— подумал я,— вот уж не ожидал такой секретности. Однако придется познакомиться с Говорухиным и Безгодовым». Я спросил, где и как можно увидеть их сегодня, сейчас.

— Видите, ввиду этих мероприятий решено не проводить актива с вызовом людей... Лично же товарищ Говорухин собирался назначить бюро райкома послезавтра. Лучше всего вам позвонить послезавтра утром. Вот в это время...

И Попов вынул точно такие часы, как у меня. И было на них ровно одиннадцать. Неужели я уже пять часов в Ялуторовске! А еще ничего толком не знаю.

Мы оба молчали. Настала такая тишина, что не только стук его часов, но и моих в кармане, казалось, раздавался на весь мир. Вдруг где-то далеко за окнами пропел петух, и очарование исчезло,— так бывает в сказках. Попов встрепенулся, взял из папки шелестящие тезисы. Побивая его деликатностью, я высыпал с полпачки моссельпромовских и, сказав «пока», вышел в коридор, спустился по скрипучей лестнице.

На все лады «переигрывая» разговор с Поповым, я не заметил, как прошел всю эту часть Ялуторовска и снова вышел к станции. Снова часовые — ноль внимания к прохожему, третий раз пересекавшему рельсы. Но теперь, прежде чем двинуться к энтээсовским воротам, я заставил себя оглянуться и не обнаружил никакого толчка в сердце. Только громко и безадресно выругался. Насвистывая «Наш паровоз, вперед лети», я зашагал вперед, и на мой свист отозвался незлобным лаем давешний каштановый пес: узнал.

За воротами на ржавом плуге сидели двое. Архипша что-то рассказывал старичку в старой солдатской папаше, сложившему большие красивые мужицкие руки на дуле такой же старой охотничьей двустволки с веревочкой вместо ремня. Ага, и сторож появился!

Я поздоровался: МТС становилась родным домом.

Потом по-хозяйски вошел в «резиденцию» — так почему-то всюду называли административное здание МТС,— и как раз вовремя,— большой телефон грохотал в свои два звонка. Я снял трубку и прислушался — говорили вместе три или четыре голоса разных тембров. Я сказал «алло», но

никто из абонентов не среагировал. Потом кто-то сильно подул мне в ухо и прокричал:

— Примите сводку, черти лаковые!

Я положил трубку на стол, вышел во двор, крикнул Архипу. Архип нехотя оторвался от своей беседы и, как в замедленной съемке, стал переставлять ноги. В конце концов он добрался до своего рабочего места, поглядел на мое лицо, вдруг крайне растерялся и затоптался возле стола, тупо уставясь на трубку.

В это мгновение со двора донеслось короткое ржание, глухой топот и чье-то раскатистое — «Тр-р-р!». Через полминуты дверь распахнул и, входя, зацепил головой верхний косяк очень рослый человек в такой же, как моя, одежде. В одной руке он держал полевой командирский планшет, а в другой обыкновеннейший кнут.

Его взгляд молниеносно заметил трубку на столе. Он сделал повелительный знак кнутовищем. Архип сейчас же выполнил безмолвное приказание. Потом синие глаза человека буквально воткнулись в мои очки, он бросил кнут и, вытянув руку, длинную и худощавую, приблизился и сжал мою ладонь так, что я взвыл:

— Вот это да! Догадываюсь. Вы — Завалин, Александр...

— А вы — Илья Львович? Так? Здравствуйте же. Пойдемте на улицу, а то здесь мешают...

Верю, что есть любовь с первого взгляда, — все в человеке кажется прекрасным, даже какие-то недостатки.

К Завалину я испытал чувство доверия с первого рукопожатия. Он был в высшей степени естествен и юношески обаятелен. От него исходило ощущение силы, доброй и надежной.

У меня хранится Сашина фотография тридцатых годов. Не надо быть художником, чтобы определить в этой гордой и красивой голове черты породистого благородства: чистый лоб, прямой нос, мужественно вылепленный рот, высокая посадка головы, четкий профиль.

Недалеко от крыльца стоял так называемый ходок — экипаж чисто уральского происхождения. Ходок — плетеная корзина, поставленная на двуколку. В ходок кидают охапку соломы или сена, сверху — немудрящий домотканый коврик, и можно ехать хоть сто километров.

В оглоблях черным хвостом отмахивался от полуденной

духоты довольно упитанный сивый конек. Саша сказал, что это Костя, политотдельская лошадь, и крикнул:

— Евсеич!

Старичок поднялся, взгромоздил на плечо ружье и подошел к нам.

— Кузьма Евсеич! Поздоровайся с начальником политотдела, с Ильей Львовичем. Если нужен мудрый советчик, Илья Львович, мудрей этого деда у нас пока никого нет: все знает, как оно было когда-то...

Дед покряхтел, помялся и возразил:

— Дык, никому это самое не требуется. Больно нас слушают.

Завалин лукаво подмигнул мне и хлопнул Евсеича логонько по еще прямой спине:

— Не будут слушать — бей его из своей артиллерии. Тем более что не заряжено. Ружьишко-то. Критикуй смелей, а мы с начальником поддержим. Правильно я говорю? Будь добр, Евсеич, отведи-ка Костю на конюшню. А мы с Ильей Львовичем за тебя подежурим у ворот — потолкуем.

Старик чмокнул, и Костя послушно пошел за ним. С ружьем за плечом Евсеич казался старым воином. Мы с Завалиным глядели ему вслед, пока он не скрылся за углом резиденции.

— У меня к вам вот что, дорогой зам, — говорю я. — Обрисуйте кратко положение с эпидемией и с полевыми работами и объясните все возможно популярней: сельское хозяйство я знаю только по произведениям Толстого и Есенина...

Саша внимательно посмотрел на меня:

— Илья Львович, а вы ели что-нибудь? И надо устроиться с жильем. Давайте сходим в Томилово, купим молочка. Это рядом. Наша МТС на окраине деревни Томилово. Деревенька довольно отсталая. Пока что. Ну, пошли. Закусим, да и хозяев вам подыщем. Верно я говорю? А насчет эпидемии, так мы с Предеиным как раз там были, когда началось... Пошли, пошли.

Мы пересекли громадный двор и пошли вдоль заднего забора. Саша все рассказывал мне, стараясь говорить без окания. Меня поразило, что человек следит за собой, все делает сознательно и вместе с тем без всякой видимой тяжести. Саша — волжанин и, даже живя в Сибири, где все окают так же, как на Волге, не желал окать, и это у него получалось. Завалин говорил, отвечал на вопросы, что не мешало ему видеть непорядок: увидел какой-то колышек

посреди улицы, нагнулся и попробовал вытащить, не получилось — потащили вдвоем, а это оказалась борона! Нашел маленький болт от чего-то, поднял, обдул и положил в карман. Нити беседы не терял.

Удивительный для меня характер!

Томиловские колхозники успели привыкнуть к красивому политотделю, а их дочери и вовсе были очарованы, особенно его вежливым обхождением — к чему никто из них не был приучен деревенскими руководителями разных уровней. Как и когда сумел Завалин так близко познакомиться с укладом томиловского колхоза, вплоть до специфики некоторых местных обычаев; вплоть до частушек, которые он запоминал на слух? Встречали нас в любом доме приветливо — охотно разговаривали, даже угощали, чем бог наделил.

Саша привел меня к изгороди, за которой стоял чей-то дом, отыскал зорким глазом между гряд живое существо женского пола в выгоревшем ситцевом платышке и громко позвал:

— Аня! Аннушка!

Женщина выпрямилась. Сделала козырек из ладоней и оглянулась своим очень белым широким лицом. Узнала Сашу, указала рукой в сторону дома: ступайте, мол, сами знаете куда.

И вот в полутемной большой горнице за выщербленным столом мы с громадным удовольствием осушили кринку литра на два вкусной простокваши.

Аннушка стояла с прижатой к щеке рукой, держа локоть в ладошке другой руки, и, немного послушав нашу политически заостренную беседу, спросила: не надо ли еще молока? Затем, нагнувшись, вышла. Саша сказал, что хозяйева не староверы, и мы закурили:

— Придется развеять жуткую легенду, — сказал Саша, — польза от которой только в сокращении множества вызовов колхозных деятелей на разные заседания, «чтоб не распространить заразу». Не бактерии, Илья Львович, а самый настоящий яд, отравление. При чем здесь японские диверсанты? Когда мы с вашим помощником по комсомолу Предеиным — вы его тоже увидите — были в Сунгуроке недели три тому назад, бригады уже выехали в полевые станы. Поля у них далеко от села. Выезжают в поле всем семейством. С прошлой уборки осталась в разных местах под снегом неубранная пшеница, целые ряды колосьев. На чистом полевом воздухе аппетит крепнет — чувствуете? — и

черта съешь! А хлебушка взяли с собой в обрез. Давай собирать эти перезимовавшие колоски, понимаете? Собирали, молотили. То есть не молотили, а так — перетирали в руках и зерно ели сырьем. Вроде даже вкусно. Бригады постоянные, приезжих никого не было — все свои. Из уполномоченных, кроме нас с Предеиным, никого. Никто в уме не держал, что этот подножный харч обернется болезнью и смертью. Ели зернышки тайно, на ходу, а боялись разве что бригадиров и звеньевых: не попало бы за потраву...

Так узнал я от Завалина одну из первых агрономических тонкостей: весенние соки в перезимовавшем хлебе на какой-то определенной стадии роста могут нести страшный яд.

— Заболели две колхозницы и подросток. Стали задыхаться. Не могли откашляться. Очень сильный жар. Врачи только в Ялutorовске. Медпунктов в полевых станах нет и не предусмотрены. Я хотел взять больных в ходок и везти прямо в больницу, — говорил Завалин, — члены семьи воспротивились, да и сами больные просто отбивались и плакали. Помчались мы в район. А нам не верят. Я — телеграмму в область, Боброву сказал — это тоже ваш помощник по НКВД, — а он уж знал и по своей линии сигнализировал. Помариновали пару дней в Свердловске, да, видать, в других районах началось то же самое... Вдруг нагнали кучу пароду. Оцепили группу сельсоветов. А остальное вы знаете — правильно? Сами райончики в эти села не ездят, да и нам запретили. И вообще, товарищ начальник, без вас не ясно — слушаться райкома или нет?..

Завалин говорил с большим волнением. Мне тоже было не ясно, с чего начинать работу политотдела.

Решили дождаться Предеина. Все вместе обсудим план, который в общих чертах наметил Саша. Вторая кричка простокваши понадобилась, чтобы выслушать Аннушку — насчет подыскания комнаты. Мне-то хотелось жить обязательно рядом с МТС, а не в Ялutorовске, хотя Предеин жил в городе...

Жена Завалина с двумя маленькими дочками ютилась в Ялutorовске, а я с полмесяца квартировал у Предеина. Саша предложил снять жилье рядом, чтобы его жена кормила и меня. Я было постеснялся затруднять завалинское семейство. Но Саша стал уверять, что «он не из-за подхалимства, а из чувства коммунистической солидарности и сострадания к холостяку».

— Право же, Илья Львович, пристраивайтесь к нашему столу. Еще хочу предупредить, что моя кухня будет не богата, — жена моя кухарничать не умеет: не успел ее обучить.

В один прекрасный день Саша заехал за мной... Я погрузил свой скарб и сказал:

— Айда, но-о-о!

Пара лошадей — все те же Афоня и Костя — резко тронула, и мы очень скоро прикатили в Томилово. Остановились у резных ворот. Я их хорошо запомнил, эти ворота: жена Завалина отворила, и я въехал во двор... с воротами на плечах, — столбы, оказывается, подгнили!

По наполненности всего ялуторовского периода — даже когда умирал от воспаления легких — я не знал равного времени. Я был нужен — в этом вся суть. Нужен не только моим товарищам, но жителям зоны МТС, трактористам, которых мы набирали, учили, воспитывали. А мои политотделы! Честные, бескомпромиссные, надежные в любой обстановке, и любили друг друга, как родные братья. Даю слово: я с ними стал хорошим, самым лучшим на фоне всей остальной моей жизни, бурной, суматошной, иногда терявшей главный смысл и вкус.

Будь сейчас рядом со мной Завалины — я написал бы целую книгу о ялуторовском периоде, написал бы для него. Книгу правдивую, дышащую зауральской землей, водой, ветрами всех четырех времен года, звучащую голосами людей, зверей, даже машин...

Степан Предеин — конопатый парнишка с белесой челкой. Коренастая фигурка в слишком длинной гимнастерке. Чем-то Степан был схож с Архипшей. Мое представление о комсомольском руководителе никак не могло совпасть с образом мужичка, уже обзаведшегося женой и младенцем. Но хотя он и не создал в нашей зоне полноценной организации, зато со всеми наряду занимался самыми насущными делами. Степан неукоснительно исполнял любое порученное ему дело и никогда не отговаривался «своими функциями». И колхозники нас не делили на ранги. «Приезжал политотдел», — говорили о каждом из нас.

О женушке Степана не стоит распространяться. Она

была крайне юной, веснушчатой и изнывала от непобедимого влечения к мужчинам. На начальника политотдела, то есть на меня, она тоже покушалась, и Степан часто просил, чтобы я не сердился, а прощал «дурочку».

Очень часто ездил с Завалиным в колхозы. Любое расстояние, как положено в Сибири, считалось нормальным, хотя многие села были в шестидесяти километрах от политотдела. В зимнюю пору такие рейсы сопряжены с возможностью замерзнуть во время бурана. Бураны же разгрявались сразу и неожиданно.

Однажды перед сумерками я возвращался из дальнего татарского колхоза «Урал». В то время я уже ездил один. Мы тихо ехали, как вдруг вокруг меня и заиндевелого мерина Афони в оглоблях засвистало сто сорок ведьм, и наступил белый мрак, самое серьезное из зимних происшествий в дороге. Все было до ужаса просто. Мы с Афоней немедленно сбились с дороги, начали плутать и колесить... Наконец выбились из сил. Остановились. Пурга начала заносить нас. Как мальчик у Христа на елке, я заснул очень сладко. И так же, как в рассказе с хорошим концом, притащил меня полумертвого Афоня в село. С трудом привели меня в сознание, напоили кипятком с медом, положили на горячую печь и укрыли грудой тулупов... Очнулся я уже в другой комнате, в городе.

У меня было тяжелейшее двустороннее воспаление легких. Недельку был без сознания, в жару, а очнувшись, сочинил первое свое политотдельское стихотворение «Начало».

Буран, тулупы и «Начало» происходили уже после моей поездки в Москву осенью. После знакомства и разговора с Эдуардом Багрицким, с которым мы условились выпустить мою первую книжку. Но Эдуард Георгиевич в феврале 1934 года скончался...

Мы решили провести воскресник на подсобном хозяйстве МТС, прополоть картофель. Политотдельцы пришли все, даже с женами. Приняли участие слесари из ремонтной мастерской и Архипша. Старик Евсеич явился позже в старых пимах — «ходить в них способней» — и подошел к моему участку. Долго стоял, смотрел, как я старательно пропалываю картофель. Мне самому очень правилась де-

лянка чуть не в два метра по квадрату. Откинув выдернутую растительность в уголок, я присел прямо на грядку и попросил у Евсеича его табачка-самосада.

Я пускаю дым, а Евсеич с непроницаемым видом оглядывает мою делянку.

— Ну, как находишь, дедушка, гожусь я в пропольщики? Чистенько, правда?

— Это, конечное дело, чисто. Нечего сказать, — соглашается дед. — Вот только картошки нету — усую, как есть, повыдергал.

Я ужасно огорчился, поднялся на ноги и с укоризной заявил:

— Чего ж ты, милый человек, над головой стоял-стоял, а не поправил меня?

— А кто тебя знает? — отозвался Евсеич. — Бывает, начальству виднее. Тебе, может, так и требуется. Тут, значит, и не такие номера начальники творят, а мы — народ серый, нам нет прав начальство поправлять... А в Москве нешто картошки не растут? Ай не разводите?

Начали поспевать озимые, и в МТС из Ростова прислали уборочную машину типа «Виндроуэр». Это — прицепная к трактору гигантская косилка-жатка с широким захватом, чуть не в десять метров! Но к нам поступил не собранный экземпляр, а отдельные части в ящиках. Политотдельцы решили: «Сами соберем». Но когда раскрыли тару и увидели кучу деталей, — а что к чему, неизвестно и непонятно, — призадумались. Посоветались. Допустили к сборке еще одного слесаря, и остановились на том, что пока соберем режущую часть — гребенку с ножом и длинный металлический шест с чугунным набалдашником — балансир или противовес.

Возились долго. Ругали ростовчан. Не обошлось без разговоров о вредительстве. Наконец собрали, свинтили. Опробовали у нас на дворе. Едет. Придерживается заданного балансиrom уровня. Некоторые части так и остались лишними. И без них эта штука ехала. И вот отправили «Виндроуэр» на поля артели «Броневики». Отцепили и... жнейка так на месте и осталась. Полетели подшипники, да и нож совершенно не действовал. Долго еще колхозники рассказывали про этот «ероплан». Колхозная детвора быстро приспособила его для игр фантастического харак-

тера... Мы посылали запросы на завод, жаловались в Наркомзем, но нам даже не ответили.

Насколько я слышал, эти механизмы так нигде и не применялись, вплоть до появления комбайнов.

Отношения с районными руководителями становились все острее.

Нарушалось одно из главных условий — оказывать содействие политотделу и не вмешиваться в деятельность МТС. Правда, за время ее организации все кому не лень хозяйничали в ней, как в прокатном пункте. Перед моим приездом работников политотдела в районе считали чем-то вроде помощников инструкторов.

Наш план руководства колхозами мы проводили в жизнь, отбиваясь от посягательств района на нашу самостоятельность. Ревность толкала местных деятелей на нелепые и вредные поступки: вдруг в некоторых колхозах появлялись «уполномоченные», сбивавшие с толку колхозный актив, отвлекавшие людей от полевых работ ненужными вызовами и собраниями.

Однажды бюро райкома обсуждало жалобу народного судьи на Завалина. Судья обвинил Сашу в антисоветских настроениях.

В разгар уборки Завалин приехал в колхоз. Рожь уже начала осыпаться, переставала. Саша убедил бригады ускорить жатву, вывел их в поле, даже показал женщинам, как вязать снопы по-горьковски. Им прямо восхищались — так виртуозно он вязал. Жатва наладилась, и Саша спокойно уехал в соседнее село.

На следующее утро туда примчался мальчишка на неседланной лошади, разыскал «политотдела» и от волнения не мог толком ничего сказать, кроме того, что кого-то судят... Завалин сел на одну лошадь с гонцом и явился на двор сельсовета, заполненный народом из полевых бригад. У коновязи жевал пегий мерин, запряженный в незнакомую пролетку.

Районный судья, не согласовав ни с кем, назначил разбор дела о мелкой краже, вызвав десятка два свидетелей прямо с поля, и это сорвало уборку.

Завалин вошел в помещение клуба, как раз когда судья произнес слова «именем Эрсафэсэр», подошел к столу, взял судью за руку и вывел из помещения. Усадил законника, громко ругающегося матом, в ходок, отвязал мерина

и хорошенько хлестнул. Судейская колесница с треском вылетела из ворот...

Подсудимые, свидетели и остальные трудоспособные вместе с «политотделом» отправились на работу. До вечерней зари управились с самым трудным участком поля. Завалин доказал, что высший авторитет в районе — политотдел.

Я, конечно, знал уже об этой истории и резко выступил на бюро райкома, потребовал впредь строго соблюдать партийные решения и предварительно извещать МТС о предполагаемых действиях любого районного органа. Иначе подобные действия будем считать срывом государственных мероприятий!..

Многим должно показаться странным, что политотдел — учреждение, созданное в обстановке, возникшей к середине тридцатых годов, — занимался главным образом укреплением авторитета Советской власти и проведением в жизнь планов, спущенных из центра.

Политотделы срывали попытки очковтирательства на местах, выявляли взяточников, боролись с бюрократами и жуликами. Газета МТС «Стальной конь» постоянно публиковала заметки селькоров о всяческих злоупотреблениях. Редактировал ее я: редактора так и не прислали.

Решили мы с Сашей Завалиным побывать в самых отдаленных колхозах нашей зоны.

Проселочные дороги просохли — можно обернуться за два дня. Съездить давно пора. Эти татарские села пользовались особой славой. Там много рабочей силы, и это, казалось бы, хорошо. Предколхоза Билял Джелалетдинов за пять лет своего руководства «Большим Уралом» получил пять переходящих знамен, причем одно — от Совнаркома РСФСР. Но слава была односторонней.

Тревожила другая слава. Среди колхозников много потомственных конокрадов! Почему-то «Большой Урал» с подозрительной быстротой выполнял задания по транспортировке посевного материала и даже химикатов для удобрения, в чем, как правило, отставали все остальные хозяйства. Потом выяснилось. Привезут посевной материал, например картофель, и съедят. Семенной съедят! Даже посаженную картошку выкапывали...

«Большой Урал» изобиловал контрастами. Конокрады и пожиратели своих будущих урожаев отличались чисто-

той и сверхаккуратностью внутреннего убранства в своих домах. Начальство любого ранга внушало им непобедимую робость, почти гипнотическую покорность. Скажете в присутствии дежурного по сельсовету: «Дровец бы», — дежурный, обычно школьник, кидается со всех ног и через минуту в сених и возле печки наваливает большой запас отличных дров. Но достаточно начальнику уехать — село преображалось. Люди уходили в свои дома и дворы и сидели, как в норках...

Весной, в пахотную страду, когда трактористы выезжали в поле, внезапно приехал в «Большой Урал» политотделец Завалин. О его прибытии еще не успели узнать. И увидел Завалин, что механизаторы оставили машины с включенным зажиганием прямо в борозде на холостом ходу! Ушли по своим делам...

Изучая этнографию и агроособенности нашей зоны, историю деревень, сел и хуторов, мы ломали голову, как только доходило до «Большого Урала», — уйма загадок для новичков. Районные деятели вздыхали, пожимали плечами, приговаривали:

— Что ж делать? Однако все они азиаты...

После наших просьб райком и РИК выделили «Большому Уралу» шефа. Когда грузовик с шефами прогудел по главной сельской улице и остановился у резных ворот сельсовета, село вдруг вымерло. Шефство поручили... милиции!

Мы с негодованием отвергли такую помощь районных властей. Долгое время большеуральцы отказывали нам в доверии, не понимали, что за странные пошпли начальники — почему не орут, не пугают, не наказывают...

Вернемся к нашей поездке. Поводом к выезду явился сигнал о неблагополучии в отношениях между руководством и рядовыми членами колхоза.

Вот что прочитали мы буквально вчера:

«Тов. Джелалетдинов питается качественным белым хлебом, живет как хан со своими женами... Народ пухнет, сидит голодом: приели уже лебеду. А у председателя в городе всё начальство кумовья. И в области. И в самой Москве. С ним не то что спорить — поговорить нельзя. Чуть не по нем — угодишь под суд: слишком принципиальный...»

Подписи не было. Мы решили проверить на месте... Приехали...

Саша пошел беседовать с колхозниками. Не на собрании, а у них дома. А я явился в сельсовет и послал дежурного за председателем.

И вот я сижу за большим письменным столом. Это сооружение — два на полтора метра с гигантскими тумбами, по полдюжине ящиков в каждой. За моей спиной — веревки малиновых, бархатных и пламенно-оранжевых шелковых знамен. Три стены кабинета увешаны впечатляющими диаграммами: разноцветные столбики, шарики и зигзаги.

Чу! Скрипят ступени или новые сапоги — идет что-то тяжелое, как робот. Приближается медленно и неотвратимо. Вошел человек. Скрип прекратился. Он смотрит на меня, верней, на свой стол. Не ожидал, что я вот так пахально устроюсь за «его столом». Что-то изнутри прорывало меня: «Встань, иди навстречу». Удержался, решил первым даже не начинать разговора.

Помолчали. Затем мужчина подошел к столу, протянул руку, взял за спинку стул и грузно опустился; расставил толстые ноги в новых, окованных желтой кожей, пушистых белых пимах, которые я внимательно разглядывал, не в силах поднять глаза выше. Это сделать мне удалось специальным напряжением воли не слишком скоро, а с достаточной выдержкой, так что я сумел зафиксировать и стеганку полувоенного образца, и трижды обмотанное вокруг шеи кашне, и лисью шапку-малахай, и между свободно ниспадающими меховыми ушами скуластое морщинистое лицо старого монгола: усы подковкой и ярко-розовый рот, сложенный, однако, бесстрастно, с необходимой примесью деловой скорбности, выработанной на бесчисленных приемах различных уровней. Глубоко всаженные черные с желтоватыми белками маленькие глазки так ощупывали меня, что мне казалось — по коже ползают цепкие жучки. В глубине глаз что-то тлело, но что именно, я не мог понять.

По-моему, я не вызвал у председателя тревоги своими очками. Он и сам был в дорогих роговых очках.

Визуальная церемония завершилась. Джелалетдинов испустил полувздых-полустон. Вероятно, для того, чтобы наглец понял, до какой степени тяжело бремя власти пополам с ответственностью. Чтобы я прочувствовал легко-

мысленность своего поведения, чтобы ощутил разницу в жизненном опыте.

И я — ого как! — уразумел. В самом деле: ему за шестьдесят, а мне вдвое меньше. Я знал, что эта возрастная неполноценность легко читается на моем лице, знал и снова заставил себя держаться непринужденно: «Пускай думает обо мне, что хочет».

Вот и дождался — Билял заговорил:

— С приездом, товарищ начальник.

Он протянул через стол свою маленькую сухую ладошку. Я пожал и слегка встряхнул эту руку, но ничего не ответил, хотя меня просто разрывало.

— К уборке готовимся, товарищ начальник, а?

Я кивнул.

— Пообедаешь? — Он перевел взгляд на ходики, на честно отмахивающий время маятник.

Я вытащил свои паркомземовские часы и наконец-то проговорил:

— Сперва дело — кратенько расскажите, в чем нуждаются колхоз и село.

Я отстегнул кнопку планшета, взял карандаш и приготовился слушать и записывать.

— Зачем спешишь? Вот дам распоряжение секретарю — поднять документацию... Покушаем, да? А вечером спокойно обговорим, что и как. Что — Москва? Живет, а?

Он вдруг переменял интонацию — уже сам готов слушать; даже скинул малахай, даже пригнул лысую голову, даже ухо, острое, без мочки, повернул в мою сторону.

Действительно, хотелось есть, и очень, все-таки шестьдесят километров по свежему степному воздуху... Кто из нас более смущен? Этот матерый крестьянский политикан или я, неискушенный москвич?

— Перед вашим, — говорю, — приходом я ознакомился с этими диаграммами. Судя по ним — колхоз процветает. Если не ошибаюсь, все это относится к тридцать первому году. А сегодня — что? Вы хозяин. Разбуди вас ночью, должны наизусть все сказать. Какие у вас претензии к МТС?

Я вернулся за стол, сел и перевел дух. Уф! Немного пару выпустил, и стало полегче. Но Джелалетдинов озадаченно поднял брови и подокал языком:

— Зачем сердиться, начальник? Поднимем документацию... Завтра — нет, лучше послезавтра...

— Простите, товарищ председатель. Времени в обрез.

И у вас тоже, само собой. Надо еще сходить потолковать с колхозниками...

Он прервал меня, качнул головой и слегка пристукнул себя по колену кулачком:

— Э-э-э! Собраание сделаем. А лучше — правление. На улице, видел, дорогой, еще грязь. Зачем тебе годить? Они у меня знают дисциплинку.

Не нравится он мне — нервничаю... Еще сильнее захотелось есть. Я заявил внезапно:

— Да нет уж, не беспокойте народ. Вот пройду по улице — зайду в любой дом, на обед попрошусь. За едой и поговорю, узнаю, как люди живут. — А сам думаю: «И к чему это все? Никакой я не дипломат...»

А настоящий дипломат, конечно, что-то раскумекал. Тлеющие искры в глубине зрачков вспыхнули, как фары. Казалось — они осветили все, что делалось за желтым морщинистым лбом. Он раскрыл розовые губы, но произнес только три слова:

— Зачем сердишься, начальник?

Черные глаза вонзились в мои очки, и я услышал тихие отчетливые слова:

— Масла сливочного надо? Могу доставить хоть центнер...

И взгляд его не опустил — он ждал ответа.

Я встал, почему-то одернул гимнастерку и взял карандаш. Стучая им по столу в такт каждому слову, спросил:

— Хочешь в подвал, да? За взятку, да?..

У меня даже татарский акцент прорезался.

Фары погасли. Лицо вполне соответствовало бесстрастно-безразличному тону его ответа:

— Э-э-э, свидетелей нет, начальник. Может, подумаешь? Мы не торопимся. Не ты первый, нет... Будь здоров, дорогой.

Он крикнул, вставая, и пошел к дверям, медленно, со скрипом на каждом шагу переставляя толстые белые ноги.

Я заставил себя не смотреть ему вслед. «А ведь правильно — зачем сердишься, начальник?» Вспышка прогнала чувство голода. Я постарался подробно записать только что происшедший разговор. Впервые в жизни мне предложили взятку. Записал. Потом свернул козью ногу и долго сидел с незажженной сигаркой во рту. Стало быть, прав старый политикан: свидетелей нет, и разговора не было.

Но и я прав! Подвал не подвал, а считается передовым

этому прохиндею, да еще в зоне полптотдела, как-нибудь помешаем!

Придя к этому заключению, я достал спички и закурил. Есть захотелось нестерпимо. В этот момент пришел Завалин, очень оживленный. Такому длинноному ничего не стоило сесть на угол стола. Саша так и сделал, и официальное помещение сразу потеряло часть своей напыщенной обстановки. Его глаза обежали стены, веер знамен за моей спиной и многоцветные диаграммы.

Я расстегнул планшет и подал Завалину мою записку. Задал я ему работу — разбирать карандашные заметки.

— Такой оборотик, — задумчиво пробормотал Саша, возвращая блокнот. — Зря отказались, Илья Львович, пообедать. Минимум двух зайцев убили бы. Не уверен, что старик с места в карьер отравил бы вас... Что же, делать нечего, да и пора подзаправиться. Выйдем к нашему экипажу.

И мы направились к коновязи, где толстячок Костя переминался с копыта на копыто. А увидев Завалина, приветливо фыркнул.

Забрались с ногами в корзину ходка. Саша развязал узелок и протянул мне коричневую картофельную шанежку. Вот что такое семейный человек — с Марусей не пропадешь. Завалин взял другой пирог. Ели с чувством, старались не крошить. Ели пополам со здешним воздухом. Заметим, что края тут очень славные, просторные не только вверх, но и в стороны. Тут и рощицы тополевые, берзовые, замечательно круглые, будто специально рассаженные, называемые колками. На Ялуторовщине хватает озер и озерца — есть где порезвиться рыбе и утке. Леса сосновые, пожалуй, только на берегу Тобола, но лиственных колков, повторяю, сколько угодно. Большая-пребольшая земля. Было где разгуляться коцским табунам. По старой энциклопедии, в Ялуторовском уезде насчитывалось свыше ста тысяч конских голов! В то время и конокрады свободней действовали, поскольку лошадь не состояла под таким строгим учетом, как теперь... Однако кони — это уже прошлое.

Я жевал шанежку, глотал большеуральский воздух, водил глазами вокруг и чаще всего останавливал их на Костиной кругленькой спине.

Если бы Саша знал, что я, его начальник, смотрел на него буквально как на ниспосланное свыше благодеяние, он, наверное, изумился бы. Он не был избалован особым

вниманием. Привык, чтобы на него наваливали самое тяжелое. Совершенно лишенный начальственного апломба, я имел в достатке здоровое любопытство и девственный интерес к новым сферам работы, где Завалин был как дома. Он внушал мне столько доверия, столько симпатии, я так верил его опыту, что в сумме мы обеспечивали твердое постоянное руководство работой политотдела. И это передавалось окружающим. Очевидно, в этом заключались основы «политотдельского стиля», которые возникли на месте.

У Завалина были отличные деловые качества: инициативен (но ведь это полагается и подчиненному!), целеустремлен (опять-таки требуется хорошему исполнителю), компетентен (вот уж это чисто руководительское свойство!) и надежен.

Иногда, в совершенно неподходящие моменты, я задумывался о том, почему же не послали начальником Сашу. Почему Москва отобрала из ряда возможных кандидатов на политотдельскую работу такого, как я? Я открыто боялся не оправдать высокого доверия вследствие незнания деревни. Навряд ли в Центральном Комитете взвешивали два варианта: редактор или начальник? Что усмотрели во мне или в моих характеристиках члены оргбюро?

В конце концов я пришел к выводу, что в случае с «выбором» места работы была «божья воля» и зацепившаяся в памяти географическая точка — паспортное место рождения. Я перестал напоминать о себе. Потом уехал, и обо мне позабыли.

И началось сосуществование штата ялуторовского политотдела. Случайно мы подошли друг другу, оказались совместимыми. Но и поле деятельности тоже было случайным. Почему-то именно нас привязали к определенной зоне, где хозяйства разбросаны, агроистория не изучена, а перегибов всяких — навалом! Может, именно поэтому районные органы отступились от этого куса территории. Наше дело было расхлебывать, ликвидировать последствия и выполнять планы. Но даже в этом нам противодействовали, а противодействие, как известно, сплачивает.

Аналитического опыта у нас не было, но чего-чего, а энтузиазма и энергии хватало. Вероятно, на ближайшее окружение мы влияли, иначе МТС не подняла бы первую в истории этих мест зябь с помощью трех десятков устаревших тракторов. Урожайность же пришла после нас.

Два года МТС еле-еле собирала на семена. Так было плохо. Но урожайность пришла!.. И память о нашем политотделе жива в моих ровесниках...

Я жевал Марусину шанажку, оглядывал окрестность с высоты нашей тележки и старался представить себе в будущем расширение зоны деятельности МТС.

...Сегодня, столько лет спустя, мне ясно, что водоворот тогдашней текучки засосал не одну хорошую идею. Надо ли досадовать по этому поводу? Понятно, что МТС доставались труднейшие и сложнейшие проблемы — с более простыми справлялись районные власти...

Саша перебил мои мысли. Он дал мне кусочек чего-то, похожего на оконную замазку, — нечто серо-бурое, странно пахнувшее. Я вертел это самое в пальцах и наконец спросил:

— Саша, что это?

— А это — хлеб, товарищ начальник. Он бывает аржаной, бывает пшеничный, или ситный. А вот это называется лебеда...

— Это и есть лебеда?

Я попробовал вещество на зуб, разжевал, выплюнул себе на ладонь и понюхал. Вспомнил хлеб двадцатых годов — «солому вытащишь, песок останется», — вспомнил мамины лепешки из картофельных очистков. Лебеда была похуже...

Так вот что едят большеуральские земледельцы.

— Не станем тут задерживаться. Как считаете, Саша?

Он с удивлением глядел на меня: отмахать столько километров! И сейчас же обратно?!

А я кишками чувствовал — надо торопиться. Сегодня бюро райкома — вот я и угощу их лебедой...

Одна из тысячи неожиданностей на политотдельском пути. Отложить на после? А мужчины, женщины, старики и дети пусть пухнут с голода? Ну, нет!

Разве в том дело, чтобы угощать руководителей района лебедой? Бить в набат надо, а не предоставлять исход бедствия божьей или чьей бы то ни было воле. Нас не подкупить пудами сливочного масла. Сами подтянем ремень, заставим эмтээсовский аппарат бегать, а не ползать и выжмем из ржавых «Джондиров» все, на что они еще годны!.. Вот она какая, лебеда.

И Завалин тронул вожжой Костю. И наш верный друг и сотрудник взял с места доброй рысцой.

— Домой-то ехать веселей,— сказал Саша не то мне, не то коню.

Однако же как ни весело мы ехали, а через полчаса услышали приближающийся топот. Смотрим, нас догоняет и легко обгоняет экстраклассный рысак. В легкой пролетке — двое. Массивная фигура — Джелалетдинов, а рядом — какой-то паренек. Предколхоза — хлоп малого по плечу, а тот: «Тр-р» — и резко затормозил. Повелительный другой хлопок, и парень перевалился через борт экипажа, выскочил на дорогу. А председатель схватил вожжи одной рукой, другой приподнял кнутовище, и красавец конь рванул, обдал нас пылью и пропал из глаз.

Остановились и мы. Одновременно решили: потолкуем с высаженным молодым человеком. Это был коротконогий косолапый парнишка лет восемнадцати с бледным лицом идиота и очень крупными кистями рук. Он как бы нехотя выбрел на обочину, выбрал кочку посуше, уселся, достал из-за пазухи просторного брезентового халата газетный сверток, бережно развернул бумагу и расстелил ее на коленях. Подходя, мы увидели: молодец прикусил зубами краюху белоснежного каравая, взглянул на нас с Сашей исподлобья, и нам показалось, что он хихикнул.

Саша присел по одну сторону едока, я — по другую. Произошел знаменательный разговор:

Я: Салямалейкум.

Юноша: Алейкумсалям.

Завалин: Ты — кто?

Юноша: Человек, однако.

Я: Что ты делаешь?

Юноша: Однако, ем.

Завалин: В колхозе что делаешь?

Юноша: Конюх, однако.

Я: Председателя возишь?

Юноша: Когда и его.

Завалин: Комсомолец?

Юноша: Кто?

Я: Ты.

Юноша: Однако, еще нет.

Я: Дайте, Саша, эту лебеду.

Саша из своей полевой сумки вытаскивает давешний кусочек, передает мне, а я верчу под носом у конюха и спрашиваю, что это такое:

Он: Хлеб, однако.

Я: А ты-то что ешь?

Он (пожал плечом): Сам видишь.

Завалин: Председатель дал?

Он: Ну. Дак чо?

Я: Апа-ата есть? Мама?

Он: Есть, однако.

Завалин: Они что едят? Вот такой, белый?

Он пожал другим плечом, продолжая чавкать.

Завалин: Товарищ начальник, боится он.

Я: М-да-а.

Пауза. Малый с дурацким равнодушием ест свою краюху, показушный паек.

Я: Зачем тебя высадили?

Он: Она скорей город хотела. Она любит скоро.

Мы встали, а парень остался сидеть и жевать. Забираемся в ходок, и Костя спокойно трогает. Старик спешит, стало быть, к городскому начальству, а нам остается уповать на Костино стремление к стойлу. Обговариваем возможные варианты дальнейшего хода событий и действий, за исключением одного. Именно этот ход нами почему-то не предусмотрен. И он — последствие моего отказа от взятки.

Костя бежал к дому хорошей рысцой. Как лошадь, так и седоки, конечно, поняли, что не следует и пытаться вступить в состязание с кровным племенным жеребцом Джелалетдинова. Поэтому мы устраивали привалы через каждый десяток километров: сами себе хозяева, а Марусины шанежки все еще поддерживали в нас энергию.

Мы ехали и отдыхали от всяких забот и волнений, ехали по сухому серо-голубому, проселку, мимо кругленьких рощиц-колков, мимо светлых озер, под уральским небосводом, звонким от птиц, подгоняемые постоянным течением ветра, рожденного где-то в Афганистане. Он еще не стал суховейным; настоящий жар не набрал еще полной летней силы.

Костя шел ровно, изредка приподнимая свой далеко не пышный хвост и роняя на дорогу два-три желто-коричневых кругляка. Мы пока не прибегли к помощи цыганского овса: кнут преспокойно лежал в соломе под нами, о чем Костя отлично знал. Сейчас он возвращался, а это — совсем не то что ехать в командировку. Если вожжи брал я, Костя это мгновенно усекал и бежал чуточку ленивей, показывая, что дорога не такая уж гладкая. Тогда Зава-

лин усмехался, вытаскивал из-под ног кнутик и делал вид, что собирается щелкнуть; Костя фыркал, мотал головой и слегка убыстрял шаг. При всем этом Костя не забывал, что дело — к дому.

Мы с Сапеей поглядывали по сторонам и порой лениво высказывались в том духе, что, дескать, так и лето пройдет, а мы по-настоящему ни разу не отдыхали, — Сапа, тот, бывало, намекал на желание поохотиться, либо посидеть с удочкой. В общем-то пустяковые жалобы: какого лешего особый отдых, если мы молоды; если вот так прекрасно катаемся среди зеленых просторов, овеваемся свежим ветерком, слушаем птиц и нюхаем запахи трав, так называемых сорняков. Лафа, да и только!

Было уже сумеречно, когда Костины подковы простучали во всю ширину шпальный настил железнодорожного переезда близ станции Ялуторовск. Голодные пассажиры выгрузились у здания райкома.

Разминая замлевшие ноги, я поспешил на второй этаж, где был кабинет первого — он же зал заседаний, — унылая темноватая комната. Во время заседаний небольшие окна всегда были закрыты.

В этом зале как раз шло очередное закрытое, как окна, заседание. На стульях и подоконниках сидели человек двадцать. Я собрался занять место поближе к дверям. Однако первый мой знакомец, заворг Попов, начал кивками и подмигиванием приглашать меня в президиум.

Весь сегодняшний день, заполненный событиями и скудный в смысле еды, но проведенный в дороге — красивой, разноцветной и многозвучной, — выветрил из меня какие-то нравственные яды, последствия перенапряжения предыдущего времени. Я, оказывается, не просто отдохнул, а освободил мозг для трезвых и естественных размышлений.

Но не успел поразмыслить — вижу, входит Завалин. Я делаю ему знак рукой, показывая на свой стул. А сам ухожу за стол президиума и подсаживаюсь к Попову.

Кусочек лебеды в планшете — вот что не дает покоя. «Сейчас я им покажу, по рукам пушу!» Кажется, они действительно ожидают чего-то. Мое лицо должно быть бесстрастным.

Через головы передних пошла в президиум записка. Я оказался ближайшим к залу, и клочок бумаги попал в мои руки. Я машинально развернул. Три или четыре строчки, написанные дрожащим почерком, — бросилась

в глаза подпись: «Б. Джелал...» Передаю записку Попову.

Я очень волновался и ни о чем не думал, кроме одного: «Этот гнусный человек здесь!»

Не успел Говорухин прочесть записку Биляла, как я прервал выступающую толстую женщину, которую пикто не слушал:

— Дайте слово.

Говорухин сперва втянул голову в плечи, исподлобья глянул на ораторшу и сказал:

— Закругляйся, Тарасова. Хватит...

Женщина с видимым облегчением пошла в зал.

— Давайте, товарищ начальник! — сипло объявил Говорухин.

Он высунул голову обратно, стараясь не смотреть на меня. Я вышел из-за стола, подошел к первому ряду, разжал ладонь и спросил:

— Это что?

Все почему-то поднялись с мест, а Саша Завалин очнулся от дремоты, тоже встал, готовый прийти мне на помощь.

— Что это такое? — повторял я все громче, потому что уже завелся. Потом я пошел вдоль передних стульев.

Длинный малый, сосед Завалина, осторожно взял, понюхал и сейчас же удовлетворенно сообщил:

— Однако, лебеда...

Все участники заседания оживились и наперебой стали просить, чтобы дали поглядеть. Заседание превратилось в разноголосую сутолоку.

В суматохе не заметили исчезновения председателя «Большого Урала». Правда, Саша Завалин успел протелефонировать нашему чекисту Боброву о том, что предколхоза «Большой Урал» находится в Ялуторовске с доносом на политотдел.

Толстяк Попов метался среди зала, кричал:

— Соблюдайте порядок! Ведите себя тихо! Товарищи! Будем организованными!

Я был самым неорганизованным. Силен же азарт политической драки.

— Что это? Как вы считаете? — приставал я к людям, заражая их своим возбуждением и почти каждому тыкал под нос зловредный бурый комок.

Конечно, я потерял самоконтроль.

Внезапно увидел лицо моего Саши, его одобряющую улыбку с оттенком удивления. Позже он сказал мне, что

наконец увидел начальника таким, каким ему хотелось, — в бою.

Какою же напряжением накопилось во мне с момента приезда сюда! Нет, еще раньше — с явки в Свердловск. Раскрасневшийся, потный — шея чешется в суконном вороте, — я вдруг сел на подставленный кем-то стул, тут же вскочил, подошел к окну, распахнул обе створки, и со двора донесся, как в сказке, веселый и хриплый петушиный крик...

Созданное моим напряжением некое поле ослабло в наплыве вечерней прохлады из открытого настежь окна...

Окно как раз приходилось над подъездом, поэтому даже в сумерках я узнал по походке человека в очень аккуратной военной фуражке — самого важного по рангу чекиста в районе, — второго моего зама, Сашу Боброва. Он будто почувствовал мой взгляд, поднял голову и четко козырнул...

Мы сбегает по лестнице втроем, залезаем в наш экипаж, Саша-старший, Завалин, уже отвязал Костю. Тот резко тряхнул ушами и взял с места уверенной иноходью.

Минут пятнадцать безмолвной езды во мгле, пахнувшей лошадью и пылью, и политотдельцы высаживаются в своей резиденции.

Саша Бобров нагнулся к самому моему лицу и тоном рапорта говорит:

— Товарищ начальник. Билял у меня в подвале...

Ну и ну! События развиваются стремительно.

— С ума сойти, — шепчу я. — Зачем вы так?

Бобров подождал, послушал, как я дышу. И совсем мягко объяснил:

— Пускай ночь поостынет, а утречком побеседуем. Так положено. Есть санкция прокурора области на допрос.

Мы с Завалиным ошеломлены, и Саша-старший говорит Саше-младшему:

— Спешить поспешили, а опоздали.

— Куда я опоздал?

— Конечно, Билял еще днем накапал Говорухину, а тот по команде позвонил в Свердловск... Ладно, каша заварилась. Ленин советовал: главное — ввязаться в драку, а потом... забыл, что потом.

Я говорю Сашам, что теперь может произойти такое, чего мы не предусмотрели. Все это, конечно, не страшно: колхозники обязательно будут за нас, а я сегодня же

ночью напишу в Москву подробно. Это и есть новый подход к политработе — смелый, рискованный и даже, так сказать, чреватый временными осложнениями.

По крайней мере с неделю после этого ЧП у нас было невпроворот нахлынувших текущих дел.

Я получил из Наркомзема большую книжную посылку — новинки. Среди них шолоховскую «Поднятую целину». Взяться за нее пока не было времени. Политотдел занимался энтээсовским аппаратом — людьми, в высшей степени ленивыми.

Об Архипше я уже рассказывал. А наш директор? Высокий, горластый, с глазами навыкат — в нем ошибочно предполагался административный талант; он любил врывать в деловые беседы, приплетая какое-либо звучное выражение. В прошлом он заведовал областным управлением по заготовке скота, а оттуда был не то снят, не то выдвинут к нам, в МТС. Земледелие для директора было вещью в себе, совершенно непознаваемой. Мы поняли это вскоре после того, как Ялуторовск посетил первый секретарь Уральского обкома, принимавший энтээсовский актив в спецвагоне. Инструкторы сообщили руководству, что МТС плохо обслуживает колхоз близ станции Томилово. Крутой мужчина этот секретарь! Немедленно наорал на директора, но тот встал в гордую позу и громогласно выпалил одно слово:

— Экстраполяция!

— Ты что сказал? — Секретарь начал наливаться кровью.

Прибывшие в спецвагоне инструкторы вряд ли поняли это звучное слово. Но, видимо, все знали нашего директора. Конечно, знал его и «хозяин». Да и директор знал «хозяина». И все же каждый раз, когда им были недовольны, из него совсем произвольно, под волшебным каким-то давлением, со свистом вылетало то или иное выражение констатационного характера. Подтекст таких высказываний был, скорей всего, таков, что, дескать: «А-а! все равно...»

Политотдел раскусил директора, не стал тратить времени и сил на него и со вздохом взял на себя львиную долю управления МТС. Таким путем явно нарушался запрет Наркомзема «подменять» дирекцию. А что мы могли сделать?

...Наш главный агроном, крайне пассивный, поповский сын, не страшился ни выговоров, ни увольнения, в силу генетических представлений — покорялся божьей воле. Разбросанные по полям и дорогам бороны, плуги и прочие прицепные орудия ржавели под снегом и дождем. Агромероприятия почти не проводились, кадры трактористов если и набирались, то в основном того же сорта, что конокрады в большеуральском колхозе. Он изредка подбивал сводки, выкрикиваемые по сельсоветской телефонной сети, Архипша их записывал, а уже сложение и вычитание производил наш агроном. Сын священника, как теперь я вспоминаю, давал нам консультацию в непонятных для нас случаях, и она была вполне компетентна. Но пассивность и нечувствительность к взысканиям могли хоть кого вывести из себя...

А мы хотим заставить этот «аппарат» бегать. Смешно. И сами носимся как угорелые. Мы беспокоим всех и вся. У нас всегда нет времени.

После допроса Б. Джелалетдинов дал подписку о невыезде из «Большого Урала» до окончания следствия и, возможно, до суда. Он возвратился к своим женам, но очень энергично занялся колхозным производством, и апономок больше не поступало. Мы посещали большеуральцев и пользовались у них симпатией и авторитетом. И все-таки...

Как-то в осенний день мне позвонил из райкома Попов: не найдется ли у меня свободных полчаса — хочет побеседовать товарищ из области по неотложному делу. Ничего не подозревая, сажусь в ходок. В городе я походил по некоторым учреждениям и напоследок прихожу в райком. Попова нет. За его столом сидит пожилой дяденька в бостоновом френче. Я почему-то решил, что это и есть товарищ из области, и, подойдя к столу, представился... Он тоже назвал себя и попросил посидеть немного, а сам убежал. Действительно, через короткое время он вернулся вместе с двумя товарищами.

Оказалось — специально созданная тройка по моему делу.

Интересно, что за дело и зачем целая тройка?

Первый товарищ заявил, глядя в какую-то бумагу, что дело крайне серьезное, и попытался изложить суть лежащего перед ним документа... Остальные молчали, за все их пребывание я так и не слышал их голосов.

То ли из-за серьезности дела или по причине неопыт-

ности в таких делах — моей и приезжего товарища, я ничего не понял из его слов. Говорю: «Дайте, пожалуйста, этот документ мне прочесть». Он поколебался, переглянулся с другими членами тройки и нерешительно протянул мне свой лист. Он был исписан странно знакомым почерком, дрожащим, но четким. Внизу стояло много подписей. Но одна была уж совсем знакомая — «Б. Жел...».

Это был донос. Я, начполитотдела, обвинялся «в сборе образцов хлеба» с самыми контрреволюционными намерениями переправки «образцов» в некую империалистическую страну для устройства нелегальной выставки в целях дискредитации колхозного строя.

Я был молод в ту пору. Наивен в достаточной степени. Никакого страха не почувствовал — только голое любопытство. Еще раз перечитал, сложил вчетверо и положил в карман гимнастерки. Вся тройка издала испуганный вздох:

— Верните, пожалуйста,— сказал первый.— Пусть это будет у меня.

Я покачал головой, поднялся с места и взглянул на свои наркомземовские:

— Сам перешлю в Москву.

— Ну, пожалуйста, отдайте,— молил председатель тройки, складывая руки ладонь в ладонь на уровне своей груди.

Я внимательно оглядел эту тройку. Они тоже встали и жалобно смотрели на меня.

— Ай-я-яй,— укоризненно сказал я, повернулся и вышел в коридор.

Председатель кинулся вслед и прыгающим голосом заговорил:

— Мы доложим обкому, ладно?

— Ладно,— говорю, не останавливаясь.— Там и потолкуем. А пока, будьте здоровы. Мне работать надо.

Я ушел.

Этой встречей мое дело было исчерпано — продолжения не последовало.

«Большому Уралу» вскоре дали достаточную продовольственную ссуду, и лебеда перестала быть заменителем хлеба в районе.

Возможно, все обошлось именно так потому, что я был непуганым? Некоторым не так везло на счастливые случайности. Хорошо, что мой чекист был добрым человеком, понимал политический момент и был отличным другом.

...Одним из мотивов моего позднего вступления на литературную стезю была неуверенность в своих силах. Хотя мне важно было мнение знатоков, я почему-то стыдился показывать свои стихи.

С огромным опозданием прошел я еще одну стадию духовного роста: горестное и кроткое признание своего ничтожества перед наличием уже добытой человечеством красоты. Иногда вдруг приходило блаженное состояние — желание сочинять во что бы то ни стало. Тогда я хватался за книги, и они не отвращали меня от ворочающихся в мозгу слов и сочеганий.

Не славы я ищу, не блага.
Любовь? Я от нее немой.
Тюрьма? Страшной тюрьмы бумага,
Старинный белый недруг мой.
Боюсь ее — над ней клубится
Опасных духов смутный рой...

Это походило на заклинание, на попытку поделиться чувством бессилия и раздражения.

Политотдельский период стал началом моей литературной жизни. И стихи, написанные в январе 1934 года, так и называются «Начало».

Спустя много лет, уже в послевоенное время, я побывал в Донбассе. Однажды бригада писателей — Атаров, Бек и я — съездила на такси в старобешевскую МТС к знаменитой Паше Ангелиной. Мы сидели в ее доме. Вспомнили о политотдельском периоде. Я решился прочесть «Начало». Последние строки: «Трактористка шла на смену, отгоняя песней страх» — произвели на нашу хозяйку удивительное действие.

Эта всенародно известная женщина вдруг замерла, устремила куда-то взгляд и задумалась. Мы, понимавшие Ангелину до этой минуты как сугубо практичную, очень трудовую и сильную личность, чуждую лирике, увидели перед собой украинскую дивчину, очень похожую на героиню моей поэмы. Пока я читал стихи, Паша, очевидно, что-то вспоминала. Потом повернулась к моим спутникам и сказала:

— Если бы не политотдел, то и не знаю, куда бы пошла моя дорога, да и других баб...

Я в свою очередь рассказал об Анисье Тарасовой, папшей единственной среди мужчин ялуторовской трактористке. К ней и относилась концовка «Начала».

Папа достала из буфета поллитровку, повертела горлышко в здоровенном кулаке, оттирая сургуч, выколотила пробку, налила во все кружки и произнесла: «За то время, за политотдел!» И все мы выпили.

Никаких корней политотдельцы в зонах своей деятельности не имели, навыка к обману начальства не было, личной пользы, корысти не извлекали. И если у большинства политотдельцев была совесть и желание улучшить жизнь крестьянства разумными советами и примером, — это непременно должно было принести эффективный результат и укрепить доверие к Советской власти, к политике партии, представителями которых мы и являлись. На ялуторовской земле слабенький тракторный парк впервые за столетие с лишним поднял целинные пласты многолемешными плугами, пробороновал и засеял. И пусть первый урожай не превысил расхода семян, зато в последующие годы земля ответила такой благодарностью, что и сегодня район живет намного лучше, чем когда-либо...

Нас было так мало — всего четверо. Из них двое — я и мой зам Бобров — только учились, по сути дела. А Саша Завалин и Степа Предеин, два молодых человека с деревенским опытом, проделывали работу неслыханной трудности. И весь маленький коллектив в целом оказался таким дружным и единомышленным, таким бескорыстным и целеустремленным, что завоевал уважение колхозников, приучил их к откровенным беседам, без страха за последствия этой искренности и доверчивости.

Весной 1935 года политотделы были официально признаны выполненными с честью свое назначение. Меня в числе многих политотдельцев рекомендовали на партийную работу в качестве секретаря райкома. Нас оставляли на продолжительный период.

Так обстояло дело, когда меня выпросил секретарь Союза писателей А. С. Щербаков «для коммунизации аппарата». Не без сопротивления, с нажимом на мою сознательность, я все же был откомандирован в Союз писателей в качестве референта по областной литературе. Как раз

в ту комиссию, которой ведал мой товарищ Кропид Малахов. Это его дружеское отношение помогло мне приблизиться вплотную к литературной среде.

Я был принят в Союз и считался кандидатом в члены. Однако моя первая книжка «Песня и стих» вышла в свет только через год. Первым в ней стояло «Начало», Несмотря на тираж 5 тысяч — в то время обычный для стихов, — ее прочли и заметили известные поэты: Асеев, Пастернак, Нарбут, юный Кирсанов и юный Долматовский, Сурков и Прокофьев. Написали обо мне и критики, даже академик Иван Розанов, — книжка явно понравилась...

Я проводил массу времени в правлении Союза за чтением областных рукописей, книг и журналов. Переписывался с периферийными авторами. Встречался с ними. Беседовал. Участвовал в многочисленных совещаниях и заседаниях.

Это была служба. От и до и сверх положенных часов. Притом я почти все время был членом партийного комитета — тоже нелегкая нагрузка в условиях того периода жизни страны.

Я продолжал дружить с Завалиным. Мы переписывались, и несколько раз он приезжал ко мне в Москву. Останавливался у меня. Очень привязался к моему отцу: любил и уважал.

Всю Отечественную войну Саша Завалин служил в армии. В 1949 году он телеграфировал: «Еду, встречай». Я обрадовался и сильно волновался на перроне. Само собой — Саша будет жить у меня. Подошел состав. Двое санитаров вынесли на носилках очень длинного, очень исхудавшего майора. Он приподнялся, обнял меня горячими тонкими руками и, задыхаясь, прошептал: «Мне худо... Прислали на обследование в Лефортовский госпиталь... Поправлюсь и тогда... Конечно, к вам... Навещайте, когда сможете...» К вагону подъехала госпитальная машина и увезла моего друга...

При первом посещении врач сообщил мне: рак легкого. И конец близок. Когда я приходил в палату, Саша радовался, пробовал сесть в постели, но тут же со стоном откидывался. У него уже начались невероятные муки. А он пытался еще острить по поводу своего состояния и бессилия медицины. Я пытался отвлечь Сашу воспоминаниями о ялutorовской поре. Ему становилось чуть легче, и он говорил, что надеется встать...

Вскоре он умер...



В конце концов я оказался на обыкновенном пляжном лежаке, без матраса. В помещение входят дюжие хлопцы в комбинезонах и рукавицах. Здороваются и прощаются — ноль внимания на меня. А раз так, опять засыпаю. Один бог знает, как я был способен спать. И не спать! Ночью при свете единственной синей лампочки в сетке меня будит сильнейший хлопок по заду:

— Васька! А ну слезай, приехали. Ваш билет... Прости, товарищ, обознался.

Лицо с двумя черными усищами сконфужено. Усач протягивает мне плексигласовый портсигар...

В полудреме я все-таки очень быстро проглядел кусок своего довоенного прошлого — этакую далеко не перво-классную ленту. Некоторые детали казались вклеенными нарочито (может, при монтаже?). Мы, политотдельцы, получились неправдоподобными — уж слишком положительными. Но в одном могу поклясться: за свою деревенскую эпопею краснеть не стану.

Вот лежу на топчане в штабе ВВС. За стенами море и уходящая ночь. Что день грядущий мне готовит? Что ждет нас всех, молодежь, и таких, как я? Если конец, то какой? Если жизнь, то какая? Жить-то хочется! Обо всем сочинять стихи. Даже в грохоте боя мне слышится некий ритм: имеющие уши улавливают даже мелодию... А если смерть, то какая?

Сказал командир батареи
 Бойцам, склоненным над прахом:
 «Он был у нас всех храбрее —
 Не знал сомнений и страха!
 Теперь он с нами рядом,
 Тут же на огневой.
 Каждым нашим снарядом
 Да будет помянут герой!..»

Запел телефон в землянке —
Команду провод примчал.
«Держитесь, черные танки!» —
Наводчик закричал.
Над этой свежей могилой,
Над желтым песчаным холмом
Орудия заговорили:
Они присягали огнем...

Город готовили к бою. С севера подтягивались части 9-й армии. Полк Браилияна прикрывал отход. Сформирован сводный отряд николаевской милиции. Зенитчики 9-й армии стали поясом на сухопутных окраинах. Летчики приходили в комнату, где я спал, говорили:

— Ну и зенитчики! Вот бьют! Не так «мессеры» страшны, как паш огонь. Еле продрался к аэродрому, чуть не сбили у Днепра...

Утром мы, как всегда, разыскали друг друга, — я говорю о газетчиках. Сведения неутешительные. Немцы приближаются. До полудня шла эвакуация разных учреждений, госпиталей, школ.

Во второй половине дня нам сказали, что в городе есть военный комендант, фамилия его не то Матвиенко, не то Мацпенко. Наша бригада — Поляков, Мартын, Левада и я — поймала его, уже садившегося в машину. Он почесал лысую голову, поглядел на нас детскими голубенькими глазками:

— Корреспонденты? Есть у вас транспорт? Хорошо. Вы народ подкованный. Валяйте на Водопой и задерживайте бойцов. Я еду туда. Говорят, замечены на востоке танки. Надо срочно организовать оборону и продержаться до подхода 30-й дивизии... Выполняйте!..

Матвиенко нахлобучил фуражку на лысую голову. Еще не успел сесть, как «ЗИС» рванул вперед и старик плюхнулся на сиденье. Комендант внушал к себе доверие, и мы поспешили к Супенку.

Захар, сидя на бампере, доедал из котелка борщ, тщательно гребя ложкой по дну. Он был обстоятельным и несуетливым мужчиной, из категории давно обрусевших греков, поселившихся в Донбассе еще в те века, когда не было шахт и рудников, — может быть, предки нашего водителя ходили в пленниках у скифов. Эти предки не передали Супенку южную эллинскую лень и болтливость. Видимо, род Супенок когда-то все-таки породнился со

скифами. Захар не отличался пропорциональностью сложения: ноги чуть коротковаты, плечи широковаты, но лицевой угол греческий — если не путаю термины, — с прямой линией лба и носа; смуглая кожа и красивая посадка круглой головы на длинной шее между широких и покатых плеч довершали представление о природном атлетизме. До войны он служил шофером в совхозе недалеко от Сталино.

Мы подошли к машине. Супенко встал, вытряхнул котелок, вытер ложку о колесо, заткнул за голенище и сказал, что сержант Супенко готов выполнять...

— На Водопой, — сказали мы, с двух сторон забираясь в «эмку».

А где он, этот Водопой?.. Но Захар уже двинулся и ехал, куда белобровый регулировщик не остановил его, почему-то вытянув фиолетовый флажок.

— Пропуск...

Парни обменялись короткими фразами, белобрысый взял под козырек, а Супенко молча развернул машину в обратном направлении. Значит, все в порядке, и Водопой — вполне реальное место.

Водопой оказался районом на восточной окраине города, где, судя по названию и оврагу, некогда протекал ручей. Перед оврагом и за ним простиралась равнина. Наш транспорт остановился невдалеке от оврага, и мы с удовольствием вылезли на траву, начинающую желтеть под августовским солнцем. Супенко отогнал «эмку» в тень тополя. Он еще в городе закамуфлировал кузов смесью разведенной глины и мела, но еще лучшая маскировка от самолетов не мешает.

С этого возвышенного места открывался отличный обзор, по крайней мере на три-четыре километра. Далее, по невидимой линии горизонта, пестрели перелески и рощицы, — ничто не говорило о близости моря, которое так чувствуется в городе.

Мирная картина, что и говорить, если бы скопившиеся на шоссе машины не образовали пробку, начало которой скрывалось далеко за перелесками и рощами. Овраг с куском шоссе оставался еще свободным, но именно в овраге мы разглядели знакомый кособокий автомобиль и коменданта. Этот коренастый старик окружен бойцами, вероятно шоферами. У старика хорошо поставлен голос.

— Кончай базар! — зычно объявляет комендант. — Командиры, собирайте людей и располагайтесь вот тут. —

Он проводит рукой дугу вдоль кромки оврага. Вся группа следит за этой рукой.

Из города все время прибывали грузовые машины, но их дальше оврага не пускали. Водители бегали, расспрашивая друг друга о том, когда будут пускать дальше и что там впереди? Это были шоферы машин третьего и второго эшелонов отходящей армии — целые стада грузовиков, которые стали настоящим бременем для строевых частей. Комендант принял единственно правильное решение — всех боеспособных задерживать и располагать с оружием за оврагом. Сюда же подошел отряд милиции, что-то вроде сводного батальона. Плохо вооруженные, без пулеметов, милиционеры держались бодро.

После Новой Одессы я несколько пришел в себя, даром что последние ночи спал, где и как попало. Раздеваться на ночь было некогда, ибо это роскошь, это оседлость, это то, от чего надо отвыкать в боевых условиях подвижной, оборонительной войны. В те дни и ночи я не завидовал моим редакционным коллегам, спавшим в постелях или возле щелей — глубоких окопов, открытых вблизи редакции. По-моему, им было хуже, чем нам, кочевникам. Мы отдыхали наспех, где-нибудь на лесной поляне, в приднестровских урочищах, в поле или в машине. Зато, возвращаясь в редакцию, мы попадали словно на конвейер, — приходилось прикрепляться к процессу выпуска очередного номера, и... прощай, вольная жизнь...

Фронтной быт особый. Вынужденная остановка на окраине Николаева. Волей старика коменданта вся бригада газетчиков отправилась выполнять обязанности рядовых стрелков первой цепи. Комендант действовал независимо от званий, независимо от рода войск. Ряды защитников города все время пополнялись. Новые и новые бойцы, охотно или неохотно, ложились справа и слева от нас, отковыривали лопатами николаевскую землю с пожелтевшим дерном, устраивали небольшой бруствер, расстегивали ворот пропотелой гимнастерки и устраивались поудобней. Кто его знает, сколько придется лежать? Когда подойдут бойцы 30-й дивизии?

Мне хорошо был виден мой сектор обзора — восточная сторона оврага в трех километрах от меня, поросшая купа-

ми каких-то деревьев, но плоская, без уклонов и подъемов. Справа я видел шоссе, но оно считалось не в поле моего наблюдения. Я испытывал род солдатского тщеславия: приятно знать, что ты в первой линии и за тобой таких линий чуть ли не десять; кроме того, хорошо видно кругом. Стволы зенитных орудий, — значит, не только город, но и нас, пехоту, бережет артиллерия от проклятых «мессеров» и «юнкерсов».

По цепи передали:

— Танки противника пропускать, а стрелять по пехоте за танками!..

Интересно было бы не пропустить танки нашими винторезами и автоматами... Но юмористические моменты отступали перед реальным — ожидается танковая атака. Еще раз проверил, как движется затвор полуавтоматической винтовки, как подается очередной патрон. Жаль, что я лежу не за пулеметом, — я хорошо знаю «максим».

Сверху раздался деловой голос:

— Товарищ, бери газетку.

Немолодой милиционер, послунив пальцы, выдает мне из пачки мою же родную «Во славу Родины» недельной давности! Откуда она взялась? Наверно, не успели раздать в частях 9-й армии. И начинают впервые роиться мысли о газете: как они там, на новом месте? Как прошла передислокация?..

Внезапно над нашими цепями взывают тысячи ведьм. Я мгновенно соображаю: рвутся снаряды. Понимаю, бьют прямой наводкой, бьют наши зенитчики, бьют по танкам. Я вижу всего один танк. Его зеленая коробка вдруг крепится, подпрыгивает и застилается черным дымом. Но ведьмы воют непрерывно. Весь мой сектор обзора в сплошном дыму, в котором только угадываются взлетающие черные комья, какие-то палки. В ушах уже не звенит. Просто ничего не слышу. Наверное, не услышал бы даже команду. Через какое-то время, которое я не мог подсчитать, пелена пыли и пепла спадает, и мне кажется, что ничего особенного не произошло, — все деревья вроде на месте. Никакой пехоты, никаких фрицев. «Аушки» прекратили огонь и опять подняли стволы кверху. Замечательные ребята в артиллерии! Ведь это научное открытие: из зениток по танкам! Надо взять у них материал... И пошли опять суетные репортерские мыслишки, но им мешает нестройное «урррра», и я вижу в чужом секторе наблюдения бегущих людей в темной форме. Вот группа, вторая

и за ней — еще... Все бегут по шоссе на той стороне оврага и скрываются за поворотом... Сосед по цепи, судя по карабину шофер, говорит мне:

— А ведь эти мильтоны пошли в атаку. Вот чтоб мне подохнуть!..

Сердце сжимает боль за этих беззаветных парней. Весь сводный отряд николаевской милиции попал в засаду и погиб. Немцы после зенитного отпора не решились повторить танковую атаку, но держат под контролем дорогу из города, одну из трех дорог на Херсон.

Хоть нам не пришлось, отсекая пехоту противника от танков, пули, оказывается, посещали нашу оборону. Журналист Мартын обнаружил уже после возвращения в редакцию дырочку в ручке своей полевой гранаты — сквозное отверстие. Попади эта пулька на три пальца ниже, то хватило бы и для Мартына, и для соседей. Он, готовясь к рукопашному бою, не забыл вставить запал, молодец! А вынуть, конечно, забыл...

Наши места заняла 30-я дивизия. Она подошла вместе с другими частями 9-й армии. Войск накопилось порядком, и журналистские кадры пополнились. Я увидел машину Симонова, известинца Виленского, еще кого-то.

Наконец-то начало вечереть. Такой долгий день. Журналисты посовещались и решили ехать пока в город — узнать обстановку в штабе, хотя кое-что узнали в натуре здесь, на Водопое...

Поехала и наша бригада, но отстала от других коллег. Когда мы подъезжали к центру города, раздался взрыв такой силы, что звук не был слышен, просто земля подпрыгнула. На несколько мгновений весь мир онемел. Разлилось громадное зарево в стороне моря и медленно погасло.

Взорвали доки — могучие сооружения, гордость кораблестроителей.

Нам ясно — Николаеву конец. Возвратились на Водопой в сумерках. Там было форменное столпотворение. Кучей, стадом стояли машины.

Из-за оврага вернулись одна за другой две полуторки. Водители с вытаращенными глазами размахивали руками, рассказывали нашему спокойному Захару Супенко, что из посадки, километров пять отсюда, их обстреляли... Неужели все три дороги на Херсон отрезаны? Мы решили сами в этом убедиться. На дороге, где мы остановились, было больше всего машин. Решили по ней и ехать. Поеха-

ли, и все чудовищное стадо машин — за нами. Но на почтительном расстоянии — поглядеть, что будет с нами. Однако глядеть им не пришлось. Стемнело. Через минут двадцать нашу «эмку» действительно обстреляли, но не прицельно, а по звуку. Супенко решил проехать метров сто и постоять у обочины. Послушать. Через пять минут вся огромная орда машин, потеряв нас в темноте, прогремела мимо нашей «эмки». Мы заметили искорки трасирующих очередей из кустов посадки, но поток машин пошел гуще, плотней — промчались, как мустанги, подняв дикий грохот и пыльную белую завесу, видимую даже в темноте.

Мы все стоим и прислушиваемся... Ни звука. Потом снова от Николаева донесся нарастающий шум. Новая колонна машин! Нечего стоять — давай вперед!

Мы с Володей гадали вслух — куда девались немцы?

Вероятно, стадо машин попросту растоптало фрицев. Что-то мы угадали; позже мне рассказывали, что в придорожных посадках и рошицах восточней Водопоя, вдоль херсонского шоссе, среди деревьев, валялось большое количество ломаных мотоциклов, касок, обрывков обмундирования, поломанного и погнутого оружия...

Супенко хладнокровно вел «эмку» по ночному шоссе, и навстречу никто не ехал. Где-то еле слышно ворчали удирающие за Днепр из обреченного Николаева тысячи грузовых машин, сзади видно было трепещущее зарево. Наша дорога шла близ лимана, призрачно светлевшего справа. Мы с Супенко не спали, остальные привалились друг к другу, даже дыхания не слышно. Остальные — это Володя и Сашко; Мартын же исчез на окраине города — подался, наверное, к московским газетчикам: у них свои машины в их полном распоряжении...

Утром мы въехали в степной город и поняли, что это Херсон — по обилию людей на улицах и площадях.

Здесь тоже несли продукты: ящики, мешки, катили перед собой бочки, направляясь к Днепру.

Горело несколько домов шумным пламенем, и разноцветные, неизвестно почему, облака дыма густо клубились в утреннем ветре, дующем с лимана. Супенко потянул носом, брезгливо поморщился и свернул в переулочек, где виднелась вывеска со словом «ХЛЕБ». Поднялся на крылечко и заглянул в стеклянную часть двери. Она была заперта огромным «церковным» замком. Супенко ак-

куратно выдавил стекло, и я увидел его вихляющий ватный замасленный зад, когда он переваливался внутрь булочной. Вышел он уже почему-то из ворот с гигантской буханкой белоснежного пшеничного хлеба. Тяжело вздохнул, затем — стук дверцы багажника, который он закрыл тщательно, как все, что делал. Затем постукал сапогом по резинам, снова вздохнул, открыл капот, проверил наличие масла. Опять вздохнул. Закрыл капот, прихлопнул его рукой и пошел к багажнику. Запахло бензином, забулькало, — воздух. Так, вздыхая и переходя с одного места к другому, Захар Супенко выполнял обязанности фронтového редакционного шофера — от питания машины до заготовки корма для своих товарищей газетчиков.

Наверно, я забылся под его вздохи и очнулся, когда мы подскочили на рытвине. «Эмка» двигалась по дороге, обсаженной тополями, а между ними виднелась синяя водяная гладь с островками.

— Днипро, — сказал Сашко, зевнув. — Руки-ноги будто немые, и треба оправиться, а, Захар?

Володя зябко ежился и молчал, я тоже слегка окостенел: все-таки ночь не спали, и ощущение было как с похмелья...

Супенко затормозил, чуть съехав на обочину.

— Беда, — проворчал наш водитель и показал рукой назад.

У обочины, протянув вверх все четыре прямые ноги, лежал труп гнедого коня. Супенко махнул рукой вперед, — и там мертвая туша, пегаая.

— И так сквозь, — мрачно заявил Супенко. — Оть, гад...

И было ясно — он говорил о немецкой авиации. Все закурили, стараясь глядеть только на синь Днепра. Задерживали дыхание. Солнце всходило всё выше, а ветер дул на нас...

По этой аллее нам предстояло ехать семьдесят семь километров вдоль конских трупов. Если, конечно, не налетит фриц. А он почти наверняка налетит, раньше налетал на кавалерию и артиллерию. Вряд ли немцам неизвестно, что сюда, к Днепру, проследовало несколько тысяч автомашин до переправ, которые, между прочим, весьма проблематичны... Но почему-то самолетов пока не слышать. И, накурившись, лезем в «эмку». Еще ехать и ехать. Впереди, скорей всего, пробка и многое такое, о чем неохота думать...

...Незадолго до Отечественной войны в столице Калмыкии — Элисте проходил пленум Союза писателей по случаю юбилейной даты народного эпоса «Джангр».

Четвертый день пленума. В перерыве мы, несколько участников, курили на улице, у входа в театр, где проводили пленум.

Над Элистой, степным поселением, раскинулось громадное небо, сказочно синее и беспредельное, — белые общественные здания казались низенькими мазанками. Трава росла чахлая, деревья тоже. Между редко разбросанными домами насыпан гравий. Сначала я увидел ступавшие по гравию превосходные сапоги, а подняв глаза — небольшую фигурку в одежде, называвшейся крылаткой, защитного цвета. Золоченую цепочку с бляшкой. Военный на ходу распахнул крылатку, высвободил руку в черной лайковой перчатке. Подойдя к нам, он похлопал по своей размахайке стеком и провел им по сапогам. Он остановился перед нами, расставив ноги, кривые и пружинистые, слегка покачался с каблука на носок — шпоры не дзинькнули. Затем снял свою фуражку и стоял в профиль. Чернейшая бакенбарда, усищи с подусником едва не по грудь, узкая глазница на смугло-оливковой коже. «Денис Давыдов», — пронеслось в памяти. Кто-то из курильщиков узнал неизвестного:

— Здравствуйте, Ока Иванович. Что же вы опаздываете?

Генерал кивнул нам всем, затем изящно и легко, как птица, присел на ступеньку крыльца. Фуражку аккуратно поместил на коленях. Медленно и зорко обвел нас всех глазами, взглянул в родное небо и проговорил:

— Да ведь ероплан — не лошадь.

Голос был горловой, низкий и хороший. На слове «ероплан» сделано ядовитое ударение. Я сразу влюбился в Городовикова.

Перерыв кончился, и все, включая Оку Ивановича, заняли свои места. Президиуму уже сообщили о приезде гостя, Фадеев встал и пригласил Городовикова на сцену. Тишина наступила такая, что слышно было мелодичное пение шпор идущего к сцене генерала. Объявили следующего автора. Заседание пошло как обычно.

Надо заметить, что накануне произошло ЧП: поэт Сельвинский после поездки в конесовхоз очень огорчился, что ему не позволили показать там, как он умеет объезжать неуков. В Элисте Сельвинский увидел коня, привязанного

к столбу у почты. Из почтового помещения вышел юноша-калмык, почтальон. Сельвинский подошел к лошади вместе с почтальоном. И они сразу поладили: юноша отвязал коня, а наш поэт лихо вскочил в седло. Жена поэта схватилась за сердце, а стоявший в толпе любопытных мальчик лет пяти очень громко сказал:

— Она упадет.

Малыш, несомненно, понимал ситуацию. В следующее мгновение Сельвинского подняли в нескольких шагах от храпящей и волчком вертящейся лошади. Он сильно расшибся. Почтальон стоял белый как мел, бормоча:

— Лошадь самый смирный... прости, пожалуйста... Самый смирный! Как такое случилось?

Мы все очень жалели упряма. И я как раз толковал со своим соседом о характере Сельвинского, гордом и вспыльчивом, когда Фадеев сказал, что дает слово инспектору кавалерии товарищу Городовикову. Ока Иванович кашлянул в ладонь, положил стек на стол президиума и, позванивая шпорами, медленно пошел на авансцену. Там он повернулся профилем к залу и внятно сказал следующее:

— Значит, товаришы, приходится, понимаеш, сквозь видеть очковтирательство и — хм! — подхалимаж. Возьмем коммуу имени Городовикова, товарищ Фадеев. Вот вы научный секретарь, значит. И что же получается? С этим надо кончать, а иначе... Хм!

На этом междометии оратор остановился. Он молча повернул лицо к залу и развел руками, затем хмыкнул еще раз. Четко повернулся и прозвенел шпорами в президиум. Тут-то и возникла овация. Бил в ладоши весь президиум, и я прочитал на лице Фадеева такую же влюбленность, какая охватывала меня.

Затем всех пригласили на байгу — калмыцкие скачки. Байгой взялся руководить Ока Иванович. Мне посчастливилось стоять позади него на маленькой трибуне, где висел колокол. Ока Иванович успел переодеться в легкий белоснежный китель. Смуглое лицо было спокойно — чувствовалось, что он разрядил раздражение, накопившееся в нем еще во время полета на «ероплане».

Здесь, на ипподроме, ему все нравилось. Публика густо стояла вокруг просторного поля. Очень красивое многоцветное зрелище, — вдоль всего овального поля была расставлена в стойках лоза, которую всадникам предстояло рубить на скаку. У старта толпились верховые участники

праздника. Многие в ярких народных костюмах. Особенно хороши были всадницы, девочки лет четырнадцати-пятнадцати — сами как лоза, тоненькие и гибкие. Наконец он взялся за веревку колокола. И замер, как статуя.

Пронесся блеющий удар меди. Первая группа всадников сорвалась со старта. Байга начиналась заездом девушек. Около стоек взблескивали клинки, отсеченные куски лозы сыпались на обочину, а всадницы лихо взвизгивали и неслись дальше...

Я, конечно, во все глаза смотрел на генерала и находил, что он точь-в-точь Черномор, только очень милый и грациозный. Мне было не до азарта: я пехотинец и не любитель скачек. Призы выдавал Ока. В основном — тяжелые плиты зеленого чая. Вручение победителям и поздравительное пожатие рук сопровождалось криками и аплодисментами всего ипподрома.

На старте загарцевали юные кавалеристы. И тут случилось некое происшествие. Первый же всадник не смог одолеть препятствия, а именно утыканную метелками горизонтальную стойку. Конь категорически уперся, его не смогли заставить даже просто обойти препятствие. Байга затормозилась. Юноша не бил коня. Он стоял лицом к трибуне, и по его лицу катились слезы.

Городовиков знаком показал, чтобы лошадь подвели к трибуне. Она дрожала и перебирала копытами. Ока Иванович спрыгнул из-под перил с трибуны, подошел к ближней стойке и вытянул лозинку. Потом совершенно внезапно оказался в седле.

Все слышали и читали о колдунах и волшебниках. Однако я воочию видел это колдовство на степном элистинском ипподроме. Городовиков подозвал поближе заплаканного юношу и велел смотреть. Затем он наклонил усатую голову к уху коня, даже взял ухо в ладонь и конечно же что-то сказал. Плавно поднял лозинку, выпрямился, лошадь шагнула два раза и внезапно отделилась от земли. Так она летела, перепархивая препятствия одно за другим, пока не прошла весь круг и не стала у трибуны. Черномор изящно спешился, вложил повод в руку бедного парнишки и пожал ее вместе с поводом.

Трудно передать, как все кричали и смеялись. И я кричал и хохотал, как все. А мой герой чинно поднялся по ступенькам трибуны. Ударил колокол, и байга пошла своим чередом.

Вечером инспектор кавалерии участвовал в банкете,

где было накрыто много столов. Я, понятно, постарался сесть за стол, где тамадой выбрали Городовикова. Он сначала возгласил церемонный восточный тост, потом весь вечер шутил, очаровал всех женщин и остался в моей памяти таким на много лет, пока не стал низеньким старцем в темной суконной крылатке, в черных очках и с длинными, но совсем седыми усищами. Таким он вошел через годы в маленькую гостиную писательского клуба. Вошел и сел, поставив палку между колен. Группа писателей слушала дискуссию нескольких ученых из Тимирязевки по вопросу об электропахоте. Один из них, молодой человек, энергично расхваливал новый метод. И вдруг хрипловатый, чуть горловой голос спросил:

— А коня, значит, на колбасу?

Ученый и его собратья удивились — кто это? И, узнав кто, смутились и нерешительно сознались, что, дескать, ничего не поделаешь: техника.

Ока Иванович поднялся, подошел к дверям, оглянулся и сказал:

— Тьфу!.. — и вышел, сильно хлопнув дверью.

Больше я не встречал Городовикова.

Закрываю глаза, и сейчас же передо мной гнедой красавец катается по траве и фыркает от удовольствия. Он сильный и радостный. Он залиvisto ржет, и я просыпаюсь... Стоим. Темно. Я говорю:

— Володя.

— Поляков ушел вперед, на берег. Ищет переправу. Впереди пробка... — отвечает Сашко.

— А Захар?

— Ушли оба, — говорит Сашко и зевает тоскливо, с подвизгом, по-собачьи.

Мне становится скучно.

— Пойду погляжу, что ли? — вылезая во тьму и начинаю привыкать к ней. Знаю, что минут через пять буду видеть лучше всех этих «зорких». Слух у меня очень хороший. По всяким шорохам, бряканьям и прочим звукам определяю — огромный хвост автомашин не только впереди, но и за нами. Перехожу на другую сторону, вижу плавающие в Днепре звезды, слева — зарево, за ним другое, а над всем этим всплывает полный месяц, чистый янтарь. «Чудный месяц плывет над рекою» — вспоминается старая песенка и тут же «Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно...». С этими двумя строчками в го-

лове пробираюсь между грузовиками и иду по склону вниз. Сначала считал машины, досчитал до двухсот, сбился и вообще надоело. Иногда меня окликают:

— Эй, скоро двинемся?

Или — того проще:

— Не знаешь, фриц будет бомбить или как?

На оба вопроса отвечаю погромче:

— Да, скоро...

Из других таких же кратких реплик узнаю, что проспал уже две бомбежки; зарево впереди — это горящая переправа, — не успевают саперы построить, он налетает и — хана! А пока переплавляются на моторном пароме всего по девять грузовых машин...

Пр девять! А нас тут тысяч десять, когда же черед подойдет? Всё накроемся...

Наконец я на берегу. Перед мостками пристани шлагбаум. Он, этот шлагбаум, достаточно крепок и устроен на определенной высоте так, чтобы грузовик не прошел. Паром только что отошел с девятью счастливыми машинами на борту. Слышно, как чухает движок. Видны даже огоньки сигарок. Какой-то малый плюет у меня над плечом:

— Тьфу! Зараза...

— Ты о чем?

— Та за того, як кажуть, капитана чи механика...

— А что такое? — спрашиваю.

— Та то таке, шо вин, бачь, бухой, як цуцык. На ногах не стоить... Зараз, бач, як вертить.

И точно, паром отошел было от берега, а теперь движок стал слышней. Значит, капитан что-то крутит. «Тьфу», — плюется малый за плечом.

Я настроен мирно, отчасти по причине осоловелости. Немцы почему-то не налетают. Чудный месяц все выше поднимается над чудным Днепром. Шелест тополей доносится сверху — оттуда, где толпятся бесчисленные машины. Ближе к пристани они стоят уже готовыми девятками. На этом фоне слышен тихий человеческий говор. Ведь и людей дай боже сколько! Где-то там в пробке загорает Сашко, один в редакционной «эмке», — небось разлежся на свободе... Вскоре началась какая-то суতোлка, говор стал громче. За спиной и вовсе стало шумно, и уже нельзя различить чуханье паромного движка. Народ загалдел:

— Кудой прешься? Что тебе — скорей всех треба? Приде Поляков и врежет...

Почему вдруг поминают какого-то Полякова? Впрочем, на такую армию Поляковых надо много.

Идет какое-то поголовное склонение: Полякова, Полякову, Поляковым, о Полякове... С оттенком уважения, между прочим. Невольно тревожит столь частое упоминание, — а где же Володя, наш редакционный Поляков? Будто отвечая на тревоги, его, поляковский, голос кричит:

— Кто тут из редакции?

Машинально откликаюсь, как на перекличке:

— Я!

И немедленно из тьмы вынырнул маленький автомобильчик, чуть не наехал на меня и уткнулся носом в шлагбаум. Вот те на! Супенко. Как всегда молчаливый, Супенко выходит из кабины, ничуть не удивляясь моему присутствию — как будто мы условились о встрече именно тут.

Галдеж среди претендентов на паром достигает апогея, фамилия Поляков выкрикивается через каждое слово в сочетании с матерщиной. Голос моего дружка уже совсем близко, — хорошо поставленный актерский голос, который трудно перекричать. И по мере того как Поляков приближается — а он несомненно приближается, — утихает гомон. Теперь слышно только Володю, и ему вторит кавказский баритон:

— Нэт, капитан! Так нэ пойдет, капитан! Зачем занимаешься самозванством, а?..

— Ты что? Ты нормальный? — громко спрашивает Володя. — Перестань сейчас же мигать фонариком!

Его собеседник, видимо, все время от волнения нажимает и отпускает кнопку карманного фонаря. Желтый лучик освещает то лицо Полякова, то пистолет в руке кавказца, пока кто-то из окружающих не ударяет по этой руке, — фонарь выпадает из нее. Но это приводит к новому галдежу, начинают лязгать взводимые затворы, и все орут на кавказца:

— Эй, тра-тата! Эх, трам-тарарам!

— Тихо! — уже сипло рывкает Поляков. — Соблюдайте порядок. Как вам не стыдно, товарищи?.. — И очень мирно к кавказцу: — Давайте в мою машину. Товарищ Супенко, вы подложили камни?

— Точно, — голос Захара.

Голос Полякова:

— Товарищ старший батальонный комиссар (это меня)! Пожалуйста к нам в «эмку».

Отодвинули, как деревяшку, спящего Сашка, подняли все стекла. В машине нечем дышать, а тут еще и закурили. Внезапно Володя вдохновенно спросил:

— Тебя как звать, лейтенант?

— Автандил, — гордо отвечал лейтенант.

— Компот любишь, Автандил?

— Персиковый? — алчно воскликнул лейтенант.

— Айва, — сказал Поляков, — три банки литровых...

— Четыре! — быстро сказал Автандил. — Я варенье дару!

— Малиновое? — так же алчно воскликнул сластена Поляков.

— Канешна, малиновое, — нежно сказал Автандил, — мама сам варил.

— Ну ладно! Супенко, давай сюда пять банок компота. Одну давайте съедим сейчас, я совсем связки сорвал...

Супенко, очевидно, ждал такого приказа, — банки тотчас оказались в машине. Операция закончилась, как положено, сладким магарычем. Спорящие стороны одарили друг друга и ушли.

Я открыл обе дверцы — для воздуха. Сашко не проснулся. Немцы не прилетели. Ветерок подул с левобережья, и мотор зачухал слышней: может, паром возвращался.

Супенко спокойно допил свою долю компота, запасливо спрятал банку и зашептал:

— Разрешите доложить обстановку?

И очень толково рассказал и объяснил все непонятное. Поляков, оказывается, выдал себя за начальника переправы, и к нему все начали обращаться.

— Но прибыл этот кавказец, и начался шухер, — шептал Супенко. — Может, и он начальник, а может, и нет... Це не важно. А важно, что под шумок наша «эмочка» выведена аж под шлагбаум, под колеса подложены камушки: только выбей, и машина подкатится под шлагбаум, на паром... А насчет компота и варенья, так к этому дело и шло... Помырились... Тилькы погано, шо запасной резины нема, — вздохнул Захар и попросил закурить...

Меня толкнул Сашко:

— Надо выйти и толкнуть.

— Кого толкнуть?

Предраассветная мгла. Шлагбаум и доски пристани чуть белеют. Платформа парома. Движок стучит, и женские голоса с парома визжат:

— Швыдче! Швыдче!

Значит, скорей надо. Сзади урчит девятка грузовых. Стало быть, надо швыдче... Мы ногами вышибаем камни из-под всех четырех скатов, — и «эмка» мягко, чиркнув крышей о шлагбаум, въезжает на пристань. Мы галопом догоняем и вскакиваем сразу в три дверцы. Супенко прибавляет газку. Мы на палубе парома. Смотрим, как поднимают шлагбаум, и девять грузовиков гуськом, всхрапывая и тыкаясь друг другу в задний борт, въезжают и разъезжаются по всей площади парома.

Странный тип в каске и женском салопе внакидку, — очевидно, механик, сильно нетрезвый, — вот пи с того ни с сего громко стукнулся каской о стенку своей кабины, — дает короткие хриплые гудочки. Около него несколько толстых женских фигур. Слышны хихиканье, всхлипыванье, причитания и нормальный мат. Одна, воздев короткие руки, восклицает:

— Боже ж мий! И шо це за карап? И шо це за капитан! Шоб вин шов, шов, та й...

Свисток прерывает библейское проклятие. Полоска черной воды между паромом и пристанью расширяется: отошли. А немца нет. Видно, кто-то нам ворожит. Пока.

Перехожу на другой борт. Ого, ну и ширина! Когда ж мы причалим, удастся ли вообще доплыть? Все зависит от немецкой авиации. А может, у них перерыв на ночь? О тысячах, ожидающих на правом берегу, страшно подумать. Стоя у перил, задремываю, и поэтому является сновидение с бомбежкой. Снится, что я летаю. Мне удастся здорово полетать, и не только над Днепром, — вон виднеется Исаакий, а вот Крымский мост и набережная Нескучного сада... И море. Я чуть задеваю рукой гребешок теплой пены, захотел — и окунаю лицо в волну и вижу водоросли и рыб. Пахнет морем, и я, не умеющий плавать, плаваю, перевертываюсь на спину и колышусь, колышусь...

Больше я не видел моря ни во сне, ни наяву, вплоть до пятидесятих годов.

С ощущением соли на губах я проснулся на сеновале каховского военкомата от невероятного грохота снаружи. Стояло прекрасное утро, и немецкие фугаски рвались в полукилометре от нашего ночлега. Над нами прошипела пулеметная очередь — прогудел «мессершмитт», еще раз стрекотнул, и все смолкло. Я выбрался из сена, прогнал

кошку, забившуюся в рукав шинели, и щурился возле колонки водопровода.

Вот она, Каховка, воспетая Михаилом Светловым. Конечно, она самая. Горит улица за военкоматом, и, может, по ней идет дивчина в солдатской шинели. Почему бы ей не идти горящей Каховкой, идти так, как говорится в песне? Я напеваю «Каховку». Супенко качает ручку насоса, чтоб я умылся как следует.

Потом решаем: следующей бомбежки не будем дожидаться. Поедим где-нибудь в поле...

Никто не спорит. Такие мы дружные. Выруливаем на шоссе, как раз когда со стороны реки начинаются завывание, стрекот и другие признаки назревающей бомбардировки. «Эмка» выдает максимальную скорость. Дорога совершенно безлюдна и безмашинна. Справа и слева — хлеба, золотые, волнующиеся, и гигантские чашки подсолнухов, голубое поле — овес, красновато-белая гречиха... Супенко вдруг заворачивает в стену кукурузных зарослей, и мы останавливаемся. Тишина. Жужжат пчелы. Нет войны.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ



Как ни грубо сопоставлять психику с процессом еды, но только пользуясь этим сравнением, я кое-как могу объяснить себе фокусы, которые проделывает со мной моя память. Путаница событий, полное выпадение из памяти многого очень важного, нарушение последовательности, запоминание мелочей — все это результаты переедания, перенасыщения организма увиденным, услышанным, испытанным за очень краткий отрезок времени.

Река времен течет из вечности в вечность. Вероятно, эти две вечности условны. Разум жаден на выдумки, если он чего-то не в силах охватить. Страстно хочется остав-

лять вехи на своем пути. В фантастике появилась тема — «Движение во времени», Уэллс вообразил машину, чтобы переноситься в прошлое и будущее. А я в нее верил с детства и мечтал сесть в седло, повернуть пусковой рычаг и — поминай как звали! Даже немного жутко заглядывать в исчезнувший и неизвестный грядущий мир.

Когда мне было пятнадцать лет, я неожиданно начал пугаться смерти и старался совсем выкинуть из головы эту «вечную» тему. Ничего не вышло из всех моих попыток: ужас от самой мысли — «меня не будет» — делал ее неотвратимой и суживал, особенно в ночные часы, весь круг чувств и в конце концов, сводился к очень жалостному вопросу: «Как же так?..»

Время было голодное. Выдавали скудный карточный паек. Свиристествовали тифы — брюшной, сыпной и возвратный. Многие люди немилосердно отощали. А мне было некуда. Есть хотелось так, что голова кружилась, как центрифуга. Может, потому и грозные мысли сами собой прекратились.

Блокада снаружи и разруха внутри. Сознание этого, надежда на светлое будущее и кучка таких же голодных и холодных товарищей не давали слишком задумываться над настоящим. А почные тревоги, дежурство в штабе ЧОНа — тут не до вопросов о смысле жизни.

Люди не просто голодали — наступил какой-то чудовищный пост. Верующие знают, по крайней мере, сколько дней надо есть постную пищу: древний опыт гласил, что от такого недоедания (или отсутствия переедания) человек не умрет, ритуал никого не страшил. Но мы постились, как аскеты, «умерщвляли плоть», чтобы она не соблазняла, не склоняла ко греху воровства, а попросту говоря, не позволяла опускаться до уровня голодного скота. Все время мы внушали самим себе, что «это есть наш последний и решительный бой» со старым миром...

Таким, как я, тощим почти с момента появления на свет, недоедание помогло забыть прежнюю сытую жизнь. Меня буквально держал на ногах воздух свободы и равенства, вокруг были люди, голодавшие подобно мне. Взрослым было тяжелей — они еще и работали усиленно, и тревожились за нас, отдавали нам большую часть карточного

своего рациона, подавляли «греховное» желание поступиться принципами. Не забуду, как мама тайком от отца купила у кого-то краюшку хлеба, с полфунта. Папа, вернувшись с завода, увидел этот жалкий кусочек, взял его, открыл форточку и выкинул. Бедная мама заплакала то ли от жадности, то ли от стыда. Ни слова не было сказано, отец не выносил женских слез... Был случай, когда папа после ночного дежурства вошел в комнату, вдруг сел на стул, закрыл глаза и страшно побледнел. Мы все кинулись к нему: нам же казалось, что ему все нипочем — он стальной. А он действительно был стальной и презирал ханжество.

Многие были поражены дистрофией. У всех опухали пальцы. Прокатилась по стране страшная смертоносная испанка. В Поволжье началось людоедство: об этом сообщалось официально. А у нас в Москва не было дров для отопления, и в нашей квартире стало так холодно, что дома совершенно невозможно было жить. Вся семья охотно убегала на всякие ночные дежурства и на ночные субботники, где давали кипяток и горсть ржаных сухарей, и вокруг были товарищи, такие же голодные и холодные, с такими же распухшими пальцами. А мы еще и пели, плохо зная текст и мелодии революционных песен, но пели не механически, а с особым чувством, выделяя такие слова, как «мы — работнички (не работники!) всемирной, великой армии труда, владеть землей имеем право, а паразиты никогда!..».

Когда кончится этот поистине великий пост, не знал никто. Не знали интервенты, в чем дело и где у нас резервы. Москва зимой 1920 года была заклеена плакатами художника Моора с изображенными скелетами, обросшими дикой бородой и вздымавшими костлявые ручищи... Конечно же тогдашняя правдивая информация доходила до каждого, ужасала, но и придавала силы. А те, кто был слаб и малодушен, либо вымерли, либо одичали. Даже мелких ворюшек в Москве убивали самосудом, и лишь много позже взялись за искоренение беспризорности гуманными способами. Это было уже в годы нэпа.

Людям был необходим МИР, конец голода, военных потерь, расстроенный, кочевой и беспокойной жизни, массового ожесточения, усугубленного бескультурьем и неграмотностью. Изустное лозунговое воспитание сыграло роль, когда работало на разрушение старого порядка. Надобно было прекратить бедствия не на словах, а на деле.

Уже тогда, в двадцатых годах, мы не любили «трепачей», записных докладчиков с портфелями и попугайской манерой повторять одно и то же, непременно подражающих кому-то.

В нас было намерение действовать, а еще больше — стремление познавать. Заклинаний же мы инстинктивно не признавали. Мы презирали наших самодеятельных шаманов с их «марксистскими» прическами и «поставленными» голосами кликуш. Было же это, было. Был и прошел этап, довольно точно названный — «военный коммунизм». Были у нас и коммуны, а по-существу, общежития. В Хамовниках организовалось несколько таких «комсомольских коммун» — там, главным образом, ночевали. Почти все дневное время ребят уходило на работу, а вечера — на собрания.

Но пусть анализируют войну историки, пускай роятся в картах, в сводках, донесениях и приказах, в дневниках военачальников и в прессе. Мое же основное занятие — «слагать созвучные слова». Все же я досажую на несовершенство моей психики или памяти. Она не справляется с перекормом, она глотала впечатления огромными кусками и при этом спешила. Да еще — трижды проклятая созерцательность! Но ведь было на что смотреть! Было и что слышать! Не хватало лишь времени для записи тут же, по свежему следу.

Легко запевалам военных ансамблей в аккуратно пригнанном обмундировании, с выхоленными актерскими физиономиями выводить тенорами и баритонами «Пусть гром гремит, пускай пожар кругом». А тому, кто жил под громом рвущихся снарядов, тому, кто был в уличном сражении, среди пылающих домов, огонь представляется не фоном для героизма, не объектом действия пожарников, а зловещей и направленной стихией.

А вода — множество рек, речек и ручьев всех этих рубежей, где действовали саперы и понтонеры? Разве не зловещим врагом становится вода на фронте? Подумайте хотя бы над тем — чем для нас были берега больших рек? Мы отступали на пологий берег, а противоположный, господствующий, обрушивал на отходящих бойцов бешеный точный огонь. А ведь наступать нам пришлось с пологих берегов через воду всех видов, кроме газообразного, на тот берег — страшный, высокий, разящий точно и беспощадно.

Сколько бомб и снарядов требовалось послать артиллеристам! Сколько залпов «катюш»! Мало того, послав залп, необходимо немедленно увозить орудия, пока противник не засек батареи. Теперь представьте себе, что испытывали смельчаки, первыми плывшие, подобно Чапаеву, на штурм крошечного плацдарма на том высоком и враждебном берегу?..

Вода и огонь — не декорация, а средства войны. Узкий старый Миус от Тагаурога до Матвеева кургана запомнился мне невыразимо грозным. На миусском льду была буквально расстреляна морская пехота. Расстреляны сотни красивых юношей и мужчин за полчаса неудачного штурма в солнечное утро Международного женского дня 8 Марта сорок второго года. В ночь перед этим побоищем я читал в ротах стихи, и сердце мое трепетало, как пламя свечи; от скорбного дуновения; от предчувствия смерти...

Но я не военачальник, не историк, а всего-навсего поэт в военной одежде, по дикому везению не павший на миусском берегу от германских минометов и снарядов бронепоезда, катавшего его взад и вперед за гребнем высокого берега... Каждый Женский день с той поры отдается во мне призрачной канонадой и призрачным привкусом соленой крови.

Что знал я об этих местах до того, как исходил и изъездил весь шахтерский край, изуродованный войной? Только то, что он состоит из поселков и маленьких городков вокруг шахтных построек да заводских корпусов. Читал какие-то книжки, смотрел кинокартины о людях, бросаемых примитивными лифтами в глубь земли. Лучшими книгами я считал «Западню» Золя и «Завод» Лемонье. Еще страшней и тяжелей судьбы горняков и металлургов мне казалась служба корабельных кочегаров: «На палубу вышел, — сознания уж нет...»

Я познакомился с шахтерами и металлургами на фронте. Я познакомился с бойцами и командирами шахтерской дивизии в разгар боев на Донбассе, будучи на оборонительном рубеже комсомольского саперного полка, где сыновья горняков и металлургов Донбасса, Запорожья и Криворожья в пятнадцать-шестнадцать лет становились разведчиками и снайперами. Я пытался написать стихи в их честь, записать «по свежему следу» летом сорок

первого. Увы, получился газетный очерк в стихах, а лейт-мотивом осталась старая шахтерская тоска.

О рыжих, чернявых, беловолосых хлопцах, об их бабках, по полжизни отдавших шахтам, домнам и мартенам, а другую половину — за Родину, очень много написано, но это капля в море. Сколько бы о них ни писали, все мало.

От Запорожья до нашей передислокации в Сталино так мало дней! Из Сталино части пришлось выезжать на передний край, один слой впечатлений тяжело ложился на предыдущий, и расчленить их невозможно.

После пахнущего морем и степью Николаева, задыхающегося от бомбежек, с трех сторон открытого минометному обстрелу с ближних подступов, — после этого самоотверженного города и пережитого в нем горького чувства потери, страшной, но благополучной переправы, после горящей и грохочущей Каховки три журналиста ошеломлены тишиной, шелестом двухметровых стеблей кукурузы, синейшими небесами без единого самолета, собственной неповрежденностью. Живы! Неужели живы?

— Давайте отметим это дело, — скрипит Володя.

Он охрип от вчерашней бурной деятельности на переправе, в растрепанных потных волосах запуталось несколько травинки от каховского ночлега. По цвету его худого лица можно судить, как все мы обуглились и обветрились. Пропылились насквозь. По цвету гимнастерки, по множеству разнообразных пятен уже ни о чем не догадаться...

— Где тут был одесский герцог? — спрашивает Поляков.

Ему совсем не до хохм, они возникают непроизвольно, ему просто хочется чего-то особенного, и он протягивает руки к нашему Супенко, который, кажется, стал еще молчаливей. Еще бы! Человек насиделся под осколками. Нет запасной резины. Ехать черт знает сколько километров. Но Супенко — фронтовой шофер. Он встает, отпирает багажник, выносит и ставит на землю большую стеклянную банку, полную малинового варенья. Он вытаскивает из того же хранилища колоссальный пшеничный каравай и кладет рядом с вареньем. Он долго глядит на хлеб с непонятной грустью. Наконец из-за голенища выдергиваются заслуженная алюминиевая ложка и, верный спутник Захара, нож с коротким клинком.

Лезвие впирается в коричневую хрустящую корку, хлеб

упруго подается и выправляется — хорошо пропечен! Все раздувают ноздри. Густая концентрация бензина... Супенко пожимает атлетическими плечами и возводит к небу темные древнегреческие иконописные глаза. Он вздохнул, не переставая резать эту прекрасную и зловонную ковригу. Мы берем в руки пышные ломти, а Поляков в лихорадке наголодавшегося развязывает бечевку на банке и снимает тройной слой пергамента. Он даже зажмурился, сластоед. Волшебный домашний дух малины разносится по всему кукурузному полю. Все нежно улыбаются чудесной банке и друг другу. У всех приоткрыты обветренные рты, и Поляков, истово, подставляя для страховки левую ладонь, правой рукой направляет ложку в густое и благоухающее варенье. Он кладет на каждый простертый к нему ломоть бензинового хлеба одну, другую и, помедлив, третью порцию.

Это. незабываемо, как первая детская елка... Закрыв глаза, откусываю, заполняю рот до отказа. Так запахло домом и миром, что у меня — сердцебиение! Я счастлив!.. Открываю глаза и вижу: текут слезы у сумрачного Супенко, у обычно хладнокровного Сашка, у потрясенного Полякова. Текут они и из моих глаз, к бензину и малине прибавляется соль. Мы едим и плачем, глядя друг на друга...

Солнце поднялось в самый центр вселенной. Оно льется прямо на пирующих. Странно, но одного ломтя хватило. Мы откидываемся, сытые, еле шевеля клейкими сладкими устами. Налетело несметное полчище мух. Я чувствую, по лбу ползет что-то. Скосившись, узнаю осу, будь она проклята! Вскликаю и ору от страха. Смешу всех. Володя с банкой между колен ноет:

— Можно мне без хлеба? — И, не дождавшись ответа, быстро зачерпывает ложкой со сладострастным мычаньем, заглатывает и следом отправляет в рот еще ложку...

Милый дружище Поляков, ешь, кушай, наслаждайся. А он, расклеивая губы, лепечет:

— За мамочку, за хорошую, грузинскую маму... Братцы, съешьте по одной за того человека, дай бог ему здоровья!

Разве не прав Володя? Они с тем парнем чуть не пострелялись у пристани, а он не пожалел грубиянам даже маминого угощенья, помог им уйти из этого ада. А сам остался. Настоящий друг, с ним и в разведку и куда угодно.

Я уверен: все мы думаем и чувствуем сейчас одно и то же. У каждого прибыло сил и непередаваемой радости. У всех окрепла надежда: «Еще вернемся в эти края! Еще увидим бегство и гибель фашистов! Еще узнаем вкус победы, но не забудем скромного пиршества на кукурузном украинском поле, под лазурным небом и прямо падающим солнечным светом. И мы четверо не расстанемся, не расстанемся никогда — нам нельзя быть отдельно!»

Так нам хочется! А может, это опьянение минутным отдыхом от войны? Пусть! Вот они, мои друзья, мои братья, мои усталые, мои неутомимые верные товарищи, — вот они лежат как кого сморил полуденный сон. Откинута назад или положены на руку их замороженные головы, над их мужественными загорелыми лицами жужжит мухота, их ноги протянуты или подогнуты. Шелестят листья кукурузы, как флаги плодородия, голубеет небосвод и не верится, что впереди еще столько войны...

Я бодрствую, пыльный и спокойный, как наш драндулет, обшарпанная, исчирканная осколками старая «эмка». Она тоже отдыхает в трех шагах от меня, на своих лысых резинах, без запаски, с неизменной картинкой на смотровом стекле, с супенковским карабином, притороченным к левой боковине, с парой дырявых камер в багажнике.

Я вспомнил, что мне скоро тридцать восемь и что «я миновал... тому назад свой трудный высокогорный перевал». Миновал ли? Слишком свежим я чувствую себя, слишком приятно знать, что многому научился, чего не знал, и даже фронт открывает какие-то глубоко таившиеся возможности. Хочу жить, действовать, любить людей, встречаться и разлучаться, скорбеть и радоваться.

Все, кого я знал и знаю, любили и любят ездить в командировку. И не только ради командировочной цели. В самих поездках туда и обратно есть что-то неопределимо приятное. А порой случаются так называемые дорожные приключения. Иногда такие, что важней самой командировки. Путевые впечатления! Это — жанр изящной литературы с незапамятных времен до нашего: Возьмем хоть бы попутчиков, сопассажиров. Как много от них зависит! Могут, черти, все испортить. И своей компанией иногда хорошо ехать...

Вот раз я еду... Так обычно и начинается жанр. То есть мы едем из Ростова в Москву сочинским скорым. Мы — это делегация москвичей на съезд писателей Северного Кавказа. Критик Катя Трощенко, беллетрист Анато-

лий Шишко и я. Прошла первая ночь. Пьем чай в своем купе. Катя совсем непохожа на критика: молодая, прехорошенькая, смешливая. За критика скорей примешь Шишко. Он молчаливей нас и серьезней — все-таки автор исторических романов, но, когда разговоришь его, оказывается очень милым и добродушным малым... Катя спорит, она не согласна с нашим отношением к критике и критикам. Но стоило Анатолию заявить, что Белинским в нашей среде не пахнет, Катя умолкает: что правда, то правда. В купе я один курящий; добровольно выхожу за дверь и сталкиваюсь нос к носу с мужчиной в кителе военного образца. Он спрашивает:

— Москвичи? Писатели?

— Да-да, — отвечаю, — а что?

— Позвольте побеседовать.

Мы радушны. Он входит, садится на четвертое место. И мы узнаем, что он — комендант вагона, где едет писатель Николай Островский. По поручению Островского комендант приглашает нас в свой вагон.

— Только, товарищи, предварительно вот что... Я, видите ли, медик и отвечаю за состояние Николая Алексеевича...

Мы наперебой просим рассказать, чем болен Островский. У нас такое впечатление, что у него паралич. Комендант-медик качает головой:

— Помните тургеневские «Живые мощи»? Писатель описал действительный случай. Редчайшая разновидность последствий нарушенного обмена. В хрящи и сухожилия усиленно отлагается кальций, и мягкие ткани превращаются в кость...

Это так внезапно и сложно. Я спрашиваю, что произошло со зрением, если не паралич.

— То же самое. Зарастают межреберные промежутки, челюсти сейчас открываются на толщину карандаша. Окостенели дырочки для зрительного нерва, и он перерезан. А глаза синие, чистые, здоровые.

Катя поражена. Она глухо бормочет, что не пойдет. Как можно здоровому быть естественным и непринужденным в обществе полного инвалида?..

Комендант мягко улыбается:

— Он просит навестить его. Волноваться не надо. Пожалуйста, не настраивайтесь на трагедию. Островский удивительно хорошо общается. Идите по вагонам, пока не дойдете. А я пойду предупреджу...

Мы посовещались. Идти необходимо—это ясно. Но как вести себя и о чем говорить? Не о болезни же?

Катя воскликнула:

— Бог мой! О чем говорить? Легендарный человек хочет с нами встретиться — может, это раз в моей жизни... Плакать буду, а пойду! Ты первый: ты же старый комсомолец.

Мы почему-то отряхнулись, причесались и гуськом отправились через вагоны. Я не считал тамбуры — и вдруг оказался в вагоне, именуемом путейцами специальным, или обкомовским, или еще как-то. Пассажирский жесткий, но там было всего одно купе с двумя параллельными скамьями. Бросилась в глаза шапка-буденовка с пограничной зеленой звездой, висевшая над скамейкой. Звонкий, юношеский голос произнес:

— Здравствуйте, заходите и садитесь. Кто здесь?

Только этот вопрос и выдавал слепого. Но действительно синие и живые глаза смотрели на нас внимательно и приветливо-зряче.

— Ой! — вскрикнула Катя. — Муха!..

Только пускай на этом месте нашей встречи меня не опровергают и не останавливают. Дескать, подумаешь, — муха. Чуть какая! А вот и не чуть: медик-командант предусмотрел и муху. У Островского вдоль руки лежала бамбуковая палочка с носовым платком, и Николай Алексеевич, если его уж очень допекала привязчивая муха, легким движением пальцев сгонял ее. И он добродушно засмеялся по поводу Катиного восклицания. Оказалось, что смехом своим он прогнал сковывавшее нас чувство.

— А кто из вас Илья?

Я отозвался. Островский тут же сказал, что ЧИТАЛ мое стихотворение в одном из номеров «Молодой гвардии»:

— Мы с тобой соседи, и «Как закалялась сталь» в этом журнале напечатана.

Беседа стала общей. Коля требовал откровенного разговора о недостатках своего романа. И так как мы стеснялись, он воскликнул:

— Ребята! Вы же не новички, как я. Неужели вам понравилось, что я сравнил свои мысли с эскадронами? Ведь банально же. А все потому, что лезет из меня митинговщина гражданской войны... Или «пули тарахтели, как град». А?

Островский рассказывал о своих планах работы в

Москве, советовался, — как вы думаете? Потом неожиданно тихо рассмеялся:

— Ох, уж эти доктора! Ходят, шепчутся, думают, что я сплю. А я лежу себе и который раз проворачиваю целые страницы.

Он «проворачивал» в уме чуть ли не тридцатое издание — слово за словом, страницу за страницей, убирая банальщину и безвкусицу! Титанический подвиг совершал этот скованный недугом еще молодой человек. Такое бы чувство ответственности нам, здоровым и, в сущности, обязанным профессионально работать!..

До самой Москвы наша тройца говорила об этой удивительной встрече.

А в следующий раз — это было через несколько месяцев — я увидел Колю Островского в гробу. И мне пришлось нести тяжелую честь: с утра весь день распределять на четверки чуть не всю столицу, пришедшую на похороны, отдать долг любви и проводить в последний путь замечательного человека. Сколько народу прошло в этот траурный день мимо тела Островского! Встали в караул Мария Ильинична Ульянова, военачальник и писатель Эйдеман, сын Чапаева, дочь Фурманова, молодая летчица Марина Раскова. Люди не только приходили, но и приезжали через весь город на маленьких инвалидных тележках — калеки без ног:

— Наш писатель умер! — говорили они.

Я ставил и этих людей в их самодельных тележках у изголовья и у ног их писателя. Видеть это было трудно без слез...

Хочу застать будущее, оставшись таким же молодым, здоровым и сильным, как в этот миг. И спутникам моим, боевым орлам, желаю того же. Пуще всего не хочу их терять: если будут они бессмертны, не умру и я. У всех нас много дорог впереди...

Тьфу ты, дьявол! Опять эта сволочь полосатая подбирается к щеке. Я невольно кричу и пробуждаю водителя. Супенко сразу садится и озирается. Первый поиск — машина, она на месте. Я даю ему закурить, и он кладет папироску за ухо. Он убирает все наши яства, закапывает мусор и тычет несколько раз ножиком в землю: так наводится гигиена. Об колени вытирает ложку. Завертывает хлеб в свой ватник, покачав виновато

головой, берет банку растопыренными пальцами и всю эту провизию уважительно несет к багажнику, даже приносит пергамент и завязку, видимо, упаковывает и устанавливает. Возвращается и достает из-за уха папироску. Садится по-турецки. Курим и молчим. Над нами на восток впервые с утра проносится девятка «Ю-88»...

— Гады,— заявляет Захар и ожесточенно выплевывает окурок. Встает, затаптывает его в землю. Он вернулся в действительность. Пора трогаться. Я киваю,— он идет к «эмке». Звучит сигнал.

Поляков и Сапко с належанными полосками на лбу и щеках, так же как Супенко, сразу садятся, озираются, потягиваются до треска в суставах, зевают, и Володя своим обычным тоном говорит:

— Вовочка очень доволен. Доброе утро! Можно опраться и перекурить...

Оба расходятся по кукурузе с приятным шумом и обменом репликами. Девятка «юнкерсов» — еще одна — проходит на восток. Гул стихает. Я слышу голоса товарищей:

— Гады.

— Они,— подтверждает Поляков.

Мы идем к машине, но Володя останавливает всех, зовет Супенко и предлагает:

— Посидим на земле перед отъездом.

И мы с самым серьезным видом усаживаемся возле «эмки». А над нами высоко пролетает третья девятка бомбардировщиков, и мы сидя провожаем ее глазами и говорим, что они гады... Трое командировочных, сотрудники фронтовой газеты, отправились в Донбасс с материалом по обороне Николаева.

Ни одной машины ни попутно, ни навстречу за все время! Если б не «юнкерсы» — вроде бы никакой войны...

Где-то северней этого шоссе должна быть станция Пологи. Железнодорожную станцию Пологи называют «ворота Донбасса». Но наша «эмка» туда не поворачивает,— Супенко гонит на Токмак, городок, по всей вероятности, древний. В слове «Токмак» есть нечто монгольское.

Городок остался в моей памяти одним интересным кадром. Именно в этом Токмаке, на какой-то улице, заставленной военными повозками, здоровые мужики в брезентовых балахонах толклись у деревянного дома. Входили и выходили с бутылками и алюминиевыми мис-

ками в руках. Форма бутылок знакомая: черно-зеленое стекло и обернутое в станиоль горлышко. Шампанское!

Мужик бил горлышко о древнюю каменную тумбу. Звенели осколки. Раздавалось шипенье. Наполнялась миска. Человек хлебал, и надо было видеть, как горестно искажалось лицо пьющего... Не в коня корм.

Захар приуныл. В Токмак заехал с крохотной надеждой на резину. Мужики плевались, кляня кислое пойло, и возвращались к своим двуколкам и тяглу, не нуждавшемуся ни в резине, ни в бензине. От них — ездových — мы услышали, что от Запорожья до Полог все пути, включая железнодорожные, забиты войсками, что фрицы жмут як скаженные, а они сами, эти хлопцы с кнутами, понятия не имеют, где ихнее начальство. Подаемся до Сталино, а там, кто его знает...

Шоссе после Токмака очень широкое, с хорошим гравиевым покрытием. Навстречу по нему ничто не ехало. Но впереди, у хатки с пыльным палисадником, Супенко засек наконец легковую машину типа «ЗИС», то есть «областного значения». Мы быстро сблизились, так как автомобиль стоял на месте. На его задке красовалось запасное колесо — мечта нашего водителя.

«Эмка» затормозила немного впереди областной машины. В ее кабине над рулевым колесом мелькнуло толстое лицо шофера. Среди барахла, навалом брошенного на сиденья, зоркий глаз Супенко высмотрел еще два колеса. Открытие так взволновало Захара, что он закашлялся и, прижимая руки к груди, начал шептать:

— Мать честная! Быть не может! Товарищи командиры, разрешите выйти...

Таким Супенко никогда не был. Мы с Поляковым побоялись пустить его.

— Супенко, — говорит Володя, — мы с Ильей Львовичем берем это на себя. А вы с Сашком, в случае чего, будете выручать. Идем, — сказал Поляков, дрожа от азарта, и это немедленно передалось мне. Шутка сказать — три колеса при одной машине. Да еще при гражданской.

Стараясь ступать шагами командора, то есть медленно и неотвратно, мы приблизились, остановились и стали глядеть на толстого дядю в запачканной соломенной панаме. Наше внимание, характер позы, похожей на

охотничью стойку, пока что не возымели желанного гипнотического действия. Толстяк презрительно зыркнул на нас из-под полей шляпы и пробормотал что-то вроде: «Видали таких. Нечего тут...» И вместо того чтобы открыть дверцу, выйти наружу и начать человеческий или хотя бы дипломатический разговор, он нажал кнопку сигнала, издавая мелодичный рев, как и подобает областной машине. В ответ из палисадничка раздался басовитый рык:

— В чем дело?

Мы переглянулись и один за другим вошли в калитку. Под развесистым деревом на скамеечке сидел большой мужчина в сером пиджаке. В нас немедленно проснулся естественный фельдфебельский гонор перед штатским. Я вошел в палисадник и сел рядом с гражданином. Володя встал под липу, оперся спиной на ее ствол и лишь после этого сказал:

— Здраваться не будем. Нет времени. Кстати, вы первым должны бы приветствовать, а не орать.

Взятый тон моментально определил характер дальнейших событий.

— Кто такие? Вы знаете, с кем имеете дело?

И тому подобные формулы посыпались на нас. Мы тоже закусили удила:

— А ну, предъявите ваши документы, почтеннейший... Мы уполномоченные штаба Южного фронта.

Дядька поверил и сбавил обороты:

— А что же вам нужно?..

— Запасные колеса нам нужны, и притом поскорей. Мы спешим...

— Мы тоже, — вновь зажегся мужчина. — Фундуклеенко, товарищи просят одно колесо...

Но Фундуклеенко грубил:

— Бог подаст, нехай проваливают. Мы не можем разбазаривать!.. Обойдетесь...

— Нет, — неожиданно для себя злобно сказал я, — это вы обойдетесь. Вылазь, Фундуклеенко, и давай сюда колеса. Сколько, товарищ Поляков?..

— Три штуки, — твердо сказал Володя, — или прострелю скаты, — и он расстегнул кобуру.

Я прошел к задку областного транспорта и вынул свой пистолет: наконец-то за две войны удастся произвести прицельный выстрел!

Мордастый Фундуклеенко продолжал сопротивлять-

ся, пока Володя не щелкнул предохранителем. С кислым лицом он вышел из машины, отвязал запаску:

— Подавитесь, — пророчески ворчал он.

Поляков еще раз щелкнул предохранителем, и сам начальник выкатил под ноги Володе другое колесо, пообещав жаловаться на самоуправство. Надо заметить, что никто никому не предъявил никаких удостоверений и конфликт привел лишь к двум операциям: начальник и Фундуклей потеряли, а Супенко приобрел два колеса. Засим мы спрятали один пистолет, а другой оставили на виду в качестве восклицательного знака, пропустили областную автомобиль вперед. Он почти со старта развил неслыханную скорость...

Некоторое время наше путешествие длилось под знаком несомненной удачи. Мы с Володей хвалили друг друга. Сашко и особенно Захар хвалили нас с Володей. В багажнике прибыло груза, добытого с известным риском. Затем с полчаса все ругали начальника и Фундуклея и всех вообще, кто «тикал» от фронта. Поляков обратил мое внимание на поведение этих «дезертиров»:

— С чего бы этот дурень вдруг сделал привал, когда логика бегства не терпит остановок?

И вдруг я вспомнил:

— Он же выпивал куриное сырое яйцо...

— Яешня, — вдруг подал голос Супенко, — це добре. Зараз я зъив бы яечек. — И мечтательно умолк.

Всем сразу захотелось есть, и все замолчали. Долго ехали молча, пока Супенко не сообщил, что зисовские колеса к «эмке» не подходят. Но во фронтовом хозяйстве в обмен на дефицитные детали эти колесики — о-го-го!

Как это случилось, что место, достаточно удаленное от обжитого мной района и города — в особенности города! — принадлежит к самым любимым? Коническая форма терриконов ласкает мой взгляд, утомленный хаосом московских улиц, кривизной переулков, бледностью неба, раздраженный грязью московских дворов, изнеможенный отсутствием видимого горизонта. Чуть представлю себе среди степной широты грифельно-лиловые пирамиды с колесиками копров наверху, потяну в себя запахи, где что-то от паровозного дымка, а кое-что от мяты и чебреца, сразу ощущение — к дому подъезжаю и скоро встречу со всеми моими любимыми. Все представится определенным, ясным, естественным, никогда не скучным и

всегда с чем-то прочно связанным, очень близким и кровным... А ведь всего-навсего в донецком ландшафте — равнины да груды породы, иногда маленькие оазисы зелени, преимущественно акации, «нестриженной», лесной, небольшие зеркальца прудов-ставков и дороги, мощеные и грейдерные, асфальтовые и проселочные дороги от поселка к поселку, от городка к городку, и в каждом — шахта, рудник, завод.

Я полюбил Донбасс потому, что в нем воевал. Приходится быть благодарным войне: она открыла мне Донбасс. Не по сводкам и рапортам с достижениями и жирными цифрами, а Донбасс такой, каким он был в первом военном году, — тяжело дышащий, израненный, теряющий кровь, через силу идущий по оборванным рельсам, на миг замирающий под бомбами и вновь со стоном поднимающий свои железные руки и гордые головы — головы и руки своих шахтеров-добытчиков, упрямых подземников, моих героев.

Я был в легендарном Ирмино не в дни рекордов, а в безлюдной нейтральной полосе, среди взорванных зданий, перекорюженных путей: немцы еще не дошли, а мы отошли. И только разъезды разведчиков 26-й кавдивизии рыскали по шахтным дворам: не остался ли там кто живой?.. Стоял в руинах тяжелый дух сгоревшей взрывчатки, и страшно было ходить по залу электростанции, засыпанному стеклом и штукатуркой, — свистел сквозной ветер да звякало что-то торопливо и тревожно, — может быть, это звенели шпоры разведчиков?..

«Кадиевка, Ирмино, Алмазная...» Эти переходящие друг в друга горняцкие районы я посетил в их мертвую пору. Нет, неверно! Там жили войска, занимаясь солдатским трудом обороны.

Но под землей все было мертво.
И труд молчал огромный,
И весь Донбасс застыл, как труп, —
Немой, недвижимый, темный...

Надвигалась осень с желтой листвой, дождями, с фантастически солнечными и теплыми проблесками, а значит, с частыми налетами вражеской авиации. Круто доставалось солдатам, занимавшим шахтерские центры, станции железных дорог.

Однажды целая полуторка газетчиков в такой вот ясный день приехала в Дебальцево. Нас было много, погода и настроение отличные. Остановились, начали прыгать в грязь и строиться. Так распорядился наш службист Урбаныч: «Построимся и потом разойдемся группками по частям». Построились и выслушали напутственную речь, кстати, очень оптимистическую. Из ближайших ворот вышла женщина с коромыслом и ведрами, полными воды, улыбнулась нам и пошла... И Урбаныч показал на женщину и поднял большой палец. Ох, этот Урбаныч! Обожал приметы... Тут же немедленно начали рваться осколочные бомбы, да еще как! Мы рухнули в грязь как стояли — строим, словно кегли. Урбаныч лежал и перекрикивал шипенье осколков:

— Да ведь полные же!..

Никого не задело, Урбаныч объяснил это... полными ведрами. «Грешен я, а предрассудок — нет...»

Это был кратковременный общий выезд, и, надо признать, нелепый: вся бригада могла накрыться. В дальнейшем принят был прежний метод — по двое, в крайнем случае, по три человека. Спасибо вам, дорогой Урбаныч! Вы всегда посылали меня с Поляковым. Считались с нашей дружбой...

Для меня та осень первого полугодия войны была самой длительной из всех последующих. Время тянулось и тянулось, несмотря на плотность событий и частую перемену мест. Мне страшно не хотелось так быстро подойти ко дню моего рождения. Неподходящие места для дня рождения. И время явно не то... Видимо, я еще не стал настоящим солдатом. Не умел ценить мелких радостей, как ценил их, например, Урбаныч, кадровый служака. Хотя по возрасту он был много моложе и сильней городского интеллигента Полякова, а меня — тем паче.

Есть у Тургенева в «Записках охотника» описание осины, не самого красивого дерева в лесу. Изображение так живо и точно и столько в нем любви к своей Орловщине и отчаянной тоски по ней, что не удивляешься, узнав, где это было написано: в заграничном городе Зальдбурге. Вот если бы мне удалось теперь в снегах январского Подмосковья так показать осенний Донбасс, да еще по прошествии многих-премного лет после того дня рождения. Каждый почувствовал бы мою любовь к местам моей уходящей молодости, к самой медлитель-

ности тогдашней осени. Во всех клеточках накапливались горечь и гневное отвращение к чужеземцам, к бездушным карателям неповинной природы и доброго, работающего народа... Дело не в осине и не в березе, а в том, что живое и прекрасное становится точкой отсчета, стрелковым ориентиром: «Два пальца левой отдельной сосны... огонь». Этого простить нельзя! Мне хочется рисовать военный Донбасс, и чтобы у меня получалось не хуже, чем в зальцбургских записках русского охотника... Неужели надо так далеко жить и так сильно тосковать?

Общежитие газетчиков в Сталино — это не одесская оранжерея, но и не гостиница. Наши топчаны наставлены в длинном, прямоугольном зале. Там есть сцена — на ней тоже стоят топчаны. Две выходные двери во двор... Очень непропорциональные окна: света маловато, поэтому электричество горит днем. Я устроился против одной из дверей — здесь мне светло. Неизвестно, сколько мы тут пробудем, потому что база очень хороша, техника вполне современная. Наша редакция в помещении областной газеты «Соцдонбасс», и ее сотрудники активно участвуют в выпуске «Во славу Родины».

Столица Донбасса живет весьма напряженно. На улицах многолюдно, и не только за счет военных. В магазинах пусто, — перебой.

Война близко. Много бомбежек. Штаб фронта — в селе Покровеком, довольно далеко от Сталино. Пока нет никаких указаний на срочность эвакуации. Более того, по каким-то сведениям, Москва решила не отдавать больше ничего в Донбассе. Людей в гражданском платье много, поскольку военные объекты — в западной части области. Сталино подвергается налетам сравнительно редко.

Я скоро заскучал по переднему краю, и Поляков тоже: редакционный уклад и режим нам противопоказаны. Мы постоянно ходим в гости к местным журналистам на частные квартиры — посидеть в семейной обстановке, поболтать с дамами и по возможности поздно вернуться в общежитие. В общем, «нарушаем». Почему-то часто фотографируемся на дворе. Редакционные водители тоже киснут: они вкусили прелесть дальних странствий. Суценко жаловался, что не пускают съездить домой, а он же тутошний, недалеко от города.

...Может ли, спросят у меня, нормальный человек искать опасность? Причем делать это охотно и отдавать даже предпочтение, если ему предлагается выбор, наиболее опасному.

— Конечно! — отвечу я, не задумываясь, потому что давно продумал этот вопрос.

Если ты любознателен в нормальном смысле этого понятия и не хочешь познавать жизнь по-школярски. Если имеешь собственные убеждения, а не доверяешься только поводьям. Если тебе совестно прятаться за спину авторитетов и пбтом все валить на эти авторитеты — то вполне естественно, когда твоя страна в опасности и твои сограждане рискуют ежеминутно жизнью, искать эту опасность, рисковать и делить ее со своими соратниками. Мне трудно считать нормальными тех, кто заботится только о своем благополучии, о целостности своего молодого, сильного и здорового тела и отдается на волю слепого инстинкта самосохранения. Мне жалок тот, кто охвачен диким страхом. И ненавистен хитрый трус, ловчила, мастер и дока темнить с благообразной внешностью, которую он приобретает буквально в поте лица. Он зубок знает все права и пользуется ими, как никто. Правда, у трусливых хитрецов жизнь сложная, а неожиданности и повороты в течение войны усугубляют и еще больше затрудняют положение ловкача, и он срывается, как всякий махинатор, на чепухе.

Если вдуматься, разновидностей трусов — от патологических типов до отъявленных негодяев — не меньше, чем подлинных храбрецов. Мне всегда интересно узнавать тех и других близ огневого рубежа. Мне досадно, что боевая обстановка, профессия журналиста, дефект зрения ограничивали мой желанья и возможности как психолога и как писателя. Часто я просто не успевал познакомиться поближе с прекрасными людьми. Они погибали. И это были мои личные потери. Отрицательные персонажи на огневом рубеже и вблизи него — редки, ибо они-то уж стараются не соваться в опасную зону...

Наконец-то! В кармане гимнастерки редакционное предписание: отбыть в передовые части на столько-то дней. У Володи Полякова такое же удостоверение. Без него трудно получить даже бензин, не говоря о сухом пайке НЗ. Хотя мы получали, иногда даже не очень «су-

хой)... И вот Зарецкий, либо Супенко, а иногда Мунтян — кто-либо из них подкатывает к воротам типографии. Как правило, долго разыскивают Полякова, а я, пока ищут Володю, иду к Василисе попрощаться: он всегда мне улыбается и говорит что-нибудь доброе и смешное на дорогу, провожает меня с перышком в руке.

Оказывается, Поляков прибежал и, не застав меня у ворот, убежал к полковнику, который Володю любит больше, чем всех других подчиненных. Полковой Полякова не провожает, а делает замечание относительно внешнего вида. Как же так? Не хватает одной шталы, расстегнута ширинка, пряжка пояса на боку и т. д. Полковой просит присматривать за мной и возвратиться в редакцию день в день. Чудак! Но когда же редактор говорил что-нибудь другое? Это Василиса мог сказать на прощанье: «Достань там тараночки».

В самую последнюю минуту является Попелянский с недовольным лицом: у него забарахлила «лейка», и приходится брать редакционный «ФЭД». Он считает, что это происки другого репортера Ярославцева. И вообще он не любит снимать минометчиков: «Они стреляют и двигаются». Попелянскому гораздо больше нравится другая натура — «трупы гестаповцев». «Натюрморты», — поясняет Поляков.

Попелянский до войны уже считался в Виннице весьма солидным фотокорреспондентом. Ему поручалось оформление выставок, снимать юбилеи разных учреждений, а за снимки по случаю юбилея театра он получил даже первую премию.

— Актеры — это натура, — говорил он. — Они умеют сидеть и стоять смирно на любую выдержку. Актеров снимать приятно, не то что слишком шустрых минометчиков или танкистов.

Попелянский снимал очень хорошо, потому что не мог снимать халтурно. Но свои собственные отличные фронтовые этюды он совершенно искренне считал вторым сортом... Подобно большинству репортеров, он пренебрегал опасностью и, снимая самые боевые сюжеты, думал и заботился только о свете, композиции, выдержке и злился на обстрелы и бомбежки, как на помехи. Чувства юмора ему бог не дал, он был трогательный и комичный зануда:

— Можно я сяду рядом с водителем? При подъезде к натуре чего-нибудь высмотрю...

Понятно, что мы с Володей не возражали: Попелянский устроился впереди, а мы вдвоем на заднем сиденье, — и направились в Запорожье, где один паш батальон лихим штурмом взял и очистил знаменитую Хортицу, древнее обиталище казацкой Сечи. По дороге нам «придали» капитана Курта из седьмого отдела, так как на Хортице взяли пленных.

Не скажу, чтобы мы слишком задумывались в то лето над тем, как продвигается блицкриг — мы считали, что фашисты чересчур спешат. Успешный захват Хортицы показал, что немцы вполне победимы. Однако, переехав туда, мы увидели не только груды трупов, но и следы попыток освоить завоеванное: виноградники и парники были ухожены. Что-то среднее между крепостью и подобием совхоза (конечно, немхоза) представляла собой эта пядь украинской земли.

Комбат-победитель был в капитанском звании, чувствовал себя законным властителем Хортицы. Принял он корреспондентов радушно. Дал возможность всюду ходить, брать интервью у бойцов и фотографировать его самого и трофеи, но нашего Курта заподозрил в чем-то и даже хотел арестовать. До самого нашего отъезда за Куртом топал автоматчик и мешал ему заниматься делом — попросту не дал ему встретиться с пленными. Так у Курта с комбатом получился острый конфликт на почве бдительности. Мы всячески заступались за Курта, но наше вмешательство вызвало охлаждение героя комбата по отношению к нам.

Свою редакционную задачу мы с блеском выполнили. Были сделаны превосходные снимки, исписаны блокноты, я даже сочинил песенку с рефреном: «Хортица, Хортица! Будет немец корчиться». Газета широко и подробно освещала тему краха мифов о непобедимости немецкого оружия. О чем думали немцы, допустившие такой афронт, мы не знали из-за конфликта комбата с сотрудником седьмого отдела.

Жители Запорожья законно ликовали. Выяснилось, что многие из «вольных» граждан помогали войскам. Даже школьники ухитрялись незаметно переплывать на остров и возвращаться с разведанными. Мы впервые увидели результаты победы, пусть небольшой, но зримой и убедительной.

...Приднепровская равнина с населенным пунктом Подгородняя. Отсюда до Днепра несколько километров, но Днепропетровск виден, небо над ним кипит и клубится от зенитных залпов. Налетают наши гиганты «ТБ-3», трехмоторные бомбардировщики, и сваливают на город лавины эрэсов, целые вагоны взрывчатки. Грохот и шум величайшие. Смешиваются трели скорострелок, резкие удары крупнокалиберной артиллерии, и — настоящий набат, когда разгружаются наши «ТБ». По всей нашей равнине рвутся снаряды. Рвутся на перекрестках дорог, и в посадках тополей, и, между прочим, в самой Подгородней.

Днепропетровск в руках противника. Мы среди наших войск на другом берегу, как всегда, на пологом, и находимся под интенсивным артиллерийским огнем.

Мы прибыли в огромном грузовом фургоне с брезентовым верхом. Палатка на колесах. В брезенте вырезан круг для пулемета, но пулемета у нас нет, а дыра есть. Водитель по фамилии Зозуля, рослый малый лет двадцати, поставил машину на окраине Подгородней и решил не отставать от нас: мы, то есть Зозуля, Поляков и я, вследствие обстрела подбираемся ближе к берегу перебежками и ползком. Хочется своими глазами видеть, что творится.

Нашли площадку, поросшую довольно густой и высокой травой. Легли и смотрим на Днепропетровск. Линия городских зданий на горизонте, и над ними клубится от разрывов небо. То и дело проносятся на бреющем немецкие самолеты: за болотом слева от нас замаскированы наши зенитные пушки. Подстерегают появление групп авиации. За одиночками охотятся только азартные стрелки из пехоты. Наш Зозуля лег на спину и давай пулять по разведчику, жужжащему где-то на десятикилометровой высоте. Его лицо сосредоточенно. Он старается бить наверняка: тщательно целится, задерживает дыхание — как в тире. Но разведчик кружит себе и кружит, знает, гад, что пульей из винтовки его не достать, и фотографирует, конечно, а может, и по радию корректирует работу своих батарей: что-то часто рвутся снаряды близко от нас. Вот только что расщепило здоровенный тополь...

Доносится густой гул из-за реки. Появилась группа наших «ТБ». Сразу затаивались, залились скорострелки! Но зенитчикам Гитлера не удастся отогнать и даже рассеять наших.

Мы читали листовки, где немцы сообщали, что у большевиков появились новые бомбардировщики, способные часами висеть над целью... На самом же деле секрет был в том, что звукоуловители срабатывают на первую волну звука, а «ТБ» тянется где-то в самом конце гуденья. Уловитель срабатывает, пушка отстреливается, и тогда лишь на цель рушатся лавины бомб.

Наползались до отвала по этой равнине. Велели Зозуле прекратить огонь. И снова перебежками и ползком направились к Подгородней.

Пожевали хлеба с колбасой из нашего сухпайка, рванули глечик холодного молочка в одной из хат у старушки. Старушка крестилась при каждом разрыве снаряда, но совершенно спокойно относилась к своей возможной смерти.

— Буренушку сничтожили, так кудой мне? — сказала она пам. Деньги за молоко взяла, не отказалась.

Вдруг в избу вошел какой-то парень в танкистском комбинезоне и спросил:

— Кто здесь стихами заведует?..

Поляков показал на меня.

— У меня сатира, как Гитлер подрался с Геббельсом. И картинку я нарисовал...

Я показал на Володю, и Володя вышел с ним на улицу.

Молоко оказало спотворное действие. Я простился с хозяйкой, мигнул Зозуле, мы пошли к своему фургону. Брезент был задран и закинут на крышу кабины. Небо над головой выглядело гораздо приятней, чем в дыре для наблюдения за воздухом. Из него уже изливалась предзакатная прохлада...

Очнулся с болью во всем теле. Из правого уха текла кровь. Я ничего не мог сообразить. Меня поднял какой-то солдат со знакомым лицом. Поднял он меня с земли, метрах в пяти от машины.

— Только что на нас упала бомбочка, не бомба, а бомбочка, — торопливо говорил Зозуля, которого я наконец узнал. — Так что бомбочка. Машину трохи повело, а вы зараз пропали. Мабуть, волной вдарило... — Зозуля заскочил к бабке и принес глечик, такой холодный, что он

догадался — там на дне «ледянка», то есть лягушка, исполняющая роль холодильника.

В правом ухе сильно звенело. Вся правая сторона — плечо, рука, бок и нога — ныла, словно я ее прищемил. Но я был жив и с удовольствием пил молочко. Поинтересовался, где Поляков? Только спросил... — а он, вот он, с тем танкистом подбегает к Зозуле:

— А ну заводи! Быстро...

Он даже не обратил на меня внимания и только сказал:

— Подожди, я сейчас...

И грузовик, помчался в сторону болота.

Быстро пришел в норму. Перестало шуметь в ушах, и нога не болит. Побежал к болоту. На краю его стояла наша фура. Меня окликнул Зозуля:

— Товарищ, комиссар! Не бегите, бо там зыбка... — И показал на болото.

Я рассмотрел две фигурки — одну маленькую, а в другой по несуразности движений угадал Володю. Подул ветерок, и до меня донесся звук его голоса. Потом фигурки слились, и я испугался, что Полякова засосало. Зозуля еле успел схватить меня за руку, так я рванулся на выручку, сказал, что у меня «обратно юшка тече з вуха», и действительно, из уха шла кровь. Сделал тампон из носового платка, заткнул ухо... Пока я оказывал себе эту неотложную помощь, фигурки в болоте возникли опять и начали расти. Я понял, что идут не двое, а несколько человек.

Так оно и было, — к нашему фургону приближались Поляков, я уже слышал хлюпанье воды в его сапогах, танкист-сатирик в комбинезоне и высокий тощий молодец, по пояс вымазанный тиной. Володя и сатирик крепко держали малого за обе руки и ускоряли его походку, ударяя коленками по задку, отчего он иногда вскрикивал заячьим голоском. Позади этой тройцы и с боков шло не менее пяти солдат в касках; они что-то горланили, размахивая руками. Вся группа была чрезвычайно оживлена, раздавался мат вперемежку с угрозами. Когда они все остановились передохнуть от быстрой и утомительной ходьбы, откашляться и закурить, мы с Зозулей подошли вплотную, и я увидел азарт на Володином лице и не менее возбужденные физиономии остальных.

Володя знаком подозвал Зозулю, и тот из рук в руки

перехватил тощего парня и наподдал ему в заднюю часть со словами:

— Ты стой як треба, сучья лапа!

Сучья лапа что-то залопотал, но вытянулся во фронт перед моими знаками различия. А Поляков обратился к прочим с короткой речью, перекрывая общий гвалт актерским, хорошо поставленным голосом.

— Что случилось?— спросил я, разглядывая всю компанию.

— А мы его сбили, товарищ батальонный комиссар!— заявил низкорослый лейтенант в каске, сердито поблескивая раскосыми глазами.— Лейтенант Касымов, командир батареи зенитного дивизиона...— начал он и не окончил...

Володя отстранил его рукой и крикнул:

— Перестаньте, лейтенант, и не морочьте голову! Лучше сядьте и пишите.

Касымов разинул рот и заморгал, но тут же спохватился:

— Где это я возьму бумагу? В болоте, да? Пойдем в штаб дивизиона, там разберутся, и вам влетит за нахальство...

— С ума спятили, лейтенант!— категорически, с отливо разыгранным изумлением воскликнул Поляков:— Возможно, что ваша батарея участвовала в отражении налета, я не спорю... Только летчика поймал и пленил капитан Поляков, начальник отдела юмора фронтовой газеты «Во славу Родины»... Вот вам планшет, ручка, успокойтесь, сядьте в кабину этой машины и пишите сейчас же расписку...

Володя взял обалделого лейтенанта под руку, сунул ему в другую свой планшет и отбуксировал артиллерииста к фургону.

Вся группа обступила Зозулю, который держал пленного мертвой хваткой и так часто наподдавал ему коленкой, что беднягу стошнило, к немалому отвращению зрителей. Я был вынужден строго осадить конвойного:

— Товарищ Зозуля, и вы, товарищ юморист, посадите пленного в кузов. Вы отвечаете за его целостность головой, ясно? Выполняйте!

И жертва была поднята и принята на борт нашего корабля, посередине между Зозулей и танкистом; пленный сидел, тихонько икая и лепеча непонятные слова.

Поляков, облокотившись на руль; мерно, как маши-

нистке, диктовал текст, а лейтенант по-ученически прилежно, даже склонив набок голову и высунув кончик языка, выводил: «...одного фрица, сбитого вверенной мне батареей, но изловленного во время бегства на болоте капитаном Поляковым В. С. ...»

— «Вэ эс» написали? — спросил В. С. Поляков, и артиллерист отвечал:

— Угу! Так точно. Все?..

— Старик! — воскликнул Володя. — Куда торопишься? Надо было спешить раньше, и фриц был бы твой... Так на чем мы остановились?

— Вэ эс... — повторил зенитчик и почесал ручкой блестящий потный коричневый нос, приготовляясь писать дальше.

Поляков проверил написанное, глядя через плечо лейтенанта, подумал и продолжал:

— «Передал означенному капитану Полякову», написал «означенному капитану Полякову»?

— Есть, — сказал лейтенант, — Вэ эс?

— Не надо. «Как осуществившему поимку и пленение данного неприятельского летчика, а также...» Написал «а также»?

Зенитчик кивнул.

— «И доставку оного в штаб фронта». Точка. Теперь давай пониже «Сдал», твои звание и должность... Пиши, пиши, не чешись. «Принял начальник отдела «Каленым штыком» фронтовой газеты «Во славу Родины» Поляков В. С.». Пиши «Вэ эс». Число, месяц и год. А сейчас перепиши...

Лейтенант возмущенно вскочил, но, ударившись головой о потолок кабины, снова сел, почти простонав:

— На кой нужны два экземпляра?

— Да ты что, сдурел? — изумился Володя. — Мне же нужен документ при пленном, соображаешь? Мы же оба распишемся, понятно?..

Со вздохами артиллерист завершил писанину и расписался под обоими документами.

Наконец они вышли из машины — один растерянный и замученный, а другой очень довольный.

— Мы сегодня сделали историческое дело, — сказал Поляков. — А вы, друзья-артиллеристы, следите за газетой. И вы, друг мой, — обратился оратор к танкисту, — получили прекрасный материал для юмористического произведения. Что касается карикатуры, то правильней доверить это

нашему замечательному художнику Васильеву. Зозуля, поехали, уже смеркается, — приказал Поляков, держа в руке драгоценный документ и решая, куда бы его положить. И придумал — в кобуру, но, взявшись за нее, издал нечеловеческий вопль: — Где мой пистолет? Копмар, потерял!..

Всех присутствующих потрясло обнаруженное несчастье. Давали разные советы. Спрашивали Володю, не стрелял ли он во фрица и был ли пистолет во время преследования, чего Поляков не помнил. Касымов, в общем-то обиженный, смягчил свою досаду до того, что предложил Полякову свой наган, и, когда Володя поблагодарил, но отказался, спросил:

— Неужели и журналистов драют за потерю оружия? Должны выдать новый. Подумаешь, дерьма-пирога, — заключил он ободряюще.

Мой друг был в отчаянии. Я предположил, что он мог выронить пистолет еще там, на той травянистой площадке, где мы ползали под обстрелом. Он вдруг сильно воодушевился и заявил:

— Сбегаю туда. Теперь меньше стреляют...

Володя попрощался с товарищами, даже обнялся с Касымовым, и компания разошлась, потому что быстро темнело. Строго наказали Зозуле следить за фрицем, который, кстати, сидел тихий как мышка. Мы вдвоем побежали на площадку, уверенные, что в темноте не найдем то место, где ползали и лежали, когда было светло.

Меня поразила ночная бомбардировка Днепропетровска. Но Володя лишь оборачивался ко мне со словами:

— Скорей, черт возьми!..

Мы бежали, пока не выдохлись и не упали в траву совершенно мокрые. Мы лежали и молчали. Впрочем, лежал я, а Поляков все время шевелился — шарил вокруг, издавая болезненные стоны. В конце концов мне это надоело, и я предложил плюнуть на пропажу и вернуться в Подгороднюю. Тогда Володя встал, зажмурился и сказал:

— Попробуем детское средство...

Он четыре раза повернулся кругом с закрытыми глазами и рухнул в траву. И — о, чудо! — поднес к моему лицу влажный от росы пистолет. Он даже поцеловал его, прежде чем сунул в кобуру. Потом поцеловал меня, и мы одним духом добежали до фургона.

Зозуля нам явно обрадовался. Он стерег пленника, о чьей поимке, конечно, знала вся Подгородняя — особенно

бойцы. Несмотря на позднее время, мы застали около фургона немало зрителей. Бойцы, правда, видели очень много: машину и Зозулю, который с автоматом в руках топтался у хвоста фургона, изредка покрикивая на самых любопытных:

— А ну геть! Не лапай брезент!

Когда мы подошли, Зозуля принял положение «смирно» и отрапортовал:

— За время вашего отсутствия ничего такого не было, за исключением, шо фриц просился «пс-пс-пс». — Это Зозуля воспроизвел, по-видимому, без отсебятины. — Так шо я его выводил до ветру. Часовой старший сержант Зозуля.

— Можете стоять «вольно» и вообще прекратить дежурство. Приступайте к вашим прямым обязанностям. А товарищи бойцы отлучились из своих частей самовольно. Ну, чего вы не видели? Фрица? Грузовую машину? Сами никогда не опраивлялись?

— Разрешите, товарищ капитан? Которые по два раза бачили, як фриц опраивлялся, а мы вже не застали. Нехай фриц обратно зараз опраивется, то мы поидемо у роту, бо вона туточки у сели... А, товарищ капитан?

• Поляков сердиться не мог.

— Ты, дружище, совсем того, — сказал он бойцу, покрутив пальцем у виска. Затем доставил всем большое удовольствие, сыграл мимическую сценку, «как опраивляются пленные». Закончив эту миниатюру, Володя сказал: — Спокойной ночи, товарищи. Читайте нашу и вашу родную газету «Во славу Родины» и можете идти по домам. До свиданья...

Солдаты ржали как скаженные, прямо рвали животы.

Зозуля завел машину. Сели по бокам пленника. Был полный мрак, потому что Зозуля закрыл верхнюю дырку. Я посветил фонариком. Фриц не спал. Он стал тереть глаза от вспышки света и что-то забормотал. Я спросил:

— Вас ист дас? Что такое? — Но он ничего не понял, рванул руками и завертел головой.

— Пожалуй, это не немец, — задумчиво произнес Володя. Он похлопал пленного по тощей спине и спросил: — Парле франсе? Ду ю спик инглиш? Больше ни фи́га не помню...

Поляков опять задумался, держа руку на плече своего трофея. Я навел фонарь и увидел выпученные глаза и полуоткрытый рот, узкий подбородок.

— Жаль парня, — вдруг сказал Володя, угадывая мои мысли. — Он, видать, здорово переживает. Как ты думаешь?

— Еще бы. Что он вынес сегодня? Все-таки летел сюда, потом вдруг самолет сбивают, парашют, приземление, потом — ты и эти ребята. Ты обыскал его, надеюсь?

Поляков помолчал и сказал как-то не по существу:

— Он ведь три бомбы бросил. Ручные. Больше у него, наверно, не было. Самолет взорвался. Я гнался за ним и видел, как он закинул в болото свой планшет, и оружия при нем уже не было... Тоже закинул, наверно. Комбинезон у него гражданский, был и беретик — потерял, пожалуй. Знаешь, поищи у него в карманах.

Я стал рыться в карманах пленного и нащупал карточку. Говорю:

— Володечка, посвети-ка сюда.

На карточке я с трудом разобрал латинские буквы. «Наполи». Что это такое? Шифр? Стоп, я вспомнил: «Наполи» — это Неаполь.

Говорю Полякову:

— Неаполь. Это — где Везувий?

При этих словах пленный очень оживился и стал повторять: — Си, Наполи, Везувио... Италлиано... — Он захихикал, потянул носом и ударил себя в грудь...

— Ты итальянец, да? — сказал Володя. — Аллегро-модерато-анданте-капричозо-форте-пиано-крещендо-Муассолини?..

Эта тарабарщина так понравилась пленному, что он зашелся от смеха и со слезами на глазах обратился к Полякову:

— Си, синьор капитано. Грациа, синьор.

— Ишь, стервец! Разобрал мое звание. Слух у него действительно итальянский. Вот голос довольно противный.

Володя откашлялся и нараспев протянул:

— Мммм-мма мммма. Доницетти, Пуччини.

— Bravo, синьор! — угодливо закричал итальянец и льстиво добавил: — Синьор артисто?..

Вскоре встали на обочине. Все вышли, и каждый занялся своим делом. Когда итальянец поднялся и сказал: «Грациа, синьоре!» — я закурил и протянул портсигар плен-

ному. Он взял папиросу, явно с целью угодить русским, потому что дико закашлялся от первой же затяжки.

— Русский табачок! — заметил Зозуля, у которого не чувствовалось ни грамма симпатии к пленному. — Зря травите курицу, товарищ комиссар, на фашиста! Бо же вип бомбочку на нас кинув, сучья лапа, трохи не порешив вас... — И Зозуля сплюнул. Итальянец тоже выплюнул окурок, подражая русскому солдату. — Чистый обезьян, — заключил наш водитель... — Дуже нахальный — бач, як осмелел, бо понял, шо отвоевался.

Зозуля был совершенно прав, — мы здорово упали в его глазах. Поляков, чтобы восстановить равновесие, очень строго заметил:

— Сержант Зозуля. Как антифашист, вы обязаны быть гуманным. Слушай, — вдруг кинулся он ко мне, — а ты не ранен? Тебе полежать надо. Лезь в кабину к Зозуле. В первом же селе станем на ночлег. А ты, синьор Боттичелли, давай в машину. Куш! На место! — Он подтолкнул пленного.

Мы поехали дальше и вскоре оказались на улице большого села.

Опять была чудесная ночь со сказочным месяцем между тополями. Где-то небо освещалось то ли зарницами, то ли ракетами. Стрекотали сверчки. Я видел парочки, обнявшиеся у калиток. Слышалась протяжная украинская песня, какие я очень люблю. Интересно, между прочим, как реагирует наш трофей на искусство противника, — стоит спросить. Но как? Эх, нет с нами Арка — вот настоящий полиглот, не то что мы с Володей...

Зозуля безошибочно, особым чутьем определяет место, где находится правление колхоза. Сказывается опыт сельского водителя — даже в темноте он почуял и распознал какие-то признаки, недоступные пониманию городского шофера.

На крыльце стоит человек с двустволкой. На голове фуражка, а на рукаве — повязка. Это я разглядел уже в помещении, так же как лицо, изборожденное морщинами, хоть и не старое. Фуражка с зеленою тульей пограничника. Чувствуется бывалый солдат. Вытягивается перед командиром и четко докладывает об отсутствии происшествий и полном порядке:

— Я есть бригадир полеводов, — говорит он мне и доверительно-понижает голос: — Оставлен для партизанских действий в случае чего... А вы кто будете?

В дверях появляются сначала пленный, а за ним — Володя.

Это я и объясняю дежурному. Реакция моментальная и неожиданная. Дежурный подскакивает к итальянцу и кричит:

— Хенде хох!

Итальянец тоже поступает моментально и неожиданно — приседает на корточки, прячется за Володю. Дежурный говорит:

— Шпиен? Что ж вы его не ликвидируете по закону военного времени?

— Везем во фронтовую разведку — там разберутся, — отвечает Поляков и просит разрешения переночевать здесь.

Правление разгорожено пополам стойкой с затейливыми балясинами, за которыми — два канцелярских стола. На одном — десятилинейная керосиновая лампа с отражателем. Два окна хорошо затемнены тяжелыми занавесками. В простенке — большой портрет Маркса.

— Будьте добры, — говорит Поляков дежурному, — организуйте что-нибудь поесть. Пленному тоже.

Дежурный заметно мрачнеет...

Замечаю недовольство дежурного отношением к итальянцу и говорю:

— Успокойтесь. Мы знаем, как поступать в таких случаях. Это первый итальянец на нашей земле, и из него сумеют выжать ценные сведения. Давайте выйдем вместе. Познакомьтесь с нашим водителем. Товарищ Зозуля, идите сюда!

Зозуля выглядывает из окна кабины, старается определить, откуда его позвали. Я еще громче говорю:

— Идите сюда, на крыльцо.

Зозуля вылезает, потягивается и зевает, захлопывает дверцу и говорит:

— Так точно, слушаю.

— Помогите дежурному устроить ужин. На четверых...

— И хрицу? — удивляется Зозуля.

А дежурный почти укоризненно обращается ко мне:

— А я что говорю? Всякую шваль питать...

Зозуля подхватывает эту сентенцию и заявляет, шопей стервятник трошки не разбомбил комиссара.

Меня раздражает их упрямство: "

— Послушайте, друзья! Вы же украинцы, народ гостеприимный. Зачем жадничаете?.. Ладно, подумайте над этим после. А сейчас — одна нога тут, а другая там. Выполнийте!

Поворачиваюсь к ним спиной, чувствуя, как онижимают плечами, но исчезают во мраке.

За стойкой при свете десятилинейки сидят у стола рядом Поляков и пленный. Володя что-то чертит в блокноте, потом дает карандаш итальянцу, и он долго всматривается в листок. Я становлюсь за их спинами и вижу: Поляков нарисовал человечка на очень смешном аэропланчике и от него пунктир к другому человечку внизу. Пленник быстро и гораздо реалистичней рисует пушку и от нее пунктир к самолету:

— Пиф-паф! — восклицает он.

Эта сцена похожа на игру в детском саду. Я смеюсь, а они оба глядят на меня круглыми глазами.

— Неужели это так тебя веселит? — спрашивает Володя. — Такой кошмар... До чего же этот дуче довел своего подданного, художника, между прочим?.. Посредством рисования я много из него выудил. Гляди, — и он передает мне блокнот, весь изрисованный изображениями разных человечков, домов и даже горы с клубящимся над ней штопором дыма. — Он не успел кончить двухнедельные курсы без отрыва от производства. Он там вкалывал на текстильной фабрике по тканям. Посадили трех человек в три спортивных самолета и погнали за тридевять земель. В первом же бою его консервную банку разнесло. Те двое неизвестно куда делись. Чего ты ухмыляешься? Надо только с ним поработать... Ты есть хочешь? — вдруг спросил он художника. — Ням-ням, кай-кай? Компрене?.. Очень сладкого хочется.

С точки зрения опытного штабного офицера, мы вели себя как форменные кретины. Но ведь это был наш первый пленный, которого, конечно, нам уступили, так сказать, под давлением. Он тешил нас и наше тщеславие — а опыт придет. Это дело наживное, нам еще воевать и воевать. А пока доблестному капитану из редакции нравится рисовать картинки, а еще больше хочется сладенького.

— Где этот ужин запропастился? — капризничал Поляков.

И тут же открылась дверь, впуская дежурного и Зозулю, надо признаться, — довольно хмурых. За ними вопла

низенькая полная женщина со скатеркой на плече и стопкой металлических мисок в руках. Осматривая всех маленькими блестящими глазками, она сказала: «Здоровеньки были!» — проворно застлала стол и поставила посуду. Дежурный водрузил на середину стола целый таз домашней брынзы, вынул из кармана несколько ложек и воткнул их в брынзу. Зозуля внес такой же таз прозрачного меда и презрительно кинул туда ложки. Он отказался от Володиного приглашения сесть с нами. Не ответил и дежурный. Только женщина заявила:

— Та я так, постою, подывлюсь.

— А хлеб? — жадно спросил Поляков Зозулю. — Ну, чего ты киснешь? Все идет по плану. Отвезем его в разведку. Это ценный тип. Тащи хлеба и не церемонься — ужинай...

Когда с Зозулей так говорили, он действительно все выполнял. Тут же он притащил буханку хлеба, быстро нарезал и подхватил ложкой изрядную порцию брынзы. Итальянец взял брынзу и понюхал. Понюхал и скривился.

— Вот пахло, — в сердцах выругался дежурный, — щебрезгует... Пойдем, Мотря, тут нам делать пока нечего. И они вышли.

Но мед понравился чрезвычайно. Итальянец всех обогнал, так что Зозуля поднял руку с ложкой и хотел было влепить ему по лбу, и вlepил бы, если б не я. Володя сказал пленнику:

— Анданте.

Тот понял, что надо есть помедленней. Стоило посмотреть, как лакомились эти двое. Они облизывали ложку и стонали, закатывая глаза.

Поели и закурили. Итальянец подошел к портрету Маркса и долго изучал его в разных ракурсах.

— Это кто? — Зозуля показал пальцем на картину.

Пленник поморгал бесцветными ресницами, подумал и произнес тоже вопросительно:

— Верди?

— Темнота, — твердо заключил наш водитель. — Як чурка... Разрешите идти?

Зозуля собрал посуду и принес наши шинели. Мы устроились, как в редакции, на столах. Итальянец лег на лавку, недолго повозился пощечья, почмокал губами и что-то молитвенно пошептал.

...В редакцию мы вошли шумно, как гусары. Поляков повел пленного к Погаре, и почти сейчас же мы услышали голоса Володи и редактора — они прошли мимо машинного бюро к выходу и разговаривали уже во дворе.

У самой двери, возле бака с кипяченой водой, сидел наш итальянец. Он слегка приподнялся, увидев меня.

Во дворе Погара, Володя и еще двое командиров стояли возле штабной «эмки». Я подошел, и Погара приветствовал меня, коснувшись козырька. Потом представил меня командирам:

— Наш поэт.

Полковник и майор были сотрудниками разведотдела штаба. С доброжелательным любопытством они смотрели на нас и наговорили много приятного насчет исключительно хороших материалов в газете, а именно стихов, рисунков и фотографий.

— Простите, — вдруг сказал майор, — верно ли, что ваша бригада добыла языка? Знаете, на войне много фантазируют. Может, правда, кроме дыма есть и огонек?

Володя умоляющие глядел на редактора, тот казался смущенным. Тогда подал голос полковник:

— У нас никаких к вам претензий, товарищи журналисты. Дело у нас общее, верно, майор? А уж если общее — давайте действовать в контакте. Не может быть, чтобы люди по всем статьям так уж разбирались, вы как считаете, товарищи поэты?

— Не совсем понятно, — на всякий случай сказал я. — Пленный Полякова, я так понимаю, вас интересует?

— А как же? — улыбнулся майор. — Это же не личный трофей.

— Ну вот что, — решительно заявил Погара. — Вы сейчас же сдадите итальянца товарищам из разведки. И на этом конец.

Поляков ушел в редакцию. Он был очень расстроен.

Пленник тут же перешел в ведение разведотдела.

С тех пор я никогда больше не слышал, чтобы из командировки привозили пленных. Возможно, где-то в других редакциях брали в плен, но об этом даже слухов не было.

А Володе досталось. Из разведотдела донесся поклеп на Полякова, который якобы присвоил себе часы итальянца. Это вполне мог сказать и наш пленный во время допроса. Зозуля, услышав об этом навете, усмехнулся и заявил:

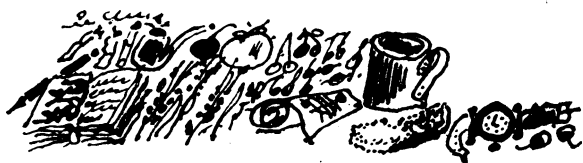
— А вы, товарищ капитан, ще медом угощали такого захудалого хрица...

...Мы с Поляковым выучились возвращаться с задания в редакцию даже тогда, когда у всех исчезала надежда увидеть нас живыми-здоровыми. Нам везло, и нервы пока что не сдали. Я сперва позабыл о своей контузии, — тоже, надо полагать, из-за крепости нервов и благодаря присутствию юмора. Однажды сидя на топчане в зале, я решил поменять белье. Мы с ребятами часто спали одетыми, жертвовали гигиеной в целях экономии времени. Когда я стащил с себя покоробленную нательную рубаху, мой сосед по койке ахнул:

— Ребята! Смотрите!..

И ребята дружно смотрели и пытались уговорить меня сходить в госпиталь. Вся правая сторона тела была сплошным синяком со зловещим желтоватым окаймлением. Но ведь ничего не болело. Я не подозревал, что спустя многие годы, в мирной жизни, вдруг начнутся такие страдания, что я буду искать исцеления в самых жестоких способах лечения...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ



Осень наступила меж тем очень скоро. Донецкая противная пора морозящих дождей. Была такая фантастическая грязь, какую трудно вообразить. Ни пройти, ни проехать. Казалось, даже военные действия остановились. Это было затишье перед новым наступлением. Противник пользовался каждым просветом в небе для бомбежки.

Похоже, что и противник ждал заморозков.

На исходе сентября в редакции появились артисты — фронтовая бригада из Москвы. Это были звезды эстрады: Хенкин, Гаркави, Лидия Русланова, опереточный дуэт и даже фокусник. Разумеется, они давно знали Володю По-

лякова. Мы провели с ними несколько вечеров, демонстрируя друг другу актерские «капустники». Мы очень сдружились со всеми. Артисты встретили на фронте целую группу неунывающих людей. Им было необходимо перед выступлением в войсках проверить себя, зарядиться от нас, обстрелянных фронтовиков, хладнокровием и мужеством... А мы от них старались набраться информации о тыле, о Москве, о наших общих знакомых и друзьях.

Из-за распутицы первые выезды бригады ограничились авиачастями. У летчиков было жарко: они вели разведку, совершали налеты на коммуникации немцев. Воевали самоотверженно. Несли потери.

На узел Пятихатка вместе с бравым летчиком отправился Владимир Яковлевич Хенкин. Самолет попал под сильный зенитный огонь, еле выкрутился, и пассажир хлебнул-таки лиха, но зато Хенкин вспомнил свою дореволюционную солдатскую жизнь и угостил наших авиаторов великолепными рассказами о царской казарме. Он держался в новой среде совершенно свободно, очаровал всех. Частушки Руслановой приводили слушателей в дикий восторг. Наша опереточная пара, фокусник и милый толстяк Гаркави тоже удачно прошли боевое крещение.

Погара устроил товарищеский ужин, а мы взяли на себя концертную часть. Был сервирован стол. Пили умопомрачительный напиток — разбавленный спирт-сырец: жидкость молочного цвета, ядовито-бензинового запаха и смертоносного действия. Давились, но глотали и хмелели. Хохот не прекращался. Все были в ударе: Поляков и Михалков, Хенкин и Русланова...

В самом разгаре пира вдруг кто-то вызвал полковника. Он долго не возвращался. Потом стал по одному вызывать сотрудников в свой кабинет, где тихо сообщал, глядя покрасневшими унылыми глазами, что сдан Киев и положение крайне обострилось. Конечно, предупредил, чтобы не волновать гостей...

С меня соскочил весь хмель.

Сдан Киев, красивый большой город, который показывал мне незадолго до войны совсем юный Корнейчук. Я знал многих писателей-киевлян. В 1916 году жил там с родителями, с местными пацанами играл на Святославской горке, — там еще укусила меня рыжая собака... Обрывы и Днепр. Тополя на бульварах. Мосты... Какой ужас! В Киеве гитлеровцы... Мне захотелось плакать, но я вернулся за стол и потребовал двойную дозу спирта. Лица то-

варищей казались мне фальшивыми, а наши гости артисты — пошлыми.

Заморозки навалились на Донбасс как-то сразу. Не успел мороз покрепчать, как вся редакция засобиралась из Сталино. Восьмого октября 1941 года пришло указание — уезжать.

Накануне в Мариуполь, при народе на улицах, в учреждениях и на заводах, при идущих трамваях и городских часах, при милицейских постах на перекрестках, — словом, в живущий полной жизнью город въехали немецкие танкетки и мотоциклы!..

Мариуполь — это часть Донбасса. От него до нас — лишь несколько десятков километров.

Перебазировка редакции началась и завершилась в считанные часы.

Это трудно было назвать переездом. Происходило почти бегство, без заранее определенной точки. В Алчевске мы не разгружались, а слегка посуетились и поехали дальше.

Из города в город под покровом тьмы проносились тяжелые спецмашины мимо еще дымящихся и тускло светящихся цехов донецкой металлургии. Где-то чудом заправлялись и ехали, ехали, ехали. У нас, газетчиков, было смутно на душе от вынужденного безделья. Из-за этой ли смутности, от полного незнания обстановки, из-за отсутствия перспективы — память отказывается что-то зафиксировать. Стало так холодно, так сумеречно на этих малоснежных тряских дорогах, что чувства слились в одну мечту — о теплом ночлеге и кружке чая...

К середине октября мы оказались в неимоверно длинном городе на правом берегу темно-свинцовой реки. Сталинград.

Кроме грустного вида утихшего города, кроме снегов цвета старой неструганой древесины, кроме злущего ветра, я мало что видел и чувствовал.

Речной вокзал. Множество плохо одетых, печальных людей-беженцев с Украины и из Молдавии. Безнадежно ждали они какого-нибудь парохода в любую сторону. Река еще не стала, но никаких признаков движения по ней. Я старался привыкнуть к помещению редакции «Сталинградская правда», которая стала нашей временной базой.

Очень ветрено и холодно. В редакции и в наших помещениях почему-то единственным теплым местом была

уборная, где каждый старался подольше задержаться и погреться.

На улицу не хотелось выходить, но и в редакции сидеть надоело невероятно. Все устали от страшного напряжения. Тогда мы с Володей взяли развлекать товарищей. Чуть не каждый вечер устраивали «капустники». Стулья стаскивали в одну комнату и ставили в несколько рядов. На почетном месте восседал наш редактор Погара, какой-то оплывший и мрачный. Иногда он горестно и болезненно вздыхал. Еще бы: из Москвы сыпались непрерывные и суровые замечания, предупреждения и выговоры, хотя и без них было тошно. Все мы понимали, что торчать за полтысячи километров от передовой и жить «на иждивении» Филиппова, редактора областной газеты, стыдно и нелепо. Все обстрелялись, все научились работать в боевых условиях, и хорошо работать!..

Над этим тошнотным состоянием и ожиданием чего-то мы горько посмеивались в своих импровизированных представлениях. Мы называли нашу группу «крепостной театр имени Погары».

Нам самим становилось теплей, когда с припухшего лица шефа сбегало выражение уныния и безнадежности и, улыбаясь прежней, хотя и бледной, улыбкой, он молча пожимал наши руки.

Бедный наш полковой! Еще никто не знал судьбу приютившего нас города на Волге, только все ощущали боль и скрип самой важной пружины, сжимающейся где-то в груди. Мы смеялись — лишь бы не заплакать. Все чувствовали, что это прощальные вечера.

Стоял свехветренный день, когда я уселся в самолетик «У-2» и перелетел Дон. Дон казался мне огромным и широченным.

Приземлились у станции Лихая. Этот железнодорожный узел на единственной артерии, связывавшей Южный фронт с Москвой, существовал как-то мерцательно — между бомбежками.

Я летел, испытывая непонятное моральное спокойствие. По приказанию шефа я должен был разыскать вагон с типографскими шрифтами, застрявший на Лихой, и переправить его в Ворошиловград, где намечалось устройство и освоение новой базы для выпуска «Во славу Родины» в

уменьшенном вдвое формате. Я выполнял последнее приказание Погарского. Редактором уже назначили другого полкового комиссара, — как ни странно, тоже из Одессы.

Я привез в Ворошиловград шрифты!

Вернее, приехал вместе с ними. До сих пор удивляюсь, как мне удалось осуществить эту сложную операцию. Так велика была моя радость возвращению на фронт, что в голове сами собой появлялись толковые идеи...

В чрезвычайно запутанной паутине подъездных путей я не блуждал напрасно. Лицо горело от свежего ветра, ноги шагали бодро, на путях не спотыкались. Я нацелился на один мирно пыхтевший паровозик — старенькую «Щуку». Почему я так поступил, неизвестно. В оконце паровоза виднелось хмурое лицо с висячими шевченковскими усами. Я подумал: «А вдруг поможет этот дядька хоть немного разобраться в лабиринте множества составов? А вдруг окажется неподалеку вагон со шрифтом...» Я придал походке решительность, установил на лице деловой и важный вид и бодро замаршировал мимо пыхтящего локомотива.

— Эй, товарищ! — догнал меня стариковский голос. — Остановись на минутку... — И машинист привычным движением выбрался на свою узенькую площадку, сошел.

Я с деланным неудовольствием замедлил шаг — кто это, мол, отвлекает от выполнения срочного задания? Затем оглянулся и остановился. Старик был уже на земле. Я подошел, и мы с машинистом внимательно осмотрели друг друга. Тут я решил перекурить, потому что с самого перелета забыл об этом. Достал из сумки пачку «Беломора»:

— Закури, отец.

Старик явно обрадовался, быстро обтер дрожащие черные ладони о штаны. Мы стали лицом к лицу и пригнулись от ветра, чиркнула «катюша» — самодельное фронтное огниво, — и трубка мира начала действовать.

Чудо! За две пачки «Беломора» этот славный человек моментально согласился искать мой вагон, найти его, прицепить к «Щуке» и отправиться в рейс до самого Ворошиловграда! Поразительно, как легко осуществлялась наша сделка. Оба не хотели терять времени: могла налететь авиация. Машинист взял мою накладную с какими-то совершенно непонятными для меня данными, надел железные

очки с поломанной «оглоблей», пошевелил седыми усами, подумал и сказал:

— Айда за мной.

Чудеса продолжались. Вагон был найден. Когда зарокотали и забрехали зенитки, когда начало нарастать воющее жужжание «юнкерсов», мы свистнули, пыхнули черным из трубы и мерно затарахтели в свой рейс...

Стоя плечом к плечу с машинистом, делающим свое дело с отменным хладнокровием, я испытывал растущее удовлетворение. Наконец-то! С обеих сторон набегают кругами знакомая донецкая природа, шелестит позолоченными деревьями, уступает место лиловатым конусам шахтных терриконов и снова охватывает нас четверых — паровоз, вагон и меня со стариком — своими милыми осенними красками. Как приятно чувствовать, что ты сам себе голова! Пропало давящее чувство бессилия перед надвинувшейся бедой... В это самое мгновение нас четверых хорошо подбросило, оторвало от рельсов, оглушило, обдало каким-то иным, не паровозным, дымом и снова поставило на рельсы...

— Ишь, стерва! — пробормотал мой старик. — Шалява, а мог быть полный конец... Дай-ка «Беломорчика», командир.

— Я вынул пачку. Мы оба затагнулись, и старик закашлялся:

— Отвык от легкого табачку... Обрато бомбить не станет, — уверенно заключил мудрец.

И мы прибавили ходу, но не очень: трудней маневрировать в случае налета на скорости. Весь маневр — то в притормаживании, то в ускорении, я восхищался стариком.

Засветло подкатили к Ворошиловграду. Отцепили вагон. Последний разок перекурили. Я растроганно предложил машинисту две пачки папирос — больше не было, но старик вернул одну:

— Тебе нужней. А мне хватит и тут. Главное — память о человеке...

Обнялись на прощание. А фамилии друг у дружки спросить не догадались.

К вечеру приехали «сталинградцы».

Несколько дней продолжали выпускать «Во славу» форматом областной газеты. Пока проверили и подгото-

вили походную базу. Работали как бы по инерции. Поселили нас в кабинете гинекологической больницы (!) с тяжелым операционным столом и огромной лампой над ним.

Пока тянулось это безвременье, Володя задумал отпраздновать свой день рождения. Он ухитрился где-то раздобыть торт. Ребята притащили целую канистру страшного спирта-сырца. Торжество сопровождалось музыкой: сохранился снимок всей группы, пирующей за операционным столом.

Покинул фронт Погара. Временно прислали человека по фамилии Грек. Уехал неизвестно куда Железнов. Уехал в Москву Сережа Михалков. Еще кое-кого откомандировали. Как-то быстро все перетасовалось. Мы оказались там же, где штаб фронта: недалеко от Лихой, в Каменск-Шахтинском, бывшей донской казачьей станице, и выпускаем маленькую четырехполоску, как все другие фронтовые газеты. Для такой газеты не нужен большой штат. Москвичам пришлось ограничить свои аппетиты, привычку писать много.

Удивительно емкая вещь — время! Какой-то бездонный мешок: его можно так папихать событиями любого масштаба, что, кажется, он вот-вот лопнет...

Исторически прожитый отрезок времени бесконечно мал, а уже зима, холод, метели. Бывает иногда — вдруг повеет с моря ветер, и все начинает течь и расползаться. Мы расстегиваем шинели и перепрыгиваем лужи под синим небосклоном.

Такая смена декораций — от зимы к весне — произошла в конце ноября, когда Южный фронт подготовил и нанес удар по румынам. Мне кажется, что это было отвлекающее мероприятие: облегчить положение Москвы, сбросить время и, подогнав сибирские части, обрушиться на основательно потрепанных гитлеровцев... Лыщу себя надеждой, что есть и наша маленькая доля в знаменитом разгроме немцев под Москвой! Надо сказать, что все «южане» считают удар на Ростов первой победой Красной Армии, самой первой. Разве противник не бежал в дикой панике? Разве наша ноябрьская победа не отдалась эхом на Балканах, а в моей душе песней «Давай закурим»?

Никогда и ничего не желал сильнее я, чем победного

завершения войны. Военачальники разрабатывали и готовили ростовскую операцию. Но ликовали, но гордились своей ролью чернорабочие войны — солдаты, младшие командиры и мы, полупштатские хлопцы-газетчики, вооруженные в основном авторучками и фотокамерами. Наше ликование, гордость и наивная переоценка ростовской победы были возвышенны и бескорыстны. Э, да что там толковать! Лучше закурим по одной да загадаем: удастся ли дожить до главной победы?..

Ночные, бессонные часы знакомы всем. Зимняя оттепель 41-го года. Южный фронт. Я лежал на топчане редакционного общежития в старой гостинице Каменск-Шахтинского и завидовал друзьям, которые находились в частях. Я раздумывал, о чем бы написать в очередной номер. За окнами жила фронтовая ночь. Скрипела форточка. В комнату влетали, кружась, снежинки. Слышно было натужное гуденье грузовиков по грязи. Канонада доносилась, иногда с грохотом обвала; шумы, впрочем, привычные, — немцы бомбили узел Лихая. Я следил за снежинками. Представлял себе все пространство фронта с силуэтами шахт, с падающим во мглу снегом. Думал о себе, о Москве, о товарищах. Как кончится война? Обязательно победой! И хорошо бы — со мной. Как мы будем вспоминать эти дни? Я представлял себе, как сейчас бойцы ведут огонь, идут по грязной дороге, ползут к рубежу атаки. Или лежат в ожидании команды. Худо лежать в темноте. Нельзя чиркнуть спичкой или кремешком огнива и затянуться самокруткой, одной на двоих...

Мои пальцы начал жечь окурок. Володя успел выхватить его у меня и несколько раз затянуться.

Внезапно все мои мысли, от снега за окном до этого самого окурка, вылились в первую строку припева: «Давай закурим по одной». И дальше, без помарок, в стихотворение.

Стихи еще до набора пошли по рукам, переписывались — их пели на разные лады. Как попало стихотворение к композитору Табачникову, я не знал. Но он быстро сочинил музыку.

Кто-то из редакции во время командировки в Москву передал стихотворение в «Комсомольскую правду». Оно было напечатано — конечно, без нот.

Значительно позже я узнал, что многие композиторы

писали музыку к «Давай закурим», но наибольшую популярность получила музыка Табачникова.

У Табачникова взяла ноты Клавдия Шульженко. Пела в разных частях Ленинградского фронта; говорят, с большим успехом.

В канун нового, 1942 года нас с Поляковым увез на артиллерийском тягаче в свой полк энергичный майор Дедов. Вместе с нами ехали по Миусской степи Володины куклы и подаренная командованием гармонь-двухрядка, на которой я пытался пикивать.

Про куклы надо рассказать особо.

Поляков мечтал о своем театре чуть не с детства. Как ни странно, именно на фронте мой друг дорвался-таки до эстрады, сцены и, конечно, до режиссуры. Втайне ото всех он познакомился с художницей сталинского ТЮЗа и заказал ей несколько кукол. Мне Володя показал одну: Гитлера, очень похожего на тогдашние газетные карикатуры, — с черной челкой на лбу и смешными усиками. В пучке черного меха была белая прядь.

— Поседел фюрер после бомбежки, — сказал Поляков, вертя куклу так и сяк. — Как считаешь, можно показывать бойцам?

И добавил, что у него их несколько штук, разных кукол. И есть специальный ящик для хранения и перевозки.

— Вот надо еще занавес обязательно, — задумчиво сказал Поляков.

Мне понравились и Гитлер, и хохма насчет седины.

К сожалению, занавес художница не успела изготовить: она погибла в вагоне, когда ТЮЗ поспешно эвакуировали одним из последних поездов. Налетел «мессер», когда состав еще был у вокзала. Художница была убита первой же очередью. Но ее куклы продолжали жить и играть под режиссурой фронтового юмориста.

С кукольного театра и начался замечательный поляковский опыт. И если кто-то смеялся над Володиным увлечением, то наш зритель веселился, глядя на кукол-актеров и слушая смешной текст кукловода. А вскоре Володя получил указание политуправления набрать артистическую бригаду в Москве. Так создавался фронтовой театр «Веселый десант». Его начальником был Владимир Поляков. Репертуар состоял из эстрадных миниатюр в прозе и стихах, которые сочиняли сотрудники юмористического отдела фрон-

товой газеты. А композитором «Веселого десанта» стал Модест Табачников, мой друг и соавтор по «Давай закурим»...

Вернусь к полку Дедова: Именно у артиллеристов мы встретили Новый год. Плащ-палатка с наклеенными бумажными буквами «К-А-Л-Е-Н-Ы-М Ш-Т-Ы-К-О-М» служила занавесом. Его держали на вытянутых руках двое здоровенных батарейцев. Самое удивительное, что эти ребята держали тяжелый занавес все время, пока мы давали представление, успевая хорошо смеяться. Хохот стоял гомерический: зрители хлопали куклам — Гитлеру, Риббентропу, Геббельсу, венгерскому офицеру и петрушке в буденовке, но особенно Володиным довольно крепким шуткам на артиллерийскую тему. И моему сопровождению на гармошке — совершенно противоестественным звукам.

Без четверти в полночь артиллеристам раздали бумажные фунтики с водкой. Мы исполнили нашу вариацию на стихи «Давай закурим», и ровно в двенадцать бабахнули дальнобойные орудия полка. Сейчас же вспыхнуло зарево, — горел Густерфельд за двенадцать километров от наших позиций. Когда замолкло эхо двенадцатого залпа, полк начал менять позицию, чтобы сохранилась секретность калибра. А нас с Поляковым отвезли в штаб армии генерала Лопатина.

В резиденции этого штаба я заночевал у Неделина, тогда еще юного майора, который впоследствии стал знаменитым маршалом ракетных войск. Мы всю ночь не спали, спорили о литературе, читали стихи.

А утром 1 января мы дали представление штабу во главе с Лопатиным. Завтракали с генералом. Он угощал нас клюквенным экстрактом и милыми стариковскими остротами. Мы с Володей купили его симпатию песенкой «Если б, значит, не соседи, мы давно бы — о-го-го!». Ясное дело — всем известно, что в неудачах «виноваты соседи».

Через несколько дней нас послали в Лысогорку. В Лысогорке осталось всего семь целых домов. Мы вошли в один из уцелевших домиков. На улице трещал мороз. Мы страшно замерзли, несмотря на овчинные полушубки и валенки. Войдя в сени, услышали детские голоса. Стало как-то хорошо! Поляков шепнул:

— Давай устроим ребятам елку.

Поздоровались с хозяйкой, худенькой женщиной, крест-

накрест повязавшейся старым полушалком, и попросили позволения погреться.

— Та раздевайтесь, бо грубка натоплена. Мабудь, кияточком погриетесь? Молочка нема: Пеструху герман пристрелил...

Мы очень удивились поступку гитлеровца — сам себя лишил питания. Хозяйка пожалала плечами:

— Я знаю? Вин думав, що корова большая, а молока дает мало. Так ведь зима, а скотина телочку чекае. Да як проду объяснишь? Рассердився... та с автомата...

Двое замурзанных малышей молча глядели на дядей, топоча маленькими босыми ножками по глиняному полу. Жалко было до боли. Володя решительно заявил:

— Хозяюшка, ничего нам не надо. Сейчас мы с товарищем пройдемся по селу и вернемся пить чай.

Шли по берегу Миуса, сверкающего алмазными искрами на морозе. Порыв ветра сломал ветку камыша и подкатил к нашим ногам. Я поднял веточку и сказал, что, пожалуй, ни сосны, ни ели здесь не найдешь. Не растут. Разве что из этого сделаем символическую елку? Так и решили. Взяли ветку, поспешили в дом и сели к столу, где уже стояли две дымящиеся кружки.

Присоединили к кипятку сухой паек, нарезали буханку хлеба, открыли две жестянки консервов и пригласили хозяйку с детьми. Они не отказались, особенно малыши. На самом дне Володиной сумки отыскались рыбки, петушки, кролики, которых Володя когда-то купил. Они изрядно потерлись и помялись: еще бы, их он таскал целых полгода, еще с Кривого Рога. Но на детвору вид этих цацек действовал гипнотически. Ручки сами тянулись к жалким игрушкам. Ну, как им откажешь? Но Володя пересилил себя — я это видел — и обратился к ребятам с небольшой речью:

— Вот что, дети. Вы уже большие и умные. Ведете себя хорошо. Вы — молодцы. За это мы вас любим и хотим сделать сюрприз. Илья, как по-украински сюрприз?

Я сказал, что, кажется, подарок. И хозяйка кивнула:

— Це подарунок.

Мы дали детям поиграть компасом, а сами набрали из сений песку в жестянку из-под консервов, воткнули нашу ветку и попросили у хозяйки ниток.

Украшать ветку-елку было очень приятно. Жаль, не догадались в Кривом Роге прихватить и свечи. Но бенгаль-

ский огонь сохранился. А для взрослых под веточку-елочку я поставил пол-литра горькой.

Стемнело. На столе робко подмигивала коптилка из снарядной гильзы и освещала рыбок, петушков и кроликов. Детям ничуть не хотелось спать. Они вскарабкались к нам на колени и, как заколдованные, усталились на волшебное деревце.

Разлили водку на троих, а хозяйка вдруг заплакала. Не утешая, я подал матери кружку и сказал:

— Значит, за победу!

— Ура-а-а! — закричал Поляков и мы все.

Сожгли бенгальские огни, и в хате стало дымно. В загадочном блистанье нашей пиротехники было не меньше торжества, чем в грядущих салютах...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ



Итак, начался новый год. Дороги установились. «Во славу Родины» стала готовиться к передислокации. На этот раз опять двинулись в Ворошиловград. Приехали и стали размещаться по квартирам. Нам с Поляковым и Петровичем (так звали мы сотрудника А. П. Мацкина) повезло: уютный дом. Хозяйки, две женщины, поселившиеся вместе после эвакуации настоящих владельцев.

Это была однокомнатная квартира, теплая и чистая. В кухне жила Феня, исключительно крепкая, рябая, румяная, веселая и добрая.

Феня заботилась не только о жильцах, но и обо всех воинах. В первую очередь о шоферах, потерпевших путевые аварии и застрявших на ворошиловградских улицах для ремонта. Она их отыскивала, уговаривала переночевать, кормила, купала, обстирывала. Наутро Петрович обязательно говорил:

— Феня! Вы опять мешали нам со Львовичем. У меня впечатление, что ваш приятель долго не задержится...

Феня ударяла себя по грандиозным ляжкам и ачала:

— Ой, Петрович! Та вы ж усе на свете знаете. Усе за-приметили. Та, верно. Вин, шохвер, завтра уедет. Так мы добре з им поговорили, та поплакали за деток, за жинку. Хвото бачила: такой гарнесенький хлопчик, така дочка, та жинка теж. Тилькы хворенькая... От так, Петрович!

А если ночь пустая — нет постояльца! — Феня ходила весь день сердитая, била тарелки и старалась не встречаться с Петровичем взглядом. Потом она уходила и хлопала дверью так, что трескалась штукатурка над притолокой. Петрович усмехался и говорил:

— На поиски героя...

Феня возвращалась оживленная, запыхавшаяся, с большой корзинкой снеди. Начиналось приготовление пицци. Скворчали на сковородке шкварки. Очень вкусно пахло. Наши ноздри сами раздувались. На нашем письменном столе возникали стаканы с приятнейшей украинской ряженкой, и Петрович говорил:

— Ну, что это такое, Феня?

— А шо? — притворно удивлялась Феня и говорила певучим голосом: — Спробуйте, Петрович, нашего хохландского кушанья.

К вечеру из кухни доносился тенорок или в крайнем случае баритон, — басистые мужчины Фене не очень нравились.

— Слабеньких я жалею, — признавалась Феня.

Ее напарница Валентина — женщина совершенно другого плана. Хороший рост, правильное матовое лицо, мягкий говор и мягкие движения. Сначала мы почти не замечали присутствия Вали, хотя она была не менее хозяйственна, чем Феня, и реже уходила из дому.

По вечерам в одной комнате сосуществовали три человека. Валя сидела в уголке и молча прислушивалась к нашим беседам, совсем нам не мешая. Она придавала всей комнате какой-то семейный, ласковый, удивительно мирный, даже довоенный уют. Изредка Валя незаметно куда-то исчезала, но до наступления ночи она тихо, как мышка, ложилась на свою чистенькую кровать и долго лежала, пока мы беседовали. Когда на город налетали немцы, начинался грохот, дом вздрагивал и дребезжал. Никто из нас не кидался на пол, в дверь, а затем во двор и в погреб. Все оставались на местах. Мы слепо верили в собственную не-

уязвимость. Петрович так объяснял отсутствие у нас паники:

— Спасительное свойство психики — привыкать к мысли о важности именно ЭТОЙ секунды. А минувшее и будущее, они, УЖЕ или ЕЩЕ не существуют...

Когда я в конце концов заметил Валентину, то почувствовал столь сильное влечение, что попытки побороть его ни к чему не привели. Влюбившись в Валу, я уходил из дому или уезжал на передовые с тревогой за нее — уезжаю, а она остается! Что будет, если вернусь и застану только обугленные развалины? О Петровиче, признаться, я не тревожился, — мужикам положено подвергаться риску.

Поведение Вали тоже изменилось. Очевидно, она поняла, почему я начал стесняться ее. Ложусь спать — гашу свет. Раньше просто накроюсь шинелью и повернусь лицом к стене. Всевидящий Петрович, яростно усмехаясь, отчеканил:

— Илья, вы пристаёте к Вале!

Наша близость возникла внезапно, как бомбежка. Я мог думать только о том, что имело отношение к этой женщине. Прежде всего — война! Война имела прямое отношение ко всем. Все нуждались в ласке. Все находились на грани жизни и смерти. Валя была красивая и ласковая. Мне кажется, что во мне она видела и жалела всех мужчин.

Наша взаимная страсть стала известна моим товарищам. Присутствие женщины скрашивало наше суровое общество. К ней относились бережно, с интересом. А она ценила отношение моих друзей. «Коля, — говорила она Крэну, — давайте голову вам вымою». И мне было приятно, когда большой мужчина в большом звании запросто стягивал гимнастерку и нагибался над тазом, а Валя своими тонкими и ловкими руками терла и мылила многодумную и гудящую от усталости башку моего товарища. Потом он прихлебывал чай из кружки, сидя у стола в чистенькой, выстиранной Валиными руками сорочке, и растроганно спрашивал:

— За что это тебя, старик, любят хорошие женщины?

Пусть не кажется идиллической ворошиловградская история.

На самом-то деле мы редко-редко бывали в этой квартире. Поселили нас там потому, что для большого коллектива не нашлось соответствующего помещения. Почти все время мы проводили в войсках, на передовой. Об этом знали хозяйки. Как радостно они встречали каждого возвращавшегося из опасной командировки, и если говорить по правде, то почти случайно уцелевшего в перипетиях войны.

Самое удивительное, что многие ветераны согласились бы возвратиться обратно в ту смертельную схватку, если бы им гарантировали воскресение из мертвых всех дорогих сердцу людей...

У меня событие!..

В двадцатых числах июня на Ворошиловградчине нестерпимая жара. Плавится и лопается краска на крышах домов. Гул орудий все явственней с западной стороны. Совсем непохоже на звуки летней грозы, а нечто бутафорское, громоздкое, театральное. Самый зной кажется неестественным.

Меня вызвал полковой комиссар Чекулаев — наш новый редактор, в свой «кабинет», крохотную темненькую однооконную комнатенку. В кабинете прохладно. Тут еле помещается хромоногий столик для пишущей машинки, за ним сидит малогабаритный редактор, перед столом табуретка, — больше места нет.

Чекулаев, поднявшись со стула, долго вглядывается в мое лицо покрасневшими глазами. Стоим и молчим. Наконец медленное:

— Так... — Нагибается, выдергивает откуда-то снизу поллитровку с чем-то коричневым и два невымытых стакана, наполняет их и кивает мне. Чокаемся.

«Странно, у него же одна почка», — вспоминаю я.

Пьем что-то очень жгучее и тягучее:

— Садитесь.

Неуклюже стучаясь коленками, садимся. Шеф с небольшим заиканием произносит совсем краткий тост. Поздравляет с орденом Красной Звезды. Мы пьем по второму разу. Шеф, крихтя, тянет из-под столика гармошку-двухрядку. Не сводя с меня красных глаз, неверными пальцами наигрывает что-то очень знакомое с детства. Неожиданно громким тенором он... запел:

— «Из...мученный, ис...терзанный, наш брат... мастеровой с утра до поздней ночьюки...» — закашлялся и отхлебнул из стакана...

Чекулаев сегодня совсем не такой, как обычно. Всегда он абсолютно подтянут и требует того же от подчиненных. Меня просто потрясает его, сегодняшнее поведение.

Как-то он рассказал, что до революции служил в трактире мальчиком... «Эй, шестерка! Подай пару пивка!» — так кричали, бывало, клиенты в Ярославле...

Сейчас передо мной сидел дореволюционный Чекулаев. Мне хотелось заплакать. Его глаза, глаза почечного больного, еще больше запали. Можно ли поверить, что этот человек в самом начале своей работы у нас, зимой, со своей одной почкой пробежал на лыжах много километров до штаба, чтобы уговорить членов Военного совета изменить свое решение по поводу какой-то мелкой несправедливости по отношению к сотруднику газеты. Окая от волнения, он отчаянно спорил с крупными военными, бурчавшими что-то вроде: «Подумаешь, писатель...»

В дверь постучали. Чекулаев с неудовольствием скинул с плеча ремень двухрядки.

Вошел сержант, отрапортовал, что машина подана. Шеф вяло вложил свою руку в мою и наставительно сказал:

— Не забудьте поблагодарить партию и правительство...

Ордена выдавали в невысоком полусарае на окраине Ворошиловграда. Пожилой адъютант внес кучу беленьких коробочек, похожих на тару для лекарств, и стал раскладывать на зеленом бильярдном сукне. Я догадался, что это и есть награды.

Вошел энергичной кавалерийской походкой, звеня шпорами и помахивая плеточкой, плечистый и румяный комбриг. Он подходил к присутствующим, которых было человек десять разных родов войск, двое — с перевязанными головами, и, звякнув шпорами, представлялся: «Ларин... Ларин». Так он сказал и мне. Я по инерции назвал себя. Он улыбнулся. Видимо, он мало что знал о каждом из нас. Обстановка на фронте осложнилась — не до разговоров.

Адъютант разбирал коробочки и сверял со своими бу-

мажками. Ларин тем временем ходил вокруг скамеек и по-сматривал на нас. Вдруг он остановился возле меня и спросил, не корреспондент ли я. Я кивнул. Тогда Ларин сказал нам всем, что за образцовое выполнение приказов от имени Верховного Совета командование фронта награждает орденом или медалью такого-то, такого-то и такого-то. Каждую фамилию Ларин как бы подчеркивал похлопываньем плети по сапогу.

Очень хотелось курить.

Вдруг адъютант поморщился, листая свою книжку и сказал:

— Чапиков Пэ И. Здесь?

Все стали переглядываться, но никто не отозвался. Тогда адъютант заметил что то нелестное насчет писарей и, еще раз произнеся фамилию, отложил коробочку в сторону. Один из летчиков толкнул в бок другого:

— Паша! Наверно, он тебя?

Тот густо покраснел и сказал, что его фамилия Чупиков.

— Пэ И? — спросил адъютант, и летчик сказал, что да — Павел Иванович.

Ларин вынул чернильный карандаш, послюнил его и заявил адъютанту:

— Дай-ка свой талмуд!

И тут же без бюрократизма переправил, говоря:

— Павел Иванович, за воздушный бой такого-то числа вы награждаетесь орденом боевого Красного Знамени. Поздравляю вас...

— Чепчиков Пэ,— опять сморщившись, выговорил адъютант.

Снова после долгого молчания и переглядывания встал тот же багровый от смущения давешний летчик и опять поправил:

— Чупиков, говорю...

Ларин, уже раздраженный, молча подошел к столу, молча посмотрел и черкнул в адъютантской книжке. Потом рассмеялся, взял две коробочки с орденами, подошел к Павлу Ивановичу и прикрепил к его выгоревшей гимнастерочке рядом два ордена:

— Молодец, Паша! Бей их, Паша, почему зря! Поздравляю и продолжай так же.

— Теперь, товарищи, будем вручать ордена Крас-

ной Звезды. Пусть покажется всем наш корреспондент Южного фронта — вот он... — Ларин показал на меня пальцем и сказал: — Это он сочинил песню «Давай закурим».

Я побагровел посильней, чем Пэ И, так как Ларин тоже переврал мою фамилию, правда, не слишком.

— Маловато, — пробасил артиллерист в белой головной повязке, — за такую песню... Под нее наша батарея три танка сожгла. Вот за это, конечно, «звездочку» в самый раз. Да как ведь стрелять — это што? Ты попробуй хоть одно слово сочинить... — И он покрутил своей марлевой головой.

Чупиков и остальные хлопцы обступили меня и начали поздравлять. Наконец Ларин объявил, глядя на часы:

— Теперь, орлы, сидайте по машинам и айдайте в военторг. Надо отметить же.

Конечно, я, прибывший на полуторке как граф, пригласил награжденных, и мы приехали прямо в редакционную столовку, где наш хозяйственник Рубин накачал всю компанию тем самым коричневым пойлом, каким угощал меня Чекулаев...

В начале июля меня и А. Шарова на месяц отпустили в Москву.

Накануне отлета я всю ночь прощался с Валея, пока не постучался Шера (так мы звали А. Шарова) и не отозвал меня от нее. Я шел, ошеломленно оглядываясь всю дорогу. Качаясь в грузовике по дороге на аэродром, я все думал и страдал по поводу невозвратимой потери. Все время, пока маленький «У-2» нес нас тысячу километров в Москву, я был так взволнован, что не заметил, как родились эти строчки:

Где ты? Где ты? Не знаю, не чую...
Страх подумать — жива или нет.
Если — да, прибегу, заночую,
Встретим вместе, как прежде, рассвет...

Чуть не полвека чудаку:
Остыть пора. Так вот тебе, —
Не остываю! Не могу!
Весна ли это? Оттепель?..

Определенно — весна! Молдавская, зеленая прекрасная весна!

До берега Днестра не более сотни шагов от маленькой комнатушки, где я сижу на ящике из-под огурцов и сочиняю стихи.

Я сочиняю стихи и удивляюсь сам себе. Тому, что они сами пишутся! Что это не каторжный труд, а непрерывное сладостное излияние. Игра накопившейся силы. Толчок за толчком выплескивается радость. Строка за строкой ложатся на узкие листки скверной бумаги.

Моя комнатушка вовсе не комнатушка, а маленький амбар Стародубоссарского колхоза. Это временное пристанище. Осенью меня, конечно, попросят отсюда, чтобы засыпать в мой сегодняшний «кабинет» новое зерно. Тут темновато. Кроме огуречного ящика есть еще и другой, очень большой. Он изображает тахту. Его наполняют душистым сеном. Тахту сколотил Николай Кетрушка, бывший пограничник и умелец на все руки. Здесь не только темновато, но и низковато — я касаюсь макушкой потолка. Когда я сказал, что и дверь очень низка, — Коля мгновенно увеличил проем своим волшебным топором, прикинув глазом мою длинную фигуру и четко сказав: «Гата». По-молдавски: «Готово».

А еще я удивляюсь и своему счастью: живой, здоровый, хожу по утрам купаться в мутном Днестре. В трёхстах метрах, на той стороне, григориопольский лес, недалеко Малаешты и новодубоссарские фруктовые сады. Это там во время войны ехал я в редакционной полуторке, а с другого берега по нас били из орудия, и мы считали вслух — раз-два-три-четыре!.. Меня давно могло не быть. А я? Вот он я!

С восхода и до заката колхозники были на полях, а потом до полной звездной темноты копошились на приусадебных участках. Моя книжка о Молдавии была почти готова, даже название определилось: «Лист зеленый». Много стихотворений было о войне. Почти все мужчины села отвоевались, кто в танковых ротах, кто в пехоте, кто в мннно-саперных подразделениях; короче говоря, кто где!

Инвалиды служили сторожами в Стародубоссарском колхозе. Председатель и бригадиры — бывший комсостав.

Я плохо говорил по-молдавски, но мы понимали друг друга. Они вошли в мои стихи героями, такими, какими были на самом деле.



Лето пятьдесят первого года словно переходило в лето сорок первого.

Засветло вошел я в свой амбар. В моих мыслях
...сливался мир с войной,
И па все ложился свет
Этой музыки двойной.

Не спалось. Я не чувствовал времени возраста. Кровь легко переливалась в жилах, и все росло во мне ощущение простора и радости.

В маленькое окошко вливался плотный лунный свет, бросался на глиняный пол, и это переходило в сновидение, которое завтра совершенно забудется. Последнее, что я видел,— сверчок, маленький и неуклюжий, сидел на бумажном листке, закрученном в мою верную пишущую машинку, и стрекотал... как машинка...

Молдавский цикл «Лист зеленый» похоже что состоялся, но об этом судить должен читатель, а не я. Кажалось, надо было радоваться, а мне что-то последнее время и грустилось.

Я зову вас, друзья, пройти сквозь гром и осколочный ливень к той нашей жизни, чтобы убедиться лично,— прав или нет автор и участник войны, утверждая и показывая истинную правду. Действительно, порой я грешу против правды. Не хочется утруждать вас кровавыми подробностями. Не хочется подавлять гнетущей трагедийностью немногие светлые проблески: ведь это просвечивает все та же самая жизнь, которую не так легко окончательно добить на известной нам планете Земля.

Кто думает по-другому — пусть себе думает.

В один распрекрасный день, вернее в ночь, «кукурузник» — выносливая чудесная машина, милый драндулет, приспособленный перелезть через линию фронта,— до-

нес нас до ходынского поля. Мы сели на залитую дождем взлетную полосу и, покачиваясь от усталости, оказались в золотой нашей столице.

Я — в тылу. Я дома.

Дома? Какой же это дом, если все родные эвакуированы?

Брожу по городу. Москва второго года войны. Мне кажется, что ничего не изменилось. Сигналы воздушной тревоги однажды меня загнали на станцию метро, но через несколько минут меня выпустили как военного. Бомбежки не пугают: привык.

Конечно, навещаю редакции. Много знакомых лиц. Живут, как правило, в учреждении на казарменном положении.

...Вероятно, я надолго застряну в тылу. Просят писать, в том числе и для военных журналов. Я задумал еще в Донбассе не то поэму, не то очерк в стихах о добровольческом комсомольском полке. Начал писать. Рассказывать об этих мальчиках прозой невозможно. Из этой геройской части я возвратился потрясенный. Мне казалось, что я побывал у комсомольцев моей юности. Я был с ними в зоне минометного обстрела, в семидесяти метрах от противника.

Я рассказал о комсомольском саперном А. Фадсеву, и он предложил прочесть на заседании президиума. Так и сделали. Несколько стихотворений произвели впечатление. И вот пишу, сидя в запущенной, покинутой квартире. Пишу по ночам, а днем бегаю по городу. И все больше и больше назревает тоска по фронтовым друзьям, больше и больше волнуют сводки Информбюро — почти вся Украина под немцем...

«Комсомольский саперный» написан. Вечером того же дня поехал к Лебедеву-Кумачу. Он слушал и даже прослезился. Уговорил на ночь глядя ехать с ним в «Комсомолку» — прочесть на редколлегии. Мы поехали. Я читал и всех растрогал. Только Кумач вдруг ни с того ни сего стал сомневаться: «Не слишком ли часто плачут герои стихов?» Редактор Бурков сказал, что незачем поэтам редактировать самих себя, для этого есть другие люди. «Мы напечатаем весь ваш цикл...» И напечатали. Це-

лую страницу и «подвал» заняли мои стихи о саперах. Вскоре они вышли в отдельной книжке, но я уже к этому времени опять был на фронте.

Вступить в ряды этого полка — огромная честь. Тысячи комсомольцев толкались в райкомах Украины. «Окажите честь, возьмите в полк кем угодно, лишь бы в нашу часть».

— Товарищ Зайченко, откуда родом?

— Из Запорожья.

— Хороший город. На какой улице живете?

— Я-то? На Вознесенке, — сказал боец и заплакал...

Они еще так молоды, что всякое огорчение вызывает у них слезы, короткие, мальчишеские.

Наш генерал говорил: «Дайте мне роту комсомольцев, найду штурмовать любой населенный пункт».

Полк обучался и квартировал в прифронтовом селе, хозяйки часто бегали жаловаться в штаб:

— Опять один ваш моего дразнил...

— А сколько лет вашему?

— Десять. Он еще дитя совсем.

— Как же его дразнил?

— Всяко говорил. «Тыловая крыса», — кричит. И всякое другое.

Он еще и щек своих не брил,
Между прочим — пятерых убил.
Он еще девчонок не любил,
Пятерых фашистов уложил...

Здесь все пишут стихи: командир полка, комиссар, доктор и все бойцы. Здесь так любят стихи, что могут их слушать сколько угодно и где угодно...

Сержанту Красной Армии Кондрату Королю
Послышалось, что девушка ответила: люблю.
А он ее не спрашивал, мол, любит или нет.
А просто — где находится районный комитет?

Два бойца лежат в траве, они расстегнули воротники. Один натирает ладонь пахучим стебельком чебреца. А другой, ловко размахнувшись, поймал какую-то мушку и слушает, как она звенит.

Они смерти не боятся. Вернее, они уже знают: дело война — быть под огнем, стрелять. Есть в полку потери...

Не очень давно прилетел немецкий разведчик, дал очередь из пулемета. Погиб полковой сапожник, который завидовал строевым товарищам, радостно встречал их, когда возвращались с работы...

— Что ж, авиация, — сказал командир. — Наверно, многие хотят на самолет. И мне предлагали идти в летчики. Да разве я могу бросить саперное дело? Я двадцать лет в инженерных войсках и не променяю звание сапера ни на какое другое.

У некоторых ребят вытянулись лица.

— А танкисты? — спросили сразу двое.

— И танкисты, — убежденно ответил полковник. — И танкисты без нас, саперов, не могут: мы им рубежи готовим, делаем проходы, разминировем путь. Нет, не променял бы и на танкиста. Пускай каждый боец считает свой род войск самым лучшим, и у нас будет самая могучая армия на свете...

В первую гвардейскую артиллерийскую дивизию я отправился после освобождения Тернополя, который был очищен в результате затяжного и тяжелого штурма. Противник отчаянно оборонялся.

Можно было бы привести кучу свидетельств того, сколь успешно была проведена вся операция освобождения Тернополя в условиях страшной распутицы. Сошлюсь на повесть о бойце Василии Курке моего фронтового товарища А. Шарова. У меня в одном стихотворении есть строчки: «Иль весенней ночью, темной и сырою, вспомнишь вдруг Тернополь: грязь, а я ползу...»

Однако штурм был уже в прошлом. Когда я появился у гвардейцев, они передислоцировались и их самих нещадно бомбили «юнкеры» и вражеские батареи: шла страшнейшая дуэль. К одному нашему офицеру, особенно досаждавшему гитлеровцам огнем своих батарей, можно

было добраться с большим риском. Молодой артиллерист выбрал отличный наблюдательный пункт в полуразрушенном павильоне на опушке Парка культуры и отдыха и оттуда давал команды батареям, точные до крайности. Немцы не могли его выкурить из останков летнего сооружения, без стекол, воняющих дымом и чудом не сгоревших.

Все время обрывалась связь, и все время ее чинили беззаветные связисты. Когда я служил в ЧОНе, наш инструктор говорил о связистах: «Им лишь бы в коечках валяться». До чего он ошибался! Жизни не жалели ребята, работали в таком аду на пути к злосчастному павильону, где сидел у стереотрубы дьявольски живучий наблюдатель. Давно бы пора его сменить. Он не хотел уходить.

— Приноровился я, все нормально, — хрипло отвечал он, не отрывая глаз от стереотрубы, а уха — от телефонной трубки, зачем еще вторым человеком рисковать!

На всю обстреливаемую площадь кротко взирало весеннее солнышко. На травке присаживались и взлетали светленькие мотыльки. Первенцы весны вели себя так, словно никакой войны не было, — перепархивали с места на место, и это казалось нелепым и величественным одновременно. В воздухе бешено свистел металл, брызгали земляные фонтаны, рвались снаряды, а эти лепестки жизни исполняли свой вечный ритуал.

Я шел след в след за младшим лейтенантом, которому приказали привести корреспондента на НП — всего километра два от штаба дивизии.

Вряд ли мой проводник замечал мотыльков. Он выполнял приказание. На его ответственности был человек из газеты. Таких людей, как известно, кое-как терпят старшие военачальники, но очень не любят младшие командиры. Он очень сердился, когда я то отставал, то вдруг подбегал к нему.

— Товарищ майор, не перебегайте, пока вам не подан знак, — кричал он мне сквозь грохот и свист обстрела.

Но координации движения не получилось. Я покорно останавливался, как раз когда надо было ложиться на землю, что он лихо проделывал. Между нами взлетал очередной фонтан и летела во все стороны земля. Он прямо-таки заражал меня своей тревогой, а до павильона было

еще далеко. Чем ближе мы продвигались к НП, тем чаще были разрывы, худо!

— Вот оп! — проорал младший лейтенант и указал пальцем на остатки дымящегося домика, метрах в двухстах от нас.

— Ползти не советую. Когда толкну вас, бегите.

И тут же я почувствовал толчок в плечо. Произведя целую серию гигантских прыжков, я очутился у оторванной двери и рванул по закопченной лесенке на чердак. Под ногами скрипело стекло. Ступеньки резко кончились, надо мной появился неправильный кусок неба, вмонтированный в проломленную крышу. Я перемахнул через железяку и понял, я на месте, ноги мои, после того как я изображал кенгуру, горели и подламывались. Я не сразу увидел, что у разбитого окошка сидит человек, именно тот, к кому я стремился попасть.

Худощавый парень весьма непринужденно устроился на мебели, известной всем как диван-кровать. Каким образом это сооружение оказалось тут, неизвестно. Рядом спокойно стоял железный оркестровый пульт. Только когда я вернулся в редакцию, я понял, как смешна была такая «меблировка» чердака.

Человек был в майке, на щеках темнела щетина. Пока я его разглядывал, он мельком взглянул на меня и снова припал к окуляру стереотрубы, подул в телефонную трубку и произнес фразу, напоминающую математическое уравнение. В руке он держал алюминиевую ложку. Потом откинулся на спинку кровати, зевнул и спросил:

— Второе принес?

Я не успел ответить. Я сразу понял, что он так давно оторван от внешнего мира, так дико устал и хочет есть, что ни грохот рвущихся снарядов, ни дым, ни вся странность окружающего не могут умерить его голод. Зуммер телефона пискнул, наблюдатель опять сообщил математическое уравнение, вторично зевнул и уже совершенно сознательно посмотрел на меня. Показав ложкой на миску с супом у своих ног, он гостеприимно предложил разделить с ним трапезу. И хотя я чувствовал, что не вправе отвергнуть угощение, но есть не мог. Он держался как хозяин с гостем, пришедшим слегка не вовремя, и мне стало совестно.

Так и не взяв интервью, я перешагнул через железный пульт и спустился по лесенке почему-то на цыпо-

чках — абсолютно идиотское поведение в той обстановке.

Стреляли так, что мне не удалось задержаться в промежутке дверей. Я опять дикими прыжками преодолел зону обстрела. Для меня фиолетовые разрывы, клубы пламени, свист пуль были — тьфу. Ничто! Никогда в жизни, ни до ни после, я так не мчался.

Когда я «перепрыгнул» зону обстрела, оказалось, что мой проводник ушел, и я одиноко продолжал свой путь. Скажу честно: всю дорогу до штаба дивизии я переворачивал дух.

Помощник начальника штаба сказал мне, когда я пришел, что такой-то за образцовое выполнение заданий командования — он и сейчас продолжает выполнять их, подавляя неприятельскую артиллерию огнем своих орудий, — представлен к ордену Ленина. Стало ясно, что речь идет именно о том, кого я только что посетил.

То, чему я был свидетель, достойно не репортерской заметки, которой я не написал, но по меньшей мере баллады, которой я — увы — тоже не написал. Вероятно, я обалдел от мотыльков, порхавших между разрывами вражеских снарядов. В ноздрях еще стоял запах земли, дыма и газа, вспыхивавшие фиолетовые клубки. Мое собственное поведение почему-то ассоциировалось у меня с шаровой молнией, чего я не видел сроду, а увидел впервые через десять лет после войны в мирной послевоенной жизни.

Был я на отдыхе в Переделкине, под Москвой.

Кончался крепкий летний день. На проселочной дороге под стремнинами глинистой воды еле намечались колеи. Собственно, гроза уже прекратилась. Началось великоколепное просветление, и лужи стали голубеть. Я пережидал грозу под придорожным деревом, когда вдруг на дорогу неизвестно откуда выскочил мужчина в брезентовом дождевике с капюшоном. Человек нес под мышкой портфель с оторванной ручкой. Он непрерывно скользил и оступался. Мне показалось, что это было вызвано не только дождем, но и подпитием. Вода брызгала из-под ног этого дяди, но он наконец утвердился среди грязи и, положив портфель на голову, намеревался двинуться дальше. Вдруг ему навстречу, также вдоль дороги, двинулся небольшой шар, чуть менее футбольного мяча. Светя голубым светом, он не только катился, но и слегка

подпрыгивал. Дядя икнул, опять покачнулся и снял с головы свой портфель. Он держал «зонтик» двумя руками и опустил его перед собой в каких-нибудь полтора метрах от мерцающего уже сиреневым светом шара... И — о, чудо! — шар перепрыгнул через человека и, зашипев, пропал... Дядька опять возложил портфель на голову, икнул, погрозил пальцем и добавил:

— То-то, так твою...

И в моей памяти внезапно во всех подробностях возникло мое посещение гвардейской части и одинокий наблюдатель на разбитом чердаке павильона. Только сейчас я понял, что поведение мое тогда под разрывами снарядов несколько не было похоже на шаровую молнию. Ну, просто ничего общего!

...Явился в ПУР за назначением. Начальник отдела печати Дедюхин точно такой, как о нем рассказывали. Широкое бледное лицо брюзгливо и брезгливо хмурилось. Он страсть не любил нашего брата литератора «за ехидство» и за «гонор».

— Так, так, — кивнул Дедюхин в такт моим мыслям, не глядя на меня. — Может, поедете на запад? У них освободилось место.

— Хочу в свою редакцию, — лаконично заявил я, не в силах назвать какой-нибудь пункт географически противоположный, а ведь меня предупреждали...

Дедюхин разинул рот от такой дерзости и занудил:

— Вам, батальонный комиссар, должно быть известно, что военнослужащий даже в случае пребывания на излечении по выздоровлении направляется в ту часть, коя (так и сказал — КОЯ!) нуждается в пополнении, а не по своей прихоти... И не диктуйте командованию...

Я тут же завелся. Не помню, что я наговорил «командованию», только отправили меня не на юг и не на запад, а на Воронежский фронт. Оказывается, оттуда требовали подмоги через Союз писателей и через ПУР поэты Безыменский и Головановский вместе с прозаиком Аргутинской. Таким образом, в конце лета я оказался в военном поезде, стоявшем в районе знаменитых Грязей — узловой станций, в зоне систематических бомбежек с воздуха по мостам и средоточиям важных шоссеиных дорог.

...Газета именовалась «За честь Родины», и редактором был назначен молодой журналист Молчанов. Петя — так его звали. Однако всеми редакционными делами ворочал не Петя, а вольнонаемная дама в блузке с матросским воротником. Дама курировала и нас, писателей. Да еще как лихо. Меня «посадили» на... юмор!

Коллектив, включая полиграфистов, встретил меня хорошо. Обращали особое внимание на Красную Звезду — как-никак орденосеи первого года войны. По-видимому, таких было немного. Даже у Пети блестела только медаль «За боевые заслуги». Я не чванился, угощал всех привезенными поллитрами «Зубровки». Весь мой запас выпили в течение первого же вечера. Пила, как мужик, и вольнонаемная дамочка, это не помешало ей резать и кромсать мои юморески.

Секретарем «З.Ч.Р.» работал Гунин, низенький, рябой и страшноватый малый с короткими, на редкость толстыми ножками. Он не отпускал меня из вагона больше месяца. А я-то не привык сидеть на месте. В нашей милой «Во славу Родины» я считался самым ярим ездоком в части переднего края. А Гунин меня держал на привязи.

Каково было торчать в тесном вагоне, выскакивать как полоумному по сигналу воздушной тревоги, ложиться под вагон, а потом снова «сидеть на юморе», который мне очертенел? Я не мог уже слышать басок коротконового Гунина, которому, в сущности, кроме выпивки, ничего не требовалось — ни юмора, ни лирики...

Я начал вянуть...

Сильно томила тоска по прежним друзьям, да и украинский колорит давал мне так много свежей радости. Наступала осень — среднерусская, железнодорожная, пристанционная, с трижды проклятыми налетами немецкой авиации. Самый фронт, уткнувшийся в унылые подворонежские села с серо-древесными избами, казался не «важным» мне, человеку, еще не бывавшему в войсках этого фронта. Не побывав на передовых, трудно правильно оценивать обстановку... Клял я и себя, и Дедюхина, словно дело было в нем или во мне.

Скверно! В душе накапливалась пресловутая военная усталость. Я сам себе опротивел. Занялся настоящим душевным самоедством: «Где теперь моя добрая, красивая

Валя из Ворошиловграда?.. Бескорыстная ее нежность — досталась ли кому?» Часто вспоминал отца, не знал, что с ним? На чем свет ругал себя, зачем посоветовал эвакуироваться старику, уже приспособившемуся к военному московскому быту, — я понятия не имел о том, что творилось в столице в те роковые недели октября сорок первого года.

В конце октября меня все-таки командировали в зону деятельности 40-й армии. Там в редакции служил мой московский дружок, Яша Шведов. Совершенно окоченелого Яша вынул меня из кабины «У-2». Лететь было холодно, а я в легкой шинельке и пилотке. Яша увел меня в «генеральскую» столовку, отогрел «генеральской» водкой, а потом повел к себе в хату. Ночь. Язык не ворочается от усталости, от теплоты кухоньки, от хмеля.

Проснулся в страшном припадке удушья. Ничего не соображаю, задыхаюсь, смотрю вылупленными глазами на хозяйку, на сидящего рядом... Я был до того страшен, так хрипел и так рвал свою бязевую сорочку, что Шведов решил — задохнусь насмерть. Хозяйка руками, белыми от муки, схватила с полки гигантский граненый стакан и поставила мне его на грудь. Мои ребра хрустели, втянутые этой посудиною, но это была неотложная мера, хотя она и могла свободно угробить.

Яша мгновенно оделся, одел меня:

— Поехали!..

И «виллис» примчал нас на рассвете к кособокой большой избе. Я вошел. Из-за ширмы донесся заспанный голос:

— Слышу по дыханию, пришел астматик!..

Этого еще не хватало — астма! Два укола вытрясли из меня приступ. От майора медслужбы я узнал много полезного, в том числе все лекарства, которые отныне мне надо будет таскать с собой.

Чувствую свою вину. Наш новый редактор — не Петья! — замучился. Военная обстановка выдавливает из меня почему-то не оперативную публицистику, а стихи!

— Я выучу вас, хороший мой, писать передовые статьи, — говорил редактор. — Мне, хороший мой, не литературные слоны нужны, а послушные газетные клячи.

В таком духе между нами велись довольно частые беседы. В конце концов редактор сдался и пошел на уступки. Мне разрешено сочинять четверостишия на первой полосе, а верней — в прямоугольнике справа от заголовка газеты, так называемого «шпигеля», по-русски «зеркала». Но редактор продолжал смотреть на меня косо, и, встречаясь с ним глазами на летучках, ежедневно проводимых в редакции, я делал тупое, сонное лицо, а он делал паузу и вздыхал. Эти горестные вздохи в конце концов подействовали на мою совесть. Я стал советоваться с коллегами:

— Хлопцы, вы ж меня знаете. Мне и «шпигели» очертенели! Помру от скуки.

Думали, думали, и Безыменский предложил попробовать что-то вроде переписки в стихах с военкорами, хотя бы в уголке юмора. Не надо забывать, что военкоры — это в основном солдаты!

Сказали, что на одном участке фронта воюет снайпер Петр Гончаров. Гончаров — металлург-литейщик из Сталинграда. У него там погибли от бомбежки жена и дети. Снайпером он стал от сильнейшей ненависти к фашизму. Ему было важно не вообще бить фрицев, а уничтожить именно нацистов, гестаповцев, офицеров. К нему ездил очеркист «Красной звезды» поэт Леонид Первомайский. Он-то и сказал мне о снайпере Гончарове. И тогда я придумал вот что: напишу-ка примитивным рифмованным раешником открытое письмо снайперу, и напечатаем. В этом письме я предложил Гончарову ответить мне, Филимону Дудке, такой псевдоним был у меня в отделе юмора, но ответить тоже стихами и уверил его, что газета напечатает ответ. Секретарь редакции с сомнением крутил головой, читая мой раешник. Но редактор неожиданно одобрил затею, промолвив:

— Боюсь, хороший мой, что вам же придется и ответ сочинять.

Я согласился.

Однако не знали мы Петра Гончарова. Через неделю приходит в газету полевой почтовый треугольничек. Развернули. Читаем: «Восходила заря, рассыпалась росой над стрелковой ячейкой, над норкой моей. Протирал я глаза маскхалатом сырым — потому как на зорьке роса холодна. Протирал я стекло дальнометра свою, и дышал на стекло, и опять протирал...» — и так далее в таком духе.

Так началась наша переписка на страничке юмора. Теперь уже снайпер надписывал свои треугольнички — «Филимону Дудке в собственные руки».

Редакционные поэты считали, что автор подражает Кольцову.

В политуправлении редактора хвалили. Литературная слава Петра Гончарова породила множество подражателей. Но самобытен был один Гончаров. Только он один нашел лирическую интонацию в буднях фронтового бойца. Я же очень старался, чтобы и Филимон Дудка не впал в халтуру. Раешником пользовались очень многие армейские писатели, даже не имеющие никакой склонности к стихотворству. Этот стиль имел большой успех во время войны.

Наконец под колесами редакционных спецмашин — украинская земля. Опять она, ридна ненька, покинутая мною в сорок втором.

Двинулись мы не с юга, а по центру. То есть через Курскую дугу, и серией длинных бросков преодолели пространство до Днепра. Все это время со мной и во мне передвигалась проклятая астма.

Не прекращалась моя деятельность на ниве солдатского юмора. К сожалению, юмор был невысокого качества.

По мере наших побед на Украине менялось и руководство «За честь Родины»: полковника перевели в гражданку — в «Правду Украины». Он уехал в Сумы, временную столицу. Перед отъездом вызвал меня:

— Знаю, хороший мой, вы рветесь отсюда на другой фронт. Но не советую, вас ценит Военсовет.

Полковник был уверен, что мне нужны знаки поощрения. Однако мне хватало того, что было, лишь бы не писать передовые.

Прибыл новый редактор, полковник Семен Жуков. Под его водительством мы должны были форсировать Днепр и занять Киев.

Накануне форсирования Днепра меня вызвали получить орден Красного Знамени.

В этот раз я получил награду из рук генерала Шатилова перед строем в несколько сот человек.

...Передовые группы частично переправились на правый берег могучей реки. Закрепились, создав так называемые плацдармы. Многим из этих смельчаков выпала честь стать Героями Советского Союза. Нам, газетчикам, надлежало воспеть Героев. Эти задания были большой честью для журналиста. Такую честь оказали и мне. Новый шеф объявил мне об этом, когда я прибыл к нему по вызову.

— Вам, можно сказать, выдали авансом такой орден, и его надо оправдать.

Это звучало не как категорический приказ, а, скорее, как доброе пожелание. Но я отклонил оказываемое мне доверие — я отказался!..

Жуков был поражен:

— То есть как же это? Ясно, орденоседец струсил! Так и запишем...

Наверно, и записали куда-то мой отказ.

Портить взаимоотношения — моя специальность.

В этот же вечер я самовольно пристроился к передовым частям одной из армий, совершавшей бросок к ближайшему плацдарму, и ночью переправился на правый берег. В темноте наткнулся на землянку, в сущности, на неплохой блиндажик, где гнезвился сержант-связист, вскочивший на ноги, едва очкастый майор спустился под бревенчатый свод. Славный парень, фамилию которого я забыл, но гостеприимства никогда не забуду! У него даже фляжка нашлась, как раз располагавшая к ночной мужской беседе: мы поочередно исповедались друг дружке во многих вещах, в том числе грехах. Я уснул в теплом блиндажике и видел, как и всегда на фронте, исключительно мирный сон. Очнулся, когда снаружи так шарахнуло, что задвигались мои нары, пошевелились стенки, побежали по ним песочные ручейки, а мигалка мгновенно потухла... После второго встряхивания я понял, что живу на плацдарме и пора выползть на божий свет. Так я и поступил.

День был такой солнечный, что ослепил «собственного корреспондента фронтовой газеты». Я не сразу разглядел, как, что и где. Когда зрение вернулось, увидел весь пятачок, а именно пляжик, изъезженный гусеницами и колесами, изрытый и всхолмленный минными разрывами. Метрах в тридцати от меня стояло несколько военных, по-моему, генералы. Из-под шинелей внакидку про-

глядывала алая подкладка. Они оживленно о чем-то беседовали.

Вдруг между тем местом, где была группа генералов, и мной ударила мина, взлетел песчаный смерч, фыркнули осколки. Я автоматически упал, как обычно падаю под обстрелом, не раздумывая, как кегля. Я всегда так падаю с тех пор, как уважаемый мной человек, командарм Лопатин убедил меня, что раздумывать и форсить в опасной зоне крайне глупо. Он первым ложился при авиационном налете. Он был прав, потому что берег не свою жизнь, а командира. Это было мудро.

Здесь же генералы, как стояли разговаривая, так и продолжали разговаривать, не обратив ни малейшего внимания на взрыв. Мне стало нехорошо, стыд поднял меня на ноги, пот заливал лицо. Фу, мерзость какая! Очень хотелось избавиться от этого пакостного ощущения. Я заставил себя отряхнуть пилоткой шинель и скомандовал сам себе:

— Иди медленно к землянке связиста и не оглядывайся...

Тут еще донесся басистый хохот генералов. Зажимая уши и жмурясь, я провалился в блиндаж чуть ли не на голову моего ночного хозяина. Конечно, я тут же признался ему в трусости. Однако юноша совершенно серьезно похвалил меня:

— Правильно сделали, товарищ майор. По-солдатски. Генералам, им что? Сейчас вроде сvezло, а в другой раз... Вот герой гражданской войны Апанасенко под Белгородом во время бомбежки не лег. Торчал как пень и материл фрица. Адьютант умолял — лягте. Не послушал. Один — да, да, один — только и был убит там. Памятник ему соорудили с надписью, что погиб смертью храбрых. Надо было другую надпись...

Мне стало стыдно, что я стыдился и способен был стыдиться, когда не надо.

От поездки на плацдарм только этот случай и остался в моей памяти, да славное лицо связиста. Никакого материала в редакцию я не сдал, кроме стихов. Шеф был очень недоволен и ни одного не напечатал.

Мне вдруг опять разрешили съездить в Москву. Почему — не знаю. Но хорошо, что разрешили. Я в последний раз увидал отца...

Однако отец меня не видел: он совсем ослеп. Когда я вошел, на кровати лежал седой, с некрасивой бородой старец. Веки были стиснуты, и слабый голос проговорил: — Сынок...

Горе оледенило меня. Я только стал на колени возле изголовья и взял слабую бледную руку в свои, красные, обветренные, и не решался сжать, а только держал и нежно покачивал. Хорошо, что я не понимал, что это — прощание навсегда...

— Побрей меня, сынок... — попросил отец.

Я нашел и взял бритву, намылил ужасную щетину и очень плохо, боясь причинить боль, побрил моего бедного папу... Он всегда был такой аккуратный. Он так и не открыл глаз — только вдруг начал что-то бормотать. Жалкий бред умирающего. Я осиротел прежде, чем он покинул меня. Я обхватил голову руками и бросился вон...

Грузовик с типографскими шрифтами и кой-каким продовольствием для нашей редакции терпеливо ждал меня на улице несколько часов. Я повалился в кузов на мешки. Мы двинулись из Москвы на Украину. Все время я не то спал, не то терял сознание, не ел и ничего не видел, кроме бледного профиля на подушке...

...Телеграмму о смерти мне вручили в первых числах января в деревне на Западной Украине. Наконец я заплакал, и плакал целый день. Потом написал стихотворение об одиночестве, о том, как еще будет горше дальше... Написал и стало еще тяжелей.

Нам было б хорошо двоим,
И жизнь не так трудна,—
В конце концов я создан им,
И плоть и кровь одна.
К чему бы сердце ни рвалось —
К любви, друзьям, стихам,—
Двойною страстью жгло насквозь...
Так было.

А теперь мы врозь,
И сердце пополам...
Мы столько видели концов,
Шагая сквозь пальбу,
Что если смерть берет отцов,

То кто клянет из нас, бойцов,
Сиротскую судьбу?
Я редко думаю о нем
Среди громов войны.
Но скоро мы домой придем, —
А мы прийти должны.
Тогда, я знаю, в тишине,
С самим собой насдине,
Мне станет горько без него —
Отца и друга моего.

Вымысел, как и сон, не обязательно отражает пережитое. Часто воображение равно предчувствию, а по наполненности деталями превосходит даже самые пылкие фантазии. Не знаю, как у других, а у меня именно так. Я сам неспособен к анализу, но преклоняюсь перед строгой логикой, свойством дисциплинированного ума.

На войне, когда время может нестерпимо тянуться, а жизнь в любой миг оборваться, примеров оправдавшихся предчувствий полным-полно. Рядом со мной жили заядлые фаталисты. Они не отличались сильным воображением, однако...

Николай Ксенофонтов — лихой фоторепортер. Смуглолицый стройный молодец, из таких, на кого заглядываются девушки и женщины. Коля еще и гармонист, длинные пальцы постоянно в движении. Когда войска перешли Одер и несколько крупных соединений окружили Бреслау, Ксенофонтов стал завсегдатаем передовой линии в предместьях этого большого города. Все, что только было заснято ксенофонтовской камерой: разрушения, трупы нацистов и живые герои огневого рубежа, медсестры и связисты, налетающие «мессеры» и собирающиеся в поиск разведчики, — все было доставлено в редакцию. Колю очень полюбили солдаты, и он не расставался с аккордеоном, славной итальянской, отделанной перламутровыми инкрустациями гармоникой, так же, как со старой своей «лейкой».

А гарнизон Бреслау, сплошь добровольцы, стоял на смерть: Гитлер обращался к бреславцам с призывом устроить немецкий Сталинград. Туда шли боеприпасы вне очереди и питание с воздуха. И осаждавшие войска долго не могли перейти к штурму. Наше высшее командование решило обходить этот огненный узел с флангов, но действия под Бреслау сковывали лучшие наши части.

Их-то и обслуживал наш товарищ фотокамерой и музыкой.

— Товарищ полковник, больше снимать нечего. Дайте другое задание.

Наш редактор, мужчина с бледным одутловатым лицом, безвольным ртом и каким-то мутным голосом, поднял на Колю равнодушные глаза, помолчал и укоризненно заявил, что другое задание даст, когда потребуется.

— А сейчас будьте свободны и обдумайте свои легкомысленные слова: не вам положено решать, что сделано.

Ксенофонтову стало обидно, что шеф ни во что не ставит его, ксенофонтовскую, репутацию старого (с годовым стажем в действующей армии) фотокорреспондента, уже привыкшего к доверию; так равнодушно этот начальник цедил свои ценные указания, что Николай, прежде чем лихо повернуться через левое плечо, сделал шаг вперед, к самому столу, сказал «Эх!», махнул рукой и лишь теперь совершил положенный ритуал и вышел на улицу немецкого селения. Он машинально сжимал и разжимал пальцы в кармане, где носят кассеты, и уж совсем механически подсчитывал, сколько их у него...

Улица с аккуратными коттеджами по обе стороны была мокра от тумана, впрочем рассеивающегося; за домами медленно тек Одер. За Колиной спиной оставался ненавистный кабинет, где его оскорбили. Милые глаза с южной искоркой бесцельно блуждали по красным черепичным крышам. Будь при нем аккордеон, он, наверно, тут же, на улице, и заиграл бы... Да нет, какого черта! Вот так, стрезва, без слушателей? И, подумав о слушателях, он вдруг повернулся и зашагал к домику, где жил знакомый с Южного фронта, единственный в новой для Коли редакции, тот, кто сочинил известную фронтовикам песню. Поэт увидел входящего в палисадник офицера. Близоруко прищурился и сам пошел встречать Николая, которого очень любил за кроткий и веселый нрав.

— Ах, это вы? Заходите. Проходите, не обращайтесь внимания. У меня совершенно не германский беспорядок. Вот очки куда-то запропастились... и ни дьявола не пишется, хоть передовицу сочиняй...

На Южном фронте каждый знал, что я — а этим по-этом был именно я — ничего, кроме стихов и солдатских

хохм, не писал. Насчет передовиц, пожалуй, было сказано для красоты, если б не нелепая повадка всех редакторов — заставлять сотрудников работать именно в этом жанре: правдист Крэн умел строчить передовые статьи, разбуди его хоть ночью, — глотнет крепкого чая и давай диктовать сразу на машинку. И ежесуточно! Семь лет подряд!.. Шефы фронтовых газет прощали Крэну многие его недостатки, лишь бы он поставлял на первую полосу гладко написанную статью на злобу дня. Писал он совершенно автоматически: семилетняя практика отразилась и на размере, подогнанном к правдинскому формату... Надиктовав статью, Крэн снова заваливался на койку, а пробудившись, не помнил ни слова! Это было чудом!

Из всех начальников лишь один Погара не приставал ко мне с передовыми, другие весьма косо смотрели в мою сторону. А Володе Полякову перестали доверять с той поры, как он загнул в отделе юмора вполне оптимистическое выражение вроде того, что пусть бы гитлеровские захватчики весной засеяли всю зону ихней интервенции, осенью мы уберем урожай в наши закрома. На всякий случай Володю сняли с отдела юмора и вынесли строгача в личное дело...

Ксенофонтов любил поэзию и музыку, но и фотографирование не меньше, так что ему прощались его эстетические хобби. Я же мог слушать Колину игру бесконечно: моей мечтой было выучиться «вкалывать» на гармони. На третьем году войны я даже поэму написал и опубликовал под названием «Генерал». Лучшее всего удалась мне глава «Гармонь». Я писал: «Мне с детских лет приятен звук гармошки, ее скрипучий и надсадный лад. Как будто ничего особенно хорошего, а действует она на женщин и солдат...»

Словом, Николай сидел в моей комнатке и жаловался на обиду. Он говорил и то, чего не сказал шефу. А именно: «Нехорошо испытывать судьбу». И придется ехать в Бреслау, где все отснято. А все потому, что если начальник недоразвит чисто человечески, то и дисциплину понимает лишь в одном спектакле — «слушали — постановили». И не ходи! Отменять же случайное и рефлекторное приказание, коль скоро оно вырвалось, ему и в голову не приходит.

Такие начальники очень похожи на некоторых врачей, которые не глядят в лицо пациента и ставят диагноз по документам. Дело идет о жизни и смерти. Человек

идет на смерть, и хуже нет, если идешь в плохом настроении,— тогда смерть неотвратима и на операционном столе, а уж тем более на бранном поле.

А Коля не был фаталистом. Его сделали таким в одну минуту одной или двумя бездушными фразами. Когда секретарь редакции выдал ему командировочное предписание, лейтенант Ксенофонтов приложил руку к козырьку и даже пошутил: не поминайте, дескать, лихом. Это произошло утром следующего дня. После обеда радист принял телеграмму из Бреслау от фотокорреспондента «Известий» Новикова: «Четыре часа не могу взять тело Ксенофонтова из-под снайперского прицела». Ночью Колю привезли. Редакционные женщины плача убрали покойника, зачесали черный чубик на желтый лоб, чтобы не видать было пулевой пробоины. Мы собрались вокруг, а полковник надел очки и по бумажке прочитал о подвиге журналиста и так далее. И мы глядели на бледные губы, на чубчик, на руки с длинными пальцами, неловко лежащие по швам.

— Значит, так,— деревянным голосом сказал фоторепортер Новиков. Он не глядел на редактора, а только на бедного своего собрата,— на груди был белый аккордеон. Его пуля не повредила, снайпер знал свое дело...— Ну и, значит, все солдаты жалеют; что задарма и глупей глупого...— Он замолчал, потому что все сказал.

Война продолжалась, а полковничья совесть молчала. Смерть Ксенофонтова тогда не напомнила шефу «геройский» случай под Скалатом, когда он сразу двоих превратил сначала в фаталистов, а потом и в мертвецов... Да мало ли чего было за ту долгую-долгую войну.

Могут спросить: «А что же было под Скалатом? Не зря ведь упомянули».

Во время боев на Западной Украине наш коллектив пополнился несколькими новичками,— нет, они явились не на замену «убивших», как в строевой части. Просто наша редакция усилилась количественно. А новички должны быть проверены в деле. И надо же, чтобы два из них оказались между собой в контрах. Один — фотокорреспондент. Лейтенант по званию, даже гвардии лейтенант. Правду сказать, у него был задиристый характер. Он, бедняжка, был вечным левофланговым и потому малый рост пытался компенсировать наглостью. Не помню его снимков, да и успел ли он что-нибудь снять. Сорокоумов или Скородумов со всеми цапался, выдумывая не-

хитрые поводы. Все как-то по привычке, а верней, раскусили парня и умели гасить его раздражительность в задрыше.

А вот другой новичок, пожилой уже капитан, просто-напросто боялся Скородумова, старался избежать даже встречи с этим забиякой. И тот, почуяв запах страха, разъярялся еще пуще, тем более что старший новичок вообще впервые попал в действующую армию. Наслаждаясь тем, что кто-то наконец его боится, он все-таки и травил и третировал капитана именно как труса!

Нетрудно сообразить, какова была несовместимость этой четы. Капитан имел за своими сутулыми плечами огромный многолетний опыт журналистской работы на всех возможных уровнях. После того как он, подобно многим другим, забронированным для службы в тылу, не раз просился на фронт, в 1944 году пришло долгожданное удовлетворение — его мобилизовали на самое перспективное направление, во фронтовую редакцию. Он был счастлив и доказывал свою радость самозабвенным трудом. Единственное — хамские ухватки Сорокоумова, который, собственно, и не должен был общаться с ним по работе, а лез-таки на глаза. Скородумов упорно хотел вызвать в человеке чувство не вины, а беспокойства и добивался этого.

Полковнику усердие капитана хотя и нравилось, но, по своему обыкновению, боже сохрани, чтоб он проявил крупицу благодарности к подчиненному. Видимо, до его внимания донеслось кое-что о неладах между новичками: редактор считал своим пастырским долгом знать атмосферу коллектива, который обязан быть дружным — без сучка и без задоринки. Время от времени закручивались гайки, прочищались мозги, внушалось чувство ответственности, изгонялись признаки самоуспокоенности — все с упором на дисциплину и особо на внешний вид. Случаи пьянства мало волновали начальника: «Надо только знать, с кем пить. А вы не знаете! Ведь не знаете? Знать надо. Вот в таком разрезе!»

Проблему с новичками полковник решил по-своему. Обводя взглядом лица стоявших перед ним капитана и лейтенанта, он заявил:

— Оба поедете в командировку. Так сказать, в боевые условия. Бригада, так сказать...

Он не совсем четко различал новичков. Может быть, он путал фотографа с журналистом. Но дело не в этом

безразличии: надо было как можно скорей пригнать их друг к другу, как подгоняется обмундирование — чтоб нигде не жало, чтобы все было как положено. И он пристукнул вялым кулаком по столешнице:

— Можете считать себя свободными. Вам сообщат, как только изготовится самолет. Не увольняйтесь далеко от редакции. У меня все.

Освобожденные таким образом новички, не чуя ног, кинулись в разные стороны. Капитан отчетливо чувствовал сердце: он обычно скрывал свою аритмию. А когда зашел за угол, оглянулся и проглотил какую-то таблетку. Без всякого умысла зашел в типографию, снял с потной головы пилотку и сел на ящик с шрифтом в закулочке у метранпажа.

— Сергей Степаныч, — глухо прохрипел несчастный, — что же это? Как же это?

Совершенно лысый, но с молодым лицом, Степаныч явно испугался: он заметил, что глаза капитана начали закатываться и сам он как-то весь осел на ящике. Степаныч схватил графин с газировкой и стал лить воду на слипшиеся серые волосы капитана, говоря с воронежскими придыханиями:

— Ничехо, ничехо. Хлавно дело — дышать редчае и глубчае... Дышите, дорохой... Оно и полехчае.

И впрямь от участия, а может, от газировки новичку стало легче. Только этому метранпажу капитан излил горькое свое недоумение:

— Сами судите, Сергей Степанович, какая из нас бригада! Он грубый, невоспитанный человек, эгоист... У нас несовместимость.

Степаныч цокал, качал своей лысиной и убежденно заявил:

— Товарищ капитан, а вы доложите полковнику, чтобы с кем дружим, лишь бы не с этим фулюганом.

— Мне стыдно, Сергей Степанович, ей-богу! Ведь приказ есть приказ. Пусть бы одного меня послали. Но как об этом сказать? Нет, я не могу. Я сам добивался, чтоб на фронт...

Новичок испустил стонущий вздох. Надел пилотку на мокрую голову задом наперед и ушел, нелепо размахивая руками. Сергей Степаныч некоторое время смотрел ему вслед, чмокал, вертел лысиной и наконец подвел итог:

— Не к добру это. Офицера жалко — очень болезненный капитан.

Сорокоумов же, к удивлению сотрудников, в этот день не приставал, не заедался, а громко жаловался:

— Что это за редакция? Не ценят ни хрена, да еще черт-те с кем в бой посылают. На шута мне все это... — И неожиданно закончил, что вот возьмет и напьется. И рапорт напишет. А что? Пусть не швыряются кадрами — не то время...

И поздно вечером надрался в дым. И плакал... Капитан не плакал. Он был непьющий, — фигура, плохо подогнанная к среде. Ему, наверно, было тяжелее, чем второму члену новоиспеченной бригады, который спал мертвецким сном. Он, оказывается, вел дневник своего пребывания на фронте. Эту книжечку вместе с остальным холостяцким скарбом капитан поручил метранпажу и долго тряс руку Степаныча. Больше никому не доверил. И был прав: журналисты иногда не в меру любопытны... Не плакал капитан, но и не спал. Он перечитывал какие-то письма, писал сам до утра. А когда перечитал и написал все-все, порвал на мелкие клочки и сжег в печурке. А книжечка с надписью «Дневник» была вся насквозь чистая, и лишь на последней страничке было написано **КОНЕЦ** и поставлены три точки... Метранпажу Сергею Степанычу ничто не показалось странным: вещмешок капитана он отдал под расписку начальнику издательства, а дневник оставил у меня.

Летчик из штаба фронта явился к полковнику точно в восемь ноль-ноль. Ему пришлось ждать около часа, хотя наш шеф сам назначил час явки летчика. Это был очень юный пилот, почти мальчик, с девичьим румянцем, с громадными ручищами. Грациозно переступая унтами, он взад и вперед прохаживался возле редакции, когда на него выскочил откуда-то низенький и кривоногий лейтенант с гвардейским знаком и выдохнул в девичье лицо целое облако винного перегара. Слово за слово — познакомились, и еще до прихода полковника пилот узнал, что Сорокоумова не ценят в этой затрушенной редакции, что посылают в командировку с каким-то шпаком, ничего на свете не нюхавшим, и вообще...

Будущий пассажир летчику сразу не понравился. А предстоящий рейс, по существу довольно обычный, окрасился неприятным предчувствием. Но время шло, и вот летчик уже стоит над плечом с полковничьим пого-

ном, а его планшет с картой лежит перед глазами начальника. Навряд ли редактор знал, что император Николай I в свое время по линейке провел прямую от Петербурга до Москвы и объявил монаршее решение инженерам-строителям железнодорожного пути. Чего не наделает вдохновение ленивого ума!

— Вот в таком виде,— проямлил наш шеф,— и пещего мудрить.

Пилот мог бы объяснить, что полет в район окруженной группировки противника связан с риском: у них там полно противоздушных средств. Но человек держался с авиатором, как с профаном, и не понравился ему сильнее, чем будущий пассажир.

— Есть,— хмуро сказал он и добавил: — Как лететь — это дело наше...

Теперь полковник считал долгом осадить юнца:

— Выполняйте и по дороге обдумайте свои легкомысленные реплики в разговоре со старшим командиром. У меня все. Вы свободны...

Унты задвигались к выходу, а шеф подошел к умывальнику, засучил манжеты кителя и повернул кран...

Дальше история буквально помчалась, едва «кукурузник» оторвался от грешной земли. Летчик не стал обдумывать свои реплики. Оба пассажира вели себя по-разному: Сорокоумов как уместился, так и захрапел, склонив взлохмаченную непохмелившуюся башку над гвардейским знаком. Капитан был тих и задумчив: он закончил все на этом свете и забыл, по-видимому, о своем спутнике. А самолетик несло по трассе, близкой к полковничьему расчету,— видать, рок водил этой вялой рукой...

Скородумов умер первым, так и не очнувшись от хмельного сна,— легкая смерть! И лохматая башка его так и лежала над гвардейской эмблемой, из-под которой текла черно-карминная струйка. Это — в воздухе. И тут же вспыхнуло в бензобаке. Пилот наметил хорошенькую солнечную лужайку среди лиственного леса и на крутом вираже, таком крутом, что пламя бензобака погасло, тихо сел посередине лужайки с покойником на борту. Капитан был по-прежнему тих и задумчив, и летчику пришлось его поторопить. Пропеллер еще вертелся, когда пули из леска запищали над местом вынужденной посадки. Летчик быстро поджег машину и крикнул капитану: «За мной!» Они бежали к стогу: юноша, конечно, резвей

пассажира, и того догнала пуля из леска. Пыря под стог, пилот увидел, что капитан упал на колени и вдруг опрокинулся и затих.

Я никогда не мог понять психологии тех военных, кто «не считается с потерями». Со времен Суворова принято оценивать мастерство тем выше, чем оно умелее. Короче говоря, могут побеждать малой кровью. Почему же начальники (кстати, обязанные знать и применять вышеупомянутые изречения) нередко стремятся подражать именно неумелым военачальникам, предпочитая число уменью? Что это у них? Элементарная тупость или ложное понимание храбрости?

Начиная с Курской битвы, наш фронт двинулся на Украину, вводя все больше и больше войск. Тогда — естественно для наступающих — возросло количество потерь. Мы, корреспонденты, одни из первых ощутили эту трагедию. Горько переживали гибель многих командиров и бойцов, с которыми завязали добрые отношения со времени долгой обороны: мы-то могли в какой-то степени распорядиться собой и сроками пребывания в боевой обстановке, а выполнив задание газеты, даже обязаны были искать возможность быстрой доставки материала в редакцию. Но бойцы первой линии так на ней и оставались, живые и мертвые...

Я только-только закончил стихотворение для завтрашнего номера. Не спалось. Я выходил на улицу, курил и слушал дальнюю канонаду. Хрипло кукарекнул хозяйский петух; никто ему не ответил, но он отбил свои часы, потому что дело шло к рассвету.

Я вернулся в хату и раскрыл наугад однотомник Толстого. Я люблю вот так гадать, — поневоле вчитываешься и вдумываешься в текст. И бывает так, что становится стыдно: «Как же я был глуп. Думал, что знаю эту вещь с детства. Ведь перечитывал, а не заметил слона».

На раскрытой странице оказалось одно из тех, пропущенных в прежние чтения, мест. Строки эти посвящены грустным размышлениям фронтовика-севастопольца Козельцова-старшего по возвращении его на четвертый бастион. Их стоит прочесть и задуматься над ними человеку любого возраста, пола и общественного положения. К такому выводу пришел и я, порешив приобщить к плодам толстовского гения очень важное лицо в моем редак-

ционном масштабе — полковника Жукова, редактора нашей газеты.

Отчеркнул в книге красным карандашом нужные строчки, перепечатал на чистый лист, свернул с подлинником и, положив напечатанное в толстовский том, вышел на улицу, прямо в серый рассвет, в ту пору, когда более темно, чем ночью. Голова совершенно очистилась от ненужных мыслей, воспоминаний и рифм. И, радуясь нечаянному открытию, я постучал в окно редакции, заклеенное бумажной решеткой затемнения. Я знал, что стучу в кабинет редактора. Я вхожу, держа толстовский том за спиной, и стараюсь выглядеть заспанным и глупым. Но у меня выходит еще глупее:

— Семен Осипович, можно к вам?

Он ждет очередную полосу, и приемник напевает ему что-то восточное. Впрочем, по-видимому, он дремал: на щеке наспанный узор от подушки.

— Слушаю вас.

На лице полное безразличие, он не удивлен столь поздним визитом.

— Понимаете, не спится. В голову лезут разные мысли. В том числе о политработе... Дай, думаю, запишу. И вот, если хотите, у меня с собой.

Полковник слегка оживляется: еще бы, поэт принес какие-то мысли! Он аккуратно надевает очки и берет красный карандаш — ого-о, это вроде не стих! Это правильно, между прочим.

Читал полковник очень долго и старательно: губы шевелились, и лоб собрался в складки. Снял очки, полужакрыл глаза и так, с полужакрытыми глазами, промолвил:

— Уж лучше бы вы спали, чем такую дербедень (так и сказал — дербедень) записывать. — Открыл глаза и надел очки. Лоб снова наморщился, зашевелились губы. Потом перевернул листок и смотрел на обороте. Наконец положил листок на стол и начал барабанить пальцами по нему. Надо было что-то сказать, и я спросил:

— Простите, Семен Осипович, где вы служили до войны?

Редактор гулко откашлялся и со значением произнес:

— Диалектический, понимаете, материализм преподавал. В ветеринарной академии. А что?

Тут я не выдержал и положил на стол раскрытый том.

Не меньше четверти часа ставший малиновым лоб хмурился, дважды очки влезали на нос. Дольше всего бедный полковник глядел на обложку книги, и губы его шевелились. Он закашлялся и, утираясь платком, глухо сказал:

— Вот в таком разрезе... В книгах, понимаешь, не то что в жизни... Лично у меня — все...

С тех пор наши взаимоотношения заметно обострились.

Льва Толстого я полюбил еще сильнее, чем когда-либо.

Память о погибших журналистах не дает мне покоя. Я должен рассказать хотя бы о троих, включая несимпатичного Скородумова. Трагическую историю этих смертей, к сожалению, невозможно передать, прощая равнодушные, а верней, бездушные тех, кто обязан ценить жизнь подчиненных.... Только ли на войне случается глупая смерть? Не надо бояться правдивых слов, как бы страшны они ни были. Ложь еще страшней, еще подлей и — увы! — живучей...

Желание любить (быть любимым) — не иллюзия, а потребность. Не элементарная, сексуальная, когда принуждали воздерживаться и когда любишь впервые, еще не зная, кого именно. Настоящая любовь приходит много позже: она нуждается в развитии, в созревании, во взаимности, вероятно. В нежности наверняка. Военная обстановка — это прежде всего лишения («не у тещи в гостях»), это — антинежность. Но военный человек все-таки человек: закалка, очерствение, самоограничение не беспредельны.

Тепла выпрашивала кровь...

Как же быть мне с тоскою, с любовью...

Но иногда бывает час...

На третьем году войны начали выскакивать стихи о солдате совсем не теркинской породы — на все руки. Мой солдат не умелец. Он не смешит и сам не веселится. Он устал.

Мой солдат потерял одну за другой все иллюзии мирного времени. В том числе, и возможно раньше прочих,

наивную надежду на то, что «ожиданием своим» тебя спасет женщина.

Только те, кто так или иначе был приобщен к фронтовому братству, лишь они до конца знают меру и цену всему. Очень дорого живется на войне! Очень много заплачено и еще больше затрачено!

Целых три куска металла есть во мне.

Целых три куска металла, —

Больше нету капитала:

Очень дорого живется на войне!..

Пожалуй, верно, что человек всю свою жизнь освобождается (или пытается освободиться) от иллюзий, благоприобретенных в отрочестве и юности. Многие классики литературы свидетельствуют в образах, что истинный характер некоторых персонажей проявляется именно благодаря утрате детских и юношеских иллюзий: большинство людей становятся в зрелости полной противоположностью себе.

Я — не исключение. То есть я прохожу по всему времени, постепенно освобождаясь от очаровательных грез. Близорукие глаза мои начинают видеть окружающий мир таким, каков он есть. Я должен меняться сам. Я не меняюсь, потому что не хочу. Жизнь потеряла в моих глазах часть внешней привлекательности, но остается интересной, ибо она мне почти незнакома. Еще этап. Еще одна дымка рассеялась, а жизнь не надоела: в ней есть жуткое очарование. Нечто сверх нашего людского понимания. Что-то первоприродное, а я ведь кусочек природы, не более, но и не меньше!..

Что дальше? Я становлюсь исключением, анахронизмом. Наблюдать одновременно за миром и за собой невозможно. Стараюсь наблюдать за собой. Из предпоследних сил пытаюсь не измениться и страшусь потерять интерес к незнакомому бытию: в этом интересе — весь я... Неужто мой интерес к жизни тоже иллюзия? А на самом деле это существование на первичном уровне?

Почему же я выжил? Каким образом приспособился? Повозло!

Стыд, по-моему, принадлежит к тому же роду страстей, что и страх, что и гнев, и голод или даже сладострастие... Я стыжусь показать, что мне страшно, и сдерживаю естественные проявления. Мне везет и везло в самых крайних обстоятельствах, хотя показное хладнокровие само по себе

не спасает от смерти или от наказания. А вокруг много людей, которые никогда не стыдятся своего поведения, продиктованного именно страхом, трусостью, опасением за свое драгоценное здоровье. Человек рассказывает о своих тяжелых переживаниях. Он задерживается на деталях или, наоборот, проглатывает важные подробности, вопреки правде-истине. Он уверен, что голой правде никто не поверит: надо смягчать или преувеличивать. А если у рассказчика просто нет таланта? То есть способности выжать из рассказа всю пудь, хотя она и была в живой жизни.

...Сочинять, наверно, трудней, чем вспоминать то, что было, даже если не было или нет свидетелей. Я не мудрю, не стараюсь развлекать, — вообще, увы, не стараюсь. Почему-то вообразил, будто все, что представляется интересным МНЕ, должно и других интересовать; мои впечатления о чем-нибудь, мои личные счеты с кем-либо, мои часто очень мелкие мыслишки — словом, моя личность и ее «роль в истории».

Уж не знаю, почему я начал писать. Я раньше всего любил рисовать, потом — читать. Стихи мне всегда нравились. Очень давно я мечтал: «Ах, если б иметь приятный голос и петь, что захочешь! Уметь играть на всяких инструментах». Музыкальных способностей своевременно я не проявил. А слух есть. Никому в нашей семье, в том числе и мне, не пришлось в голову проверить. Уже в комсомольском возрасте, когда я часто подбирал по слуху, одна из теток, учительница музыки, уговорила меня ходить к ней. Понятно, упражнения мне скоро надоели: я не находил в них вкуса, а тетка привыкла иметь дело с малышами и с их родителями — здоровый хлопец с наганом за поясом внушал ей некоторый ужас. Она робко умоляла меня: «Занимайся дома, пожалуйста!..» Тратить время на затверживание гамм, когда пулеметный кружок ЧОНа готовился к стрельбам?! Я перестал ходить к тете, но музыку любить не перестал и по слуху аккомпанировал ребятам, когда они пели революционные песни: мне казалось, что моя мечта осуществилась, что я играю мои песни. Вот в чем счастье — увлекать искусством, пусть не собственным творением, а жалким треньканьем. Но ведь увлекал же! Но ведь сам увлекался тоже!

Мне бы вспомнить вещее пророчество дяди Васи — задуматься. А меня устраивала чистая самодеятельность. Я мечтал уже стать пулеметчиком (поздней — моряком, летчиком, чекистом, художником).



Роль политработника... Вы поймете, когда мы с вами пройдем в вестибюль вокзала. Вошли. Выкиньте из мыслей все, что бросается вам в глаза, все, что отлично знает любой пассажир. Подавить все возникающие ассоциации, связанные с посещением и пребыванием на станции: проводы, встречи, собственные предотъездные переживания, — спешить некуда, более того — нельзя торопиться. Как в театральном зале после звонка, станьте зрителем, свидетелем, очевидцем.

Сейчас начнется история, даже История.

Короткий простуженный свисток, и раздвигается — или поднимается — занавес с намалеванными на нем светочаши, мачтами электропередачи, рекламами управления курортов и линий Аэрофлота.

Музыка и свет в зале слабеют и меркнут.

Остается мигать одна-разъединственная лампочка в железной клетке. Остается играть одна-разъединственная гармошка. Становится холодно и дымно. Скорей в теплый, с люстрами ресторан!.. Ничего подобного вокзал не содержит. Какая там к шути комната матери и ребенка? Где возможно и где невозможно, лежат и спят вооруженные люди; кто подложил под голову вещевой мешок, а некоторые сундучок-самоделку, многие — просто папаху.

Почему так страшно дует? Дверь закройте! Двери закрыты, но окна без стекол.

И вообще, кто задает детские вопросы: почему и зачем? Вам, может, скамеечку? А не хочешь ли, гражданин, прогуляться с лопатой на пути? Ресторан? Сперва потрясись в дырявом и щелястом товарняке, прижав спину к спине товарища, постучи зубами от лютого холода и ледовитого ветра, потом погрейся на заготовке дров за полсотни верст от Москвы. Значит, так. Будешь стоять у края полосы отчуждения, на опушке голого леса, по пояс в снегу и передавать по цепочке осиновые и сосновые бревнышки. Сколько

вагонов — столько человеческих цепочек. Под утро тот же товарняк привезет дрова и тебя, заоченелого и безголового, в тот же вокзал, и он покажется тебе раем: не трясет, не слишком дует, плюс к этому получишь кружку великолепного кипятка и, если очень повезет — горсть ржаных сухарей. Час-полтора оцепенеешь в обморочном сне, и идешь с винтовкой и с парой гранат лимонок патрулировать переулочки вокруг вокзальной площади: шайка «попрыгунчиков» (матрасные пружины на ногах!) старушку раздела...

Тут, братишка, тебе не курорт, а ближний тыл гражданской войны. Ты еще — в особом доверии, тебе поручают, на тебя надеются. Тебе доверяет Советская власть...

В углу вокзального вестибюля, прижавшись друг к другу плечами и спинами, жестоко окуривая себя и соседа самосадом, «Есть махорка — вырви глаз! Навались, рабочий класс...» — слушают бойцы маршевого батальона грампластинку: Ленин отвечает на свой же вопрос: «Что такое Советская власть?..» Те, что сзади, согнули ладони над ухом, — труба граммофона поломана, звук не очень-то ясный. Недолго играет пластинка. И кто-нибудь обязательно просит: «Браток, нельзя ли еще разик?»

Браток, совершенно мальчишка в гражданском пиджаке, — это и есть политработник на вокзале. У него в запасе еще две пластинки, коробочка с иголками, и есть ему хочется до тошноты, до головокружения. И он не спал черт-те сколько ночей, чистил пути от заносов, запевал в ледяной теплушке песню о враждебных вихрях и терял голос, передавал по цепи полешки и радовался, ликовал по поводу возвращения в теплый, светлый вестибюль, к своим иголкам и к своему граммофону с помятой трубой...

Много «разиков» ставит политработник черный кружок, часто меняет иглу, чтобы лучше и яснее говорил его аппарат. И Ленин говорит: «Товарищ, береги винтовку». Те, кто не спят, взглядывают на свое оружие — долговязую итальянскую «витерли», «винчестер», японский карабин или старую заслуженную берданку.

А политработник бережет пластинки и потому чаще меняет иголки, то и дело достает новую из коробочки. Старые иголки лежат у него в прошлой коробке. Он, конечно, обязан сдавать их в Московский военный округ, но не сдает. Мало ли что?..

Я комплектовал газеты «Известия» и «Правда» для справочного бюро агитпоезда, который ушел на барона

Врагеля без меня. Меня послали учиться в Коммунистический университет — «Свердловку» на полгода. А потом посылали в 13-ю типографию, где я постигал основы полиграфии и борьбы с меньшевиками.

— Дай-ка перевяжу, — сказала мама, копаясь в старой коробочке из-под папирос «Дюшес». И, очень довольная тем, что наконец нашла, показала клубочек суровых ниток.

Я подал ей тяжелый пакетик. Отец оставил его на столе; он рано ушел к себе на завод. Добирался он туда пешком. Он считал такой способ самым надежным в эпоху затертых снегом трамваев.

Аккуратно, крест-накрест, мама обмотала несколько раз конверт. Я стоял и смотрел, как двигаются опухшие маминны пальцы. Приятно, что прошла эта трудная зима и что недолго еще разведывать в заваленных грязным льдом двориках нашей хамовнической окраины недособранные другими гражданами щепки, остатки и осколки заборов, ворот и калиток — наше привычное топливо. А белое апрельское солнце, проворно ныряющее между плывущими навстречу косматыми ветровыми облаками, как раз в эту секунду ударило всем своим светом в паше окно, вернее, в ту его часть, которая не заткнута подушкой и не забита фанеркой. Мама подняла заострившееся лицо и улыбнулась.

В облезлой отцовской кожанке, ощупывая внутренний нагрудный карман, где слегка выпирает тяжелый пакет, я отправился выполнять поручение. Яркий весенний день греет меня спереди и леденит сзади — идет со мной по всей Москве, перемещая мою смешную тень вправо и влево, то вытягивая до гигантских размеров, то укорачивая или же совсем убирая на какое-то мгновение. По всему телу струятся световые и прохладные токи, отчего я впадаю в непонятные полугрезы. Порою солнце дает мне такую оплеуху, что я в ошеломлении останавливаюсь и тру глаза, чтобы прогнать черные пятна и резь. Оказывается, я на улице с домами более чем странного вида, который мне представляется совершенно обыкновенным. Все эти подушки, фанера, желтые газеты вместо окон — дело обычное. Разруха.

Я у Троицких ворот Кремля. Окошечко пропускного бюро. Пожилой латыш, склонив восковой утомленный лоб, колючими глазками медленно водит по страничкам недавно выданного мне партийного билета. И еще жестче всматривается в меня самого. Не отрывая взгляда от моего парт-

билета, звонит кому-то по телефону, что-то объясняет. Потом кладет трубку. Усмехается — конечно, по поводу моего волнения — и протягивает мне пропуск.

— Прямо, прямо, товарищ. Потом верчите флефо.— Медленно повторяет:— Верчите флефо...— И неправдоподобно большой ладонью трогает свой впалый висок с белыми волосинками.

По кремлевскому двору бегу мимо старинных дворцов, мимо соборов. Бегу и ничего не понимаю и не вспоминаю ни о чем. Почему-то спешу, словно мне отмерили страшно мало времени: боюсь опоздать. «Верчу» влево и взлетаю по серым истоптанным ступеням — их, наверное, цари и бояре истоптали,— не помню, как и кому предъявил пропуск.

Апрельский свет и ветер остались там, а здесь — полусумрак древности, потрескивание дерева, глухо отдается даже шорох одежды. Коридор. Дверь. Я стучу. Три раза — почему, не знаю. «Войдите», — женский приглушенный голос. Нажимаю на створку — и я в комнате.

Против света на фоне узкого средневековья окна стоит скромно одетая женщина средних лет. Она вопросительно глядит. Она молчит и ждет. Молча жду чего-то и я. У нее очень добрые и спокойные глаза: не бегают по мне, не колют, даже не излучают. Они спрашивают: зачем пришел?

— У меня поручение,— хрипло говорю я и ощупываю карман. Глаза спокойно следуют за моей рукой.— У меня — к товарищу Ленину.— И я вытаскиваю с самого дна куртки — карман, конечно, зверски продран — конверт, перевязанный маминой ниткой. Сразу не отдаю, а, напустив побольше суровости — удивительные нахалы эти мальчишки,— произношу нарочито низким голосом:— Мой отец поручил передать лично... Только лично. Там и письмо есть. Тоже личное... Товарищ,— добавляю для вежливости.

— Экая жалость. Не повезло тебе, мальчик: Владимир Ильич в отъезде.

Это я — мальчик? Весь краснею, не вникая в смысл сказанного.

— Товарищ,— обидчиво бормочу.— Я не мальчик... И вообще я член партии...

Дурацкая обидчивость делает меня до того нелепым, что собеседница удивленно подходит ко мне вплотную. Я ви-

жу и понимаю, как трудно ей не засмеяться. А она удерживается. Немного подождала, не скажу ли я еще чего-нибудь. И после паузы говорит:

— Да, товарищ, досадно, что Владимир Ильич в отъезде. Вы не сомневайтесь, я все ему передам: я тут служу. Я тоже, как вы, член партии.

От такого обращения немного отлегло. А то я уже повернул вполоборота к двери. Я не застал Ленина. Я могу не выполнить... Теперь без колебаний решительно отдаю пакет секретарю Владимира Ильича. Она бережно распутывает мамину упаковку. Даже по-маминому аккуратно смотала нитку в маленькое серое колечко и положила на стол. Из незаклеенного конверта (дома у нас клея нет) вынула письмо. С грохотом, как мне показалось, что-то выскользнуло из слабых, худых пальцев.

— Это что? — спросила она, продолжая держать в руке бумажный листок и глядя на большой, массивный портсигар. Взяла, взвесила, повертела в руке. — Смотри-ка, ведь это Илья Муромец. А тут Змей Горыныч. Хорошо сделано, красиво... А кстати, зачем это? Ведь товарищ Ленин некурящий.

— Вы, товарищ, письмо прочитайте.

Тут я встревожился: не это ли самое спросил я вчера, когда писал мой папа? А он, не поднимая глаз от письма, рассеянно ответил: «Ленин знает». И продолжал писать...

— Вы прочтите, там же сказано.

А сказано там было следующее: «Уважаемый товарищ Ленин. Примите от меня, как от ровесника, в день Вашего рождения, этот подарок. С коммунистическим приветом». И фамилия. И номер партбилета, и число: 22 апреля 1920 года.

— Вот оно что. — Женщина задумалась, постучала портсигаром о стол. Несколько раз надавила пружинку, открыла и закрыла с небольшим усилием портсигар. И крышка закрывалась с очень тихим музыкальным звоном. Потом взглянула на другую крышку. С гладкого серебра чернела гравированная курсивом надпись: «Первый приз тюремного шахматного турнира 19... года». — Во-он что. Ладно, товарищ, я передам.

А я, готовый уйти, не решался так поступить. Я не знал, чего мне, собственно, хотелось. Такое простое поручение, а я не выполнил... Очевидно, глупость опять проступила во

всем моем облике. И умная женщина поняла мое состояние.

— Знаешь что, — вдруг заявила она (я не успел обидеться на эту фамильярность), — давай зайди вот сюда.

И она, шагнув, взялась за ручку двери, шедшей в смежную комнату.

— Иди, иди сюда. — Она пропустила меня вперед. — Здесь работает Ленин и людей принимает. Посиди, отдохни.

Она вышла, оставив меня одного и плотно затворила за собой дверь.

Я машинально сел. Я увидел тот самый стол, что на снимках, тот стул или кресло с сетчатой спинкой, тот книжный шкафчик позади кресла. Ту чернильницу... И вдруг подумал: «Как же так? А на этом стуле, где я... Мог сидеть он...»

Нет, чувства мои были не религиозного свойства. Самое дорогое и любимое сделалось еще роднее и ближе. Я видел рабочее место Ленина. Я так заволновался, что на цыпочках осторожно, боясь помешать занятому человеку, тихонько ушел оттуда, даже не простился. И апрель очень быстро дошел со мной до хамовнической окраины...

— А мне Ленин звонил, — сказал отец через два дня. — Поздравляет с днем рождения. Смеется: «Так себе праздничек у нас с вами! Что касается подарка, вы, товарищ, очень здраво рассудили. Очень. В наших компродах обязательно может найтись охотник на ваш портсигар. А я прослежу...» И опять засмеялся: «Спасибо, товарищ...» Ну-с, как вам нравится погодка? — И мой старик потер ладонь о ладонь.

Он всегда так делал в хорошем расположении духа, когда все идет как следует.

...Работал, значит, в типографии, а вечерами бегал в свой хамовнический клуб, куда нередко являлись разные, в том числе интересные, люди, где мы вдвоем с Костей Задонским придумали и выпускали первую в районе, а может и в Москве, стенгазету под лозунгом «Правда глаза режет»; Костя изрисовал весь лист аэропланами, а текст был весь мой... Типография, стенгазета — ведь это не случайно: что-то приближало к литературе.

...Кое-кто из сверстников решил, что я прежде всего болтун: «Хоть художник ты старинный, но язык уж очень длинный». И сегодня я с этим не согласен — с обеими частями определения. Разве лишь то, что «старинный». Рисовал я, как уже говорил, из чистого подражания Сереже Алексееву, моему двоюродному брату: он был двумя годами старше и действительно очень одарен. Я его любил и гордился им, его ростом и силой не меньше, чем талантливостью.

Мальчикам, а возможно, и девочкам до превращения в юношей и девушек необходимы старшие братья. Природа меня наградила младшим братом, а ему послала меня, дав обоим массу противоположных устремлений. Он был убежденным противником чтения. Он хотел быть и был как все и достиг своей цели.

Нет уж, если подражать, то таким, как Сергей Алексеев.

Он совсем не такой, как все! Конечно, я уважал силу. Сильных мальчиков среди сверстников находилось немало, но не все были такими добрыми и благородными, как мой Сережа: почти все пользовались своим физическим превосходством корыстно — отгоняли слабых, отнимали у слабых, командовали слабыми и т. п. Младшие мальчики пресмыкались перед сильными, корыстолюбивыми, властными, во-первых, потому что боялись, а главное — самому хотелось быстрее вырасти, чтобы помыкать тщедушными подхалимами.

Я не желал походить на тех и других и поэтому очень рано стал искать друзей среди старшеклассников. Даже наших второгодников я больше любил, чем ровесников: мне долго нравился здоровенный верзила, сидевший на «камчатке», где были самые большие парты: впереди рассаживали малорослых и близоруких вроде меня. Этого парня звали Реш (то ли фамилия, то ли прозвище), и он был заядлый химик, ходил в штанах, прожженных на коленках, на руках рубцы и ожоги от химикалиев. От его парты пахло чем-то зловещим и загадочным. Иногда во время урока учителя обращали внимание на «камчатку»: там шли таинственные эксперименты — что-то шипело и дымилось... Теперь-то я уверен, что Реш был выдающимся мальчиком. Но и тогда я видел, что он не чета молодым охламонам, только и думающим о бутсах, о коньках-норвегах. Что с ним случилось? Нашлось ли применение его одержимости?

Если он жив и вдруг прочтет эти строки, пусть подаст весть о себе.

Мы многое прощали нашему первому ученику за то, что он был первоклассным футболистом. А эти «первые», как правило, были фискалами и занудами — с ними никто не дружил.

О, мое реальное училище! Не любил я учиться. Хотя Никитин, наш директор, был хорошим человеком. Мы и ему прощали многое: вместо скучных уроков он читал нам рассказы Чехова. Зато отвратительным типом был низенький классный наставник по прозвищу Шибздик. А немец? Он привил, в частности, мне такую неприязнь к языку, даже к шрифту, что, ставши взрослым, я удивляюсь — чем виновата готика и почему я предпочитал латинское начертание самобытному рисунку? Наверно, виноват этот Брюль с его торчащими в ноздри рыжими прусскими усами, с необыкновенно зоркими оловянными глазами, так и шарящими по партам, чтобы выловить спрятанный «ключ» к скучнейшей грамматике Кайзера...

В скуке немцу не уступал историк, он же географ, толстый Адриан Адрианович. Он заел нас зубрежкой: надо было отвечать слово в слово по учебникам.

Учителя одевались в зеленые сюртуки с отложными бархатными воротниками, на которых аппликацией нашиты золотые веточки: зеленое с желтым — цвета, присвоенные реальным училищам. Учащиеся ходили в зеленых шинелях с позолоченными пуговицами, а гимназисты дразнили нас: «Яичница с луком!» Только самые младшие повички глупо радовались, когда впервые шли учиться, и форсили в неудобных твердых фуражках. Но к концу первого года мальчик выламывал буквы из герба на фуражке, выбрасывал пружину для распорки фуражки, отказывался от ранца, потому что все завертывали книжки в черную клеенку, а ранец рифмовался с неприличным словом и вообще мешал жить... Почти тогда же в балльниках и дневниках начинали пестреть двойки и колы, и человек становился заправским реалистом, а не то что «синяя говядина» — гимназисты, как правило, аккуратисты.

Я тоже был неряхой, однако не из принципиальности, а вследствие равнодушия к форме и уставу, равнодушия, всосанного с молоком матери: мама и папа презирали все, что похоже на чиновничество и жандармерию...

У меня начисто отсутствовал весь комплекс задатков, который и должно было развивать в условиях негумани-

тарной школы: глядя бараньими глазами на простейшие уравнения и начальные формулы, я ощущал свой кретинизм, к огорчению отца. Мама утешалась тем, что я рисую и зачитываюсь художественной литературой, переводной преимущественно, она гордилась моими неизменными пятерками по русскому языку: буква «ять» и та была на месте в диктантах и так называемых «изложениях». Не найдя вкуса в правилах геометрии, я и рисовал только «на свободную тему», а не с натуры, то есть конусы, кубы и призмы из побуревшего и истрескавшегося гипса — других натюрмортов не имелось в нашем училищном инвентаре. Преподаватель привык считать свой предмет ниже других — никому не ставил отметки хуже четверки с минусом, а я использовал урочное время для вольного творчества, вплоть до карикатур на одноклассников и учителей.

С тройками во всех графах (кроме русского и рисования) в годовом табеле я перешел в следующий класс. Тут внезапно выяснилось, что в нашем училище есть литературный и общественный клуб! И существует он у третьеклассников, можно сказать, нелегально: несколько реалистов собираются дома, там, где родители более «надежны».

С душевным трепетом, не веря сам себе, я пригласил новых товарищей к себе. И они собрались! Мы читали Глеба Успенского, непредусмотренного программами! У нас выпускался журнал! Это был рукописный орган. Лучшие чертежники оформляли материал, пока не появился я. Кроме рисунков, чисто оформительских (заставок и виньеток), я нарисовал иллюстрацию к своему же «очерку» на древнегреческую тему — «Афины при Перикле». В жизни я не испытывал такой высокой радости без тени самодовольства, когда видел, как читают некоторые особо надежные ребята наше «подпольное» издание и с каким вниманием разглядывают изображенный мной Парфенон! Я, пожалуй, поверил в себя, — не такой уж я бездарный идиотик, а в будущем меня ждет лучезарное поприще... Увы, душа нашего кружка, способный юноша Володя Жекулин, куда-то перевелся, журнал запретили, и до появления в нашей семье двоюродного брата Сергея все стало во много раз скучней и обыденней, чем было во времена клуба, где я был самым младшим и самым счастливым...

А тут еще эта русско-германская война, куда попал мой отец. Я снова стал тупым реалистом. Я чувствовал, что опускаюсь на дно. Выручали только книги, только опи. И не Успенский, не Писемский, а мои старые друзья

Уэллс, Твен, Хаггард... К этому почему-то прибавились сразу три тома Рыбникова. И уж совсем странно увлекли меня отцовские книги. С ужасом и любопытством перелистал я четырехтомную «Практическую медицину», находя у себя кучу симптомов. Еще я нашел в отцовских шкафах целую серию толстых книг — монографии русских императоров и императриц. Запомнил фамилию одного из авторов — Валевский. Перевод с немецкого. Кажется, все монографии были написаны немцами. Куда все это делось? Настоящее богатство, пропало оно во время эвакуации. Да и моя библиотека классиков — прекрасные брокгаузовские издания исчезли... Что останется моим наследникам?

Бессистемное поглощение множества книг, конечно, не метод приобретения знаний. Гораздо лучше следовать программам и советам преподавателей. А если в это время происходит революция, и машина обучения летит ко всем чертям, и сами учащиеся с порога юности устремляются кто куда?

Обидно, что я не перенял у отца его способность узнавать новое и крепко усваивать, не доверяясь первому впечатлению. Он заронил в детское сердце жадную любовь к печатному слову и желание улетать в неизведанные сферы. Я приучился к одному: всецело уноситься в изображенный писателем мир. Я пожирал книги без разбора и порядка. Ни отец, ни школьные учителя мной не руководили. В семье царили доброта и терпимость, в школе — взрослое, чиновничье равнодушие к детям: посещают, сдают экзамены или проваливаются, кое-как доползают до конца учения, а дальше — «не наша забота», «жизнь обрабатает»...

И тут в будто бы налаженную жизнь вторгается революция! Механика обучения сразу разваливается. Все летит к чертям, а сами учащиеся с порога юности устремляются кто куда... Я — в комсомол.

Потому что комсомольцы тоже «не как все». Разумом и кишками — против обыденности рабского быта, освященного религией, взлелеянного традициями и привычкой... Мещанство — сверху донизу, вдоль и поперек. С первым ударом революционного грома оно старается угадать, чья возьмет и приспособится к будущим хозяевам (у них эта догадливость в крови!). Они быстро осваивают словарь и лексикон, а к начальству мещанин подберет ключи простой услужливостью...

Нам нравились необычно красивые слова, торжественные мелодии, театральная внешность собраний, церемони-

ал и вместе с этим — отсутствие мундира, обращение — товарищ или (на первых порах) гражданин, сама скудость быта, лихорадочность и судорожность действий.

По нутру была молодость вожаков: они — еле тридцатилетние, а мы всего на десяток лет отстаем. Почти все руководство было интеллигентным, интересовалось запросами молодежи, знало шедевры мирового искусства и старалось привить нам любовь к завоеваниям культуры. Многие походили на «Овода» и не очень понятного «Спартака», — Степан Разин из народной песни был куда как ближе своей лихостью...

Примазавшимся мещанам пришлось много поработать над опощением романтики: они — люди дела. Фразеологию же брали самую левую и немедленно пускали в оборот против тех же интеллигентов и романтиков.

Откуда нам, новичкам, было набраться такой тонкости анализа, чтобы отличить обывательщину, ряженную в красное, от всамделишного вдохновения? Классовую бдительность мы были готовы проявить мгновенно, стоило вовремя кинуть нам семечко подозрения. «Неугомонный не дремлет враг...» — первым выкрикивал блоковскую строку именно деловой мещанин: он уже начал делать свою карьеру, и ему удавалось становиться самым красноречивым, самым активным. А мы, простаки, потеряли инициативу, горлопаны легко нас перекрикивали. Кто стремился к знанию — бросал книги, стыдился своих стремлений и просился на «черновую» работу... Это относится в первую очередь к таким, как я: недоучившийся реалист, без профессии, только с нечеткими представлениями о сути людей и вещей: «Я бросил книги. Стрелял. И в меня...» И уж совсем откровенное признание: «Стихи и танцы, клянусь торжественно, считал предательством, слабостью и то, что в женщине женственно, — приторной сладостью...» До чего же в те годы мало было юнцов, которые не бросили книг, не стреляли... И даже могли понять, что такое женственность!

Величайшее военное событие известно под именем «Курская дуга». Прошло три десятка лет. Я и некоторые мои коллеги с большим опозданием поняли, что были участниками легендарной, переломной для хода всей войны Курской битвы. Мы приняли участие в освобождении Украины, Польши и, наконец, в серии промежуточных операций на германской территории — добывании остатков фа-

пистекской армии. И вот мы в логове нацизма, перед нами Шпрее, Зигесаллее, танки с надписью «Пензенский железнодорожник», артиллерийский расчет прямой наводкой добывает гнездо фаустпатронщиков на площади Александерплац, известной мне из старого стихотворения Эриха Вайнера...

Моя «Курская дуга» окрашена в два цвета — краснокровавый тех дней и бесцветный, полинявший в ненастье моего послефронтового быта: более трезвый, пожалуй. Разве не сам я предсказал осенью 41-го: «Будем вспоминать»? И вот он я, еще живой, вспоминаю родную роту и, конечно, тех, кто дал мне закурить...

Не южная редакция «Во славу Родины», а воронежская «З. Ч. Р.» — «За честь Родины» разместились в нескольких невзрачных домиках Аринкина хутора. Мои товарищи — одни с Украины, другие — кадровые газетчики средней руки, присланные из резерва Главного политуправления, — состав немонолитный. И — я...

В сотне километров от Аринкина у нас за спиной — Курск. Впереди же на шоссе городок с прекрасным именем Обоянь. По сторонам шоссе курские деревни, набитые нашими войсками. Среди них Афанасьевка. Там стояла 1-я гвардейская танковая бригада, а в газете танкистов служил мой товарищ, москвич Шера — Шаров.

Жизнь газетчиков (и в Афанасьевке, и в Аринкином хуторе) текла в дневные часы сравнительно спокойно. По ночам в направлении на Курск летели армады бомбардировщиков Рихтгофена. Вся тьма грохотала моторами над Аринкином и гулом пригибала к земле всякого, кто во время массированного пролета оказался вне жилья. С этим трудно свыкнуться, но вот — привыкли же!..

Аринкин хутор — бесконечно малая точка на курской земле. Населенными пунктами можно считать другие, где совместно с исконными хозяевами временно проживают и солдаты. В Аринкином хуторе нет аборигенов — только военные, притом журналисты. Иметь ординарца и распоряжаться им положено одному редактору. Где и как мы питались — я не помню.

Итак, я привык к бомбардировочным ночам и сплю: военный человек пробуждается, когда тихо... Май в разгаре. Все цветет и зеленеет — луга и рощицы. Мне отвели крошечную хатку вроде «временки» на подмосковных огоро-

ных участках. При ней на задах и огородик, заросший бурьяном, и даже около полусотки ячменя.

Весь Аринкин хутор оваян медом и омыт настоем луговых трав. Даже мой ячмень иногда шелестит, или это только кажется. А без мирного населения тревожно. И по единственной хуторской травянистой улице целыми днями никто не проезжает...

Однажды ночью, пробужденный типипной, я вышел за дверь. Едва не наступил на кого-то: у ног раздался судорожный стон. Глаза привыкли к темноте, и я оказался среди множества спящих людей — некуда поставить ногу. Прямо на голой земле лежали и храпели в тяжелом сне солдаты. Майская ласковая ночь была пронизана острыми запахами дыма, пыли и потных тел, в разных позах лежащих, каждый рядом со своим оружием — противотанковыми пищалями, легкими пулеметами или автоматами под небритой щекой. Если бы не храп — совсем как в киплинговском городе мертвых...

Невыносимо больно за всех этих людей и за себя самого. Я вернулся в хату, нашарил табурет, сел к столу и, почти не видя свою руку, начал записывать.

Послышался — наконец-то! — нарастающий рокот североокеанского штормового вала; над моей крышей, а значит, и надо всем хутором промчалась невидимая армада. Через несколько минут небо в стороне Курска засветилось, а потом начали доноситься звуки канонады.

Я писал:

Запах пыли, дыма, пота
Всюду носим мы с собой,
Потому что мы — пехота,
И для нас война — работа:
Бей, ходи и землю рой!

Записал и пошел в редакцию: сто шагов или чуть больше. Взошло солнце, и никаких следов ночных посетителей!.. Будто и не было никого, а осталось лишь стихотворение!..

Сознаюсь, порой воображаю, что все окружающее возникло, существует и движется по моему произволу. В угоду мне, моему зрению, слуху и остальным чувствам. Наверно, моя корысть особенная, а накопление впечатлений и переживаний может уйти в песок. Но не совсем же! Кое-что осядет в стихах. У ночных пришельцев я набрался силы, сознания нашего воинского братства. И неловкое чув-

ство: «Они ушли на липию огня, а я остался. Отстал, отсиживаюсь за бумажным листком. Простите меня, братцы! Строчки мои прочтите, а меня простите...»

Как мои товарищи газетчики, как весь наш народ, так и я мечтал и надеялся на то, что Гитлеру после поражения на Волге предстоит неминуемый капут.

Но когда же кончится изнурительная война? Что будет после?.. Мы имели некоторое смутное представление о состоянии нашего Воронежского фронта к весне. Воронеж, имя которого носила вся масса, обслуживаемая газетой «За честь Родины», был давно (по нашему мнению, «давно»!) освобожден, и мы находились в преддверии Украины. Белгород — это же близ Харькова! Вокруг нашей редакции — курские края.

Битвы кипят на Кавказе, недалеко от Грозного, где я служил в молодости. А у нас какое-то затишье, если не считать ночных бомбежек асами Рихтгофена. В наших штабах, конечно, что-то разрабатывается, судя по слухам о прибытии то одного, то другого представителя из Москвы. Кроме того — новость! Нам присваивают новые звания, ввели погоны. Красноармеец — теперь солдат. Командиры и политработники называются офицерами и так далее. Никаких специальных разъяснений такого новшества: «Сами должны понимать».

Все, конечно, направлено к повышению дисциплины — предвидятся самые жестокие бои. Надо поднять мастерство командиров, то есть офицеров. Много новой техники, у противника — тоже. Войска заняты инженерной деятельностью. Воронежцы на южной оконечности Курской дуги в течение мая — июня сотворили непроходимую полосу окопов, противотанковых рвов и минных полей, оборону глубиной не меньше шестидесяти километров; хватит, чтобы похоронить десятки тысяч вражеских пехотинцев и танкистов. Хвастливые асы из дивизии «Мертвая голова» сложат тут на Курской дуге свои головы... А нам хвастовство ни к чему: за нами, а верней, перед нами — почти три года невероятных боевых тягот. Сколько похоронок пришло в семьи павших! Сколько городов и деревень еще надо отвоевать! Две республики, Белоруссию и Украину, — вот она, за линией фронта! Я забыл, что могу исчезнуть здесь же, на дуге, снова и снова даю себе клятву: «Не лги! Если тебе пишется — пиши. сейчас же обо всем, что ви-

дишь, что чувствуешь и что знаешь. Возьмет редакция или нет — пиши. Не пропадет твой скорбный труд...»

...Через два года после войны мы с Шаровым приехали в курские места. То ли потому, что мы все еще донашивали шитые в Дрездене и теперь основательно заляпанные мирной веселой жизнью кителя, а может быть, стало не по себе из-за прекрасной летней погоды и отсутствия капо-нады,— чуть ли не на каждом шагу что-нибудь узнава-лось... Потому и появились на свет стихи:

...Но я, как в пору боевую,
Все выше голову держу
И через сетку дождевую
Все узнаю,
все нахожу.

Все нахожу... Мой ямб непонятным путем перевел на другой язык длинное повествование, не чуждое штабных формул и служебных реляций. Я не рифмовал предварительно продуманную прозу — писал с натуры, как она сохранилась в памяти.

Все узнаю... Не только места привалов и ночлегов, но и овраги, где склоны отвесно срезаны саперами. Но и окопы со стрелковыми ячейками, с гнездами противотанковых стрелков. Вот задымленные останки «фердинанда» — немецкой самоходки — с ржавым развороченным стволом... Об этом надо говорить в особом стиле — может, переводя напрашивающиеся стихи в сугубую прозу: никаких элегий и поменьше восторженного пафоса при виде поля, усеянного мертвыми костями, хотя бы и вражескими.

В августовскую ночь то ли на 4 августа, то ли на 5-е я ночевал на минном поле. Это не похвальба, а сущая истина. Наш редакционный газик целый день полз и останавливался, зажатый движущейся техникой: танками, самоходными установками. Мы находились на самом острие фронтového наступления. Появились отдельные бомбардировщики немцев. Они не успели разгрузиться — вокруг нас поднялись стволы зениток. Затрещали очереди, и я видел сквозь закопченное стекло маленький крестик «мессершмитта», пойманного сетью трассирующих пуль, превращенного в огненную капельку, которая исчезла, далеко не дойдя до земли.

...Ничто не может помешать перу и не в силах отрезать обратный путь к моему довоенному дому и ко дню, когда мы с отцом сидим друг против друга. Еще нет затмения и не было сигнала тревоги, но нам уже сказали, что первые бомбы упали и первая кровь пролилась, что пришли разлука и день прощания. Во мне шумит Река Времени, заглушает доносящиеся невнятно звуки будущего:

Но тихий звук не умирает.
Живым он будет и в гробу:
Истлеют доски. И помеха
Исчезнет и проснется вдруг
Давно умолкшей битвы эхо,
Давно забытой песни звук...

*Переделкино, —
Красная Пахра — Переделкино
1975—1980*

*Илья Львович
Френкель*

РЕКА ВРЕМЕН

М., «Советский писатель», 1984, 256 стр.
План выпуска 1984 г. № 141

Редактор *М. В. Иванова*

Худож. редактор *Е. Ф. Капустин*

Техн. редактор *Ю. Н. Чистякова*

Корректоры *В. Е. Бораненкова* и *О. В. Селиванова*

ИБ № 3869

Сдано в набор 17.05.83. Подписано к печати 16.01.84.
А 02419. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Обыкновенная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 13,44. Уч.-изд. л. 14,24. Тираж 30 000 экз. Заказ № 378. Цена 95 коп. Издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект Ленина, 109

